СИМВОЛЫ ВРЕМЕНИ

АВГУСТ КОЦЕБУ

ДОСТОПАМЯТНЫЙ ГОД МОЕЙ ЖИЗНИ

ВОСПОМИНАНИЯ

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Воспоминания сверхпопулярного в свою эпоху драматурга Августа Коцебу (1761–1819) посвящены весьма необычному в его биографии событию — ссылке в Сибирь по повелению императора Павла. Автор подробно и очень живо описывает все события, связанные с этим несчастным эпизодом его авантюрной биографии, людей, с которыми ему пришлось встретиться на пути следования и в Тобольске, где он отбывал ссылку, природу края, обычаи местных жителей. Вторая часть книги посвящена возвращению Коцебу из ссылки и его последующему возвышению благодаря милостям императора.

Книга написана очень увлекательно и предназначена самому широкому кругу читателей.

- А. Коцебу
  - Предисловие переводчика
  - Предисловие автора
  - ЧАСТЬ I
  - ЧАСТЬ II
  - Август Коцебу. Эскиз к портрету честолюбца
- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4

А. Коцебу
Достопамятный год моей жизни

Предисловие переводчика

Талантливый и плодовитый немецкий писатель Август Фридрих Фердинанд Коцебу родился в Веймаре 3 мая 1761 года и по окончании курса в Иенском университете был вызван в 1781 году в Россию прусским посланником при Петербургском дворе Гольцем, который определил его домашним секретарем к инженер-генералу Ф. А. Бауру, главному начальнику Артиллерийского и Инженерного корпуса. После смерти Баура, в 1783 г., Коцебу, рекомендованный своим покойным начальником императрице Екатерине II, был назначен асессором апелляционного суда в Ревеле, а через два года получил должность президента тамошнего магистрата, которую исполнял в течение десяти лет. В 1795 г. Коцебу вышел в отставку и поселился в небольшом имении своем Фриденталь, недалеко от Нарвы. В 1797 г. он приехал в Вену, где был сделан режиссером придворного театра с титулом «придворного драматического писателя», но вскоре получил увольнение с пожизненной пенсией в тысячу флоринов. Прожив некоторое время в Веймаре, Коцебу решился совершить поездку в Россию для свидания с родственниками жены, русской уроженки, и двумя старшими сыновьями, воспитывавшимися в Петербурге в кадетском корпусе. Император Павел, нерасположенный к Коцебу за либеральные мнения, высказываемые им тогда в своих сочинениях, и подозревая в нем политического агитатора, приказал арестовать его на границе и отправить в ссылку в Сибирь. Это событие в жизни Коцебу подробно рассказано им в настоящей книге, переведенной нами со второго издания, на французском языке, просмотренного и исправленного автором в 1802 году. (Une anneè memorable de la vie d'Auguste de Kozebue, publiée par lui même; 2 edition originale, revue et corrigée 2 vol. Paris. 1802). Книга эта, в которой заключается много любопытных сведений о русском обществе и русских нравах того времени, уже была переведена на русский язык в 1816 г., но с большими пропусками. Коцебу пробыл в Сибири, в городе Кургане, два месяца и получил свободу лишь благодаря счастливому случаю: молодой русский писатель Краснопольский перевел его небольшую драму, написанную им еще в 1796 г., под заглавием «Первый кучер императора» и посвятил свой перевод императору Павлу. Сюжетом для драмы послужил великодушный поступок Павла I относительно одного из служителей своего отца. Драма очень понравилась государю. Он отдал приказание немедленно возвратить Коцебу из ссылки, наградил его пожизненной пенсией

в 1200 р., имением в Лифляндии, чином надворного советника и назначил директором придворного немецкого театра. По воцарении императора Александра I Коцебу, обиженный тем, что ему отказали в значительной субсидии (60 тыс. руб. в год), просимой им для содержания театра, вышел в отставку с чином коллежского советника и уехал в Германию, где посвятил себя исключительно литературной деятельности. В 1811–1814 гг. он служил своим пером русской дипломатии, за что был награжден чином статского советника и званием русского генерального консула в Кенигсберге. С 1817 г. Коцебу, по поручению императора Александра, начал присылать в Петербург отчеты об умственной и политической жизни в Германии. Один из этих отчетов, где автор едко чернил людей либерального направления и между прочими популярных тогда Эйхгорна и Лудена, случайно попал в руки последнего и был напечатан им в журнале «Немезида». Это возбудило против Коцебу целую бурю негодования; его открыто стали называть шпионом и изменником, продающим отечество, тем более, что прежде он сам держался либерального направления. Вражда немецкой молодежи к нему проявилась еще ранее, и в Вартсбурге, во время празднования годовщины битвы под Лейпцигом, студенты торжественно сожгли некоторые его сочинения, где защищался абсолютизм и подвергались насмешкам демократические идеи, проникшие в германское общество. Когда же был напечатан его отчет, то вражда достигла крайних пределов и один из студентов Мангеймского университета, экзальтированный фанатик Карл Занд, считая Коцебу опасным врагом родины, достойным смерти, заколол его кинжалом 23 марта 1819 года. Коцебу написал множество сочинений, драматических, беллетристических, исторических и др., которые составляют в общей сложности 44 тома. Двое сыновей его, получившие воспитание в Петербургском кадетском корпусе, с честью служили России. Старший, Вильгельм, храбрый офицер, на 26 году от рождения уже имевший чин подполковника свиты его величества по квартирмейстерской части и георгиевский крест, был убит в Отечественную войну 1812 г. Второй, Оттон, известный моряк, совершивший три кругосветных плавания, умер в 1846 г. в чине капитана первого ранга.

Предисловие автора

Не пустое тщеславие побуждает меня представить на суд общества историю моей жизни в продолжение предшествовавшего года. Судьба моя была так необычайна и удивительна, что представила бы интерес даже как повесть или роман; насколько же более должна она интересовать как правдивое изложение жизни кого бы то ни было.

Кроме этой побудительной причины, еще другие более важные заставляют меня напечатать историю этого года моей жизни. Германия, смею прибавить часть Европы, принимала участие в моей судьбе, отчасти из любопытства, отчасти из благосклонности; везде был возбужден вопрос, какая могла быть причина моей ссылки. Событие было слишком поразительно, чтобы не доискиваться его причин. Были выдуманы тысячи сказок по этому поводу, мне приписывали сочинение книги под заглавием *«Белый медведь»* по словам одних, и *«Северный медведь»* по словам других; утверждали даже, что читали эту книгу. Другие говорили, что эту книгу написал не я, а другое лицо, фамилия которого начиналась также буквою К, и что я сделался жертвою подобной ошибки. Некоторые же приписывали мне необдуманные выражения, другие опять — сатирические намеки, найденные в моих пьесках, которые были написаны уже лет десять тому назад. Словом сказать, один говорил одно, другой другое и никто не воображал себе единственной и настоящей причины, которую надо было искать в *минуте подозрительного настроения духа* (moment d'humeur soupçonneuse). Поэтому я считаю своею обязанностью перед своим честным именем, перед детьми моими рассказать просто и согласно с истиною все, что со мною случилось, и этим путем уничтожить все распространенные обо мне толки.

Но еще более священная обязанность побуждает меня напечатать эти записки. Я обязан это сделать для чести монарха, образ действий которого относительно меня подвергался всеобщему и столь строгому осуждению; я обязан не оправдывать этот образ действий, но сделать общеизвестным то величественное великодушие, с которым он признал свою ошибку и исправил ее. Я не называю исправлением ошибки богатые подарки, мне сделанные и вознесенные до небес всеми газетами (подарки мало стоят монархам, а титулы ничего им не стоят), я называю исправлением ошибки ту манеру, тот способ, которым он сделал мне эти подарки, прием мне оказанный, как он со мною говорил, как искал моего общества. Это обхождение, эти поступки

сделали бы простого смертного дорогим и любезным моему сердцу, тем более властелина половины земного шара. Он обладал добродетелью редкою даже в обыкновенных людях, а еще более редкою в царствующих лицах; он сам по собственному влечению сознавал свои ошибки и старался их загладить не как государь, а как человек.

Другая обязанность не менее священная той, которая заставляет меня почтить память государя, уже более не царствующего, именно признательность к царствующему государю, в котором милосердие и человеколюбие являются преобладающими чертами, тоже побуждает меня взяться за перо. Он возвратил меня моей преклонной матери и музам, и, присоединив к благодеяниям своего отца еще свои собственные, сделал меня навсегда своим верноподданным даже и вне пределов его империи. Да будет он счастлив на троне, да будет каждый день его царствования таким же как день его восшествия на престол, очевидцем которого я был, когда повсюду раздавались громкие крики восторга и радости обожающего его народа.

Вот причины, заставившие меня написать мои записки; вот побуждения, заставляющие меня их напечатать.

Сентябрь 1801 года.

ЧАСТЬ I

Скоро три года как я и моя жена оставили Россию. Лестный и дружественный прием, везде нам оказанный в Германии, не поколебал нежных уз, связывавших нас с Россиею; мы оставили в этой стране детей, родственников, друзей; это была родина моей жены. Я обещал ей через три года возвратиться в Россию и был очень доволен, получив возможность исполнить это обещание. Правда, предпринимаемая нами поездка разлучала меня с нежно любимою матерью; я покидал своих добрых друзей и небольшое имение в Веймаре; но разлука могла продолжаться не более четырех месяцев, — это была просто поездка, полезная для здоровья моей жены, сгоравшей желанием увидеть свою родину.

Въезд в Россию был вообще воспрещен; для этого необходимо было иметь разрешение императора, и мне нужно было заблаговременно позаботиться о нем. С этою целью я обратился с просьбою к барону Крюднеру, русскому посланнику в Берлине и лицу приближенному к императору. Мне отвечали, что просьбу мою представят на разрешение государя, но что было бы недурно мне самому просить его. Вследствие этого я написал императору письмо, в котором указал на цель моего путешествия — желание увидеть своих детей и осмотреть мое имение, требующее моего присутствия; я просил разрешить мне, в виде милости, пробыть четыре месяца в пределах его империи. Прошение мое находилось еще в дороге, когда я получил от барона Крюднера письмо, которое передаю здесь буквально:

> «С великим, Милостивый Государь, удовольствием спешу сообщить вам о благосклонном разрешении государя императора на выдачу вам паспорта. Я получил приказание доставить вам его и вместе с тем в возможно скорейшем времени донести о том, по какому направлению предполагаете вы отправиться в Россию (чтобы устранить все препятствия, могущие вам, без этой меры предосторожности, встретиться). Поэтому, Милостивый Государь, прошу вас сообщить мне в возможной скорости: 1) маршрут вашего путешествия, 2) список лиц, вас сопровождающих и 3) место, в которое я должен доставить ваш паспорт, если вы не предполагаете заехать в Берлин по дороге.
>
> Остаюсь и пр.»

Письмо это доставило величайшее удовольствие жене моей,

но возбудило во мне некоторые подозрения. Я оставил Россию с разрешения императора и до издания указа, по которому лицо, покидавшее Россию, обязывалось не въезжать более в ее пределы; но я знал, что Павел I не жаловал писателей. Как согласить известное мне нерасположение его к моей личности с тем скорым, благосклонным и, по-видимому, преисполненным милости ответом, который последовал на мою просьбу? Я не мог себе представить, какого рода затруднения могут встретиться мне на дороге, коль скоро я имею паспорт; а если затруднения эти представлялись всем путешественникам по России, то на каком основании делают исключение для меня? Какое имел я право на такое отличие? Зачем государю необходимо было знать в подробности направление моего пути?

Все эти сомнения высказал я моей жене, но она только смеялась и не придавала им значения. Мы были приглашены на вечер в тот самый день к одной особе, достойной уважения за свои добродетели и пользовавшейся положением в свете, у которой всегда собиралось большое общество. По получении письма мы с женою отправились к ней и рассказали, какое различное впечатление произвело оно на нас обоих. Не только никто из присутствовавших не разделял моих опасений, но все находили их лишенными всякого основания, просто безрассудными; всем казалось оскорблением для священной особы государя, что я подозреваю его способным устроить мне ловушку.

Все это несколько успокоило меня и если впоследствии я опять возымел сомнения, то потому, что в высланном мне паспорте не было означено, что он выдан на четыре месяца. Опущение это было крайне неприятно: оно могло затруднить мое возвращение; я старался поправить это следующим образом: в то время я имел честь носить звание драматического писателя его императорского величества австрийского императора и на этом основании испросил себе у министерства двора четырехмесячный отпуск, который должен был предъявить австрийскому посланнику, если бы встретилось препятствие к моему возвращению в Германию.

Устроив все к лучшему, жена моя и я, с тремя детьми, оставили Веймар 10-го апреля 1800 года. По приезде в Берлин я нашел там несколько писем. Друзья мои в Лифляндии и Петербурге писали мне и точно согласились между собою, давая все один и тот же совет, чтобы я обратил внимание на мое здоровье и не подвергал бы его суровости здешнего климата. Этот тонкий намек предотвратить мою поездку не имел успеха; я не обратил внимания на совет и считал их опасение, как это часто

бывает со стороны друзей, преувеличенным или воображаемым.

В Берлине я представился барону Крюднеру, который доставил мне возможность получить паспорт. Этот достойный уважения человек, друг писателей и человечества, знал меня еще ранее и принял меня со свойственным ему добродушием. Прощаясь с ним, я просил его сказать мне, как отцу многочисленного семейства, совершенно откровенно — полагает ли он, что возвращение мое из России может встретить затруднения. Я только этого одного и опасался. Барон Крюднер, признаюсь с благодарностью, ответил мне как человек, умеющий соблюдать в одно и то же время строгие обязанности долга и вместе человеколюбия.

— Я бы на вашем месте, — сказал он мне, — написал бы еще раз к императору: впрочем, это не мешает вам продолжать путь; но подождите в Кенигсберге полного разъяснения ваших сомнений.

Совет был хорош, и я хотел ему последовать; но жена моя, которой я это сообщил, мечтавшая только о том, как бы увидеть детей и родину, не оценила этого совета по его достоинству. Увлеченный ее примером, я также пренебрег им и думал только о продолжении пути.

Все знают, что в Пруссии почтовое сообщение очень худо устроено; возят тихо и дурно; я часто выходил из кареты и без труда удалялся пешком вперед на милю. Таким образом однажды я прибыл в маленький город в Померании, кажется Занев; я прошел весь город и в конце его очутился перед тремя дорогами: по которой из трех идти? Какой-то старик указал мне направление; вероятно это был привратник — высокий, худой, сухопарый человек; он меня спросил, куда я иду? Когда я ответил ему, что в Россию, он начал отсоветывать мне это, приводил самые сильные доводы против моего намерения и выказал такую нежную, можно сказать, родительскую обо мне заботливость, что казалось, будто ангел неба дает мне советы. Видя наконец тщетность своих убеждений, он окончил их, сказав:

— Да благословит и поможет Господь отправляющемуся в Россию.

Тогда я много этому смеялся и продолжал свой путь; но впоследствии не раз вспоминал эти слова и готов был признать старика за предзнаменование свыше, которое предсказывало мне мою судьбу.

Тем не менее, столько различных советов произвели на меня впечатление, которое по мере приближения моего к границам России все усиливалось и дошло до того, что дорогою я несколько раз, и в особенности в Мемеле, серьезно предлагал жене моей

продолжать путь одной, без меня; я же предполагал остаться и ожидать ее возвращения, но жена ни за что не соглашалась на это — и судьба моя была решена.

Уезжая из Мемеля, я имел осторожность оставить там все мои книги во избежание всяких смешных пререканий с цензором Туманским в Риге.

Весь последующий рассказ написан мною в Сибири, по прибытии к месту назначения, когда воспоминания моих страданий были еще свежи. По возвращении моем, получив более точные сведения о некоторых лицах и предметах, я принужден был сделать многие исправления и дополнения; но в самом рассказе не изменяю ни одной буквы против того, как он написан в Сибири; читатель без всяких сокращений узнает, какие ощущения, мысли и надежды овладевали мною в то время.

Мы приблизились к пределам России и наконец переступили ее границу. Мы могли еще вернуться назад; ничто нас не останавливало; ни река, ни мост, ни малейшая преграда не отделяла нас от Прусского государства; безмолвно, с сокрушенным сердцем оглянулся я назад: все полученные мною советы осаждали мою душу; я с трудом переводил дыхание.

Жена моя, как она мне сообщила впоследствии, имела свои опасения, однако молчала; время еще не ушло; но… колеса двинулись и мы сделались жертвами нашей судьбы.

— Стой! — закричал нам казак, вооруженный длинною пикою. Мы стояли у въезда на мост через небольшой ручей; караульный дом находился влево; вызвали офицера.

— Позвольте ваш паспорт.

— Вот он.

Офицер развернул его и осмотрел подпись.

— Что это за фамилия Крюднер? Вы едете из Берлина?

— Да, верно.

— Потрудитесь продолжать дорогу.

Он подал знак; отворили заставу, карета с глухим шумом переехала мост, шлагбаум опустился; я глубоко вздохнул. — Вот мы и приехали в Россию, — сказал я жене с притворно довольным видом. Впрочем, — Бог тому свидетель, — все мои опасения касались только моего возвращения из России; я был далек от мысли, чтобы личной моей безопасности могло что-либо угрожать.

Через несколько минут мы приехали в Полангen, пограничный город, в котором находится таможня. Начальником таможни был некто Селлин, очень любезный и человеколюбивый господин, служивший некогда в полку, расположенном в Нарве; он жил тогда невдалеке от имения моей жены.

Когда я в последний раз уезжал из России, мы здесь на границе нежно расцеловались; теперь мне было очень приятно снова встретиться с ним.

Я выскочил из кареты. Селлин вышел на крыльцо; я подбежал к нему и обнял его; но он с холодною важностью встретил этот дружественный порыв. — Разве вы меня не узнаете? — спросил я его; но он ничего не ответил, а только сухо поклонился, стараясь, однако, придать себе дружеский вид; я был очень этим опечален.

Жена моя также вышла из кареты; обхождение Селлина поразило ее ужасом; но он встретил ее довольно вежливо и провел в свои комнаты. Актер Вейраух, провожавший нас от Мемеля до Полангена, вошел также вместе с нами.

Жена моя старалась быть веселою, какою всегда бывает среди старых знакомых. Селлин едва отвечал ей; наконец, обратясь ко мне, спросил:

— Где ваш паспорт?

— У казачьего офицера, — отвечал я.

Он ничего не сказал; но видимо был смущен и расстроен; через несколько минут принесли паспорт; Селлин стал его читать и потом вдруг спросил меня:

— Вы господин Коцебу?

Это был странный с его стороны вопрос. — Конечно я, — было моим ответом.

— В таком случае… — прибавил он, но остановился; лицо его побледнело и губы задрожали. Обратясь затем к моей жене, он сказал: — Не бойтесь, сударыня, но я имею приказание задержать вашего мужа.

Жена моя при этих словах громко вскрикнула, колена ее задрожали, она кинулась ко мне, повисла на моей шее и начала горько упрекать себя; дети мои смотрели на нас и ничего не понимали; я сам чрезвычайно испугался, но вид моей жены, находившейся почти без чувств, возвратил мне мое хладнокровие. Я взял ее за руки, посадил на стул, просил успокоиться. Когда она очнулась, я обратился к Селлину и резко спросил его:

— Скажите мне, какое вы имеете относительно меня приказание? но потрудитесь не скрывать ничего.

— Я должен арестовать ваши бумаги и отправить их вместе с вами в Митаву.

— Что же со мною будет далее?

— Рассмотрят ваши бумаги и затем губернатор получит приказание, на основании которого и будет с вами поступлено.

— Ничего более?

— Ничего более.

— А семейство мое может мне сопутствовать?

— Без сомнения.

— Ну вот видишь, дорогая и милая Христина, мы можем быть спокойны: мы поедем в Митаву, как и предполагали, проведем там, быть может, день — вот и все, мои бумаги в порядке; подозрительного в них ничего нет; это просто предосторожность, мера осмотрительности, которую государь может конечно принять в такие времена беспорядков, как настоящие. Император не знает меня; он знает только, что я пишу пьесы для театра. Множество писателей увлечено тою системою свободы, которая потрясает Европу, он подозревает, что я принадлежу к их числу; я, в самом деле, предпочитаю, чтобы он откровенно выразил свои подозрения относительно меня, нежели скрывал бы их; он узнает меня, это уже большое преимущество — и быть может будет иметь ко мне доверие. — Вот что объяснял я дрожащей от страха жене, прижимая ее к груди своей. Бог свидетель, что я говорил то — что думал. Убежденный в своей невинности, мог ли я чего-нибудь опасаться? Жена моя ободрилась; она вообразила, что нас немедленно разлучат, что меня будут бить, посадят в темницу и т. д.; когда же она услышала, что только возьмут мои бумаги и что мы по-прежнему будем вместе продолжать путь, то совершенно оправилась.

Осмотрели все мои вещи, взяли мой портфель и мои бумаги; оставалось осмотреть меня самого. Меня заставили вывернуть все карманы, выложить на стол все клочки бумаги, даже все счета гостиниц и постоялых дворов. Я не мог скрыть моей досады.

— Это моя обязанность, — тихим и глухим голосом сказал Селлин.

Я нисколько не сердился на него, потому что видел, как неприятна была для него эта обязанность.

Он очень учтиво попросил нас вынуть из чемоданов все необходимое нам на время дороги из Полангена в Митаву, потому что ему было приказано опечатать все наши чемоданы. В небольшом ящике находились у меня предметы постоянного употребления в дороге, как то: табак, бритвы, гребни, разные лекарства. Я просил Селлина не опечатывать этого ящика; он согласился на мою просьбу, но хотел предварительно осмотреть тщательнее ящик. Так как дно последнего было довольно толстое, то он спросил меня — нет ли тут двойного дна.

— Что вы, — отвечал я, — я купил этот ящик в Вене и не осматривал его подробно, но в таможнях умеют находить скрытые предметы.

Селлин нажал пружину и второе дно в ящике обнаружилось; к счастью, оно было пустое.

— Вот видите, — сказал я улыбаясь, — как мало нуждаюсь я в

том, чтобы скрывать свои бумаги. Я имел этот ящик и не знал, что он заключает в себе двойное дно.

Селлин настолько этому поверил, что сказал по-русски стоявшему тут офицеру: — Он сам не знал этого.

Осмотр был окончен, но приходилось ждать еще долгое время, пока составили об этом длинный протокол. Дети наши целый день не ели; мы так спешили навстречу нашей гибели, что на последней станции отказались от обеда, который был уже совсем готов. Я спросил для детей хлеба и немного масла, мы же сами, как легко поймет читатель, не хотели ничего есть. Селлин приказал подать все, что было у него в доме из съестного.

Хотя Селлин был любезен ко мне и снисходителен к моим просьбам, однако ж, в одной из них он мне отказал.

Уезжая из Веймара, я оставил там мою мать, которая была очень больна; я опасался, что известие о случившемся со мною так поразит ее, что она умрет; я хотел ей написать несколько строк и просил Селлина прочесть их, запечатать и отправить по назначению; но он отказал мне в этом. Я уверен, что отказ его, очень меня опечаливший, причинил столько же горя и ему, — человеку с чувством и сострадательному.

Он успокоил меня, однако, сказав, что я могу написать матери из Митавы. Тогда я обратился к актеру Вейрауху, свидетелю всего происшествия, и, взяв его за руку, просил не говорить в Мемеле ни слова о том, что меня постигло, с тою целью, чтобы это не могло быть напечатано в газетах; он дал мне клятву исполнить мою просьбу.

Насколько добрый Селлин был расстроен, исполняя данное ему приказание, обнаруживается лучше всего из того обстоятельства, что он не заметил вовсе присутствия Вейрауха. Я, как мне впоследствии сказали, считался государственным преступником; приказ о моем задержании велено было хранить в тайне; на подобного рода приказах находилась всегда надпись «*секретно*», *«pro secreto».* Лицо, получавшее такой приказ, обязано было под страхом строжайшей ответственности не сообщать его никому, а тем менее приводить его в исполнение при свидетелях; но я даю голову на отсечение, что смущение, в котором находился Селлин, было единственной причиной подобной с его стороны оплошности.

Но вот все готово; чемоданы опечатаны, лошади заложены, вместо люльки, взятой нами для нашего младшего ребенка и до того времени привязанной сзади кареты, сел человек, помещавшийся прежде на козлах, а место последнего занял казак, который должен был нас сопровождать; портфель мой запломбирован и положен на прежнее место, в сумку кареты, а

ключи от него возвращаются мне, но я отказываюсь их принять, опасаясь, чтобы не возбудили против меня подозрения в случае, если бы дорогою веревка с пломбами оборвалась; я требую, чтобы ключи также были опечатаны.

Селлин, выполнив тяжкую для него обязанность, сделался по-прежнему радушен и ласков; он старался всячески нас успокоить. По всей вероятности, мне не суждено его более увидеть, но если рассказ о моей печальной участи будет когда-либо напечатан, пусть найдет он в нем признательность глубоко тронутого человека, который навсегда сохранит о нем приятное воспоминание.

Мы сели в карету, а на козлах впереди нас поместился казак, вооруженный с ног до головы саблею и пистолетами; дети мои развлекались им, жена плакала, а я находился в обычном расположении духа. Я старался разными шутками утешать жену мою.

Вид казака, помимо его оружия, не представлялся страшным; это был человек большого роста, хорошо сложенный, хорошо одетый, очень честный и очень услужливый; всякий раз, когда мы выходили из кареты, он учтиво снимал фуражку.

Сзади нас сопровождал в кибитке капитан; я забыл его фамилию; он был родом поляк и говорил по-немецки довольно плохо. Во время революции он был адъютантом генерала Мирбаха, а потом в течение целого года содержался в крепости в Митаве; теперь он занимал какую-то должность в таможенном управлении и не более благодушного Селлина был способен исполнять столь неприятное поручение. Во время дороги мы находились с ним в очень хороших отношениях, почти дружественных; он нисколько не стеснял меня и я совершенно забыл бы о его присутствии, если бы мне не напоминал о нем мой кошелек, постоянно открытый; все расходы по найму лошадей и продовольствию отнесены были на мой счет.

От Полангена до Митавы считают тридцать шесть миль; мы проехали это расстояние в три дня и в совершенном спокойствии духа, по крайней мере, что касается до меня.

Жена моя, по-видимому, также успокоилась; мы опасались лишь замедлить приездом в Митаву как по причине дороговизны съестных припасов, так и потому, что в письмах наших к друзьям, жившим в Лифляндии, мы уже сообщили им о дне нашего прибытия. Чего мы, в самом деле, могли опасаться? Я служил в России шестнадцать лет честно и добровольно и имел в том доказательства; уже более трех лет, с разрешения императора, я находился на службе у австрийского правительства. Будучи драматическим писателем этого двора, я исполнял все мои

обязанности как хороший верноподданный. Оставив Вену, я удалился в герцогство Веймарское и не посещал стран, находившихся в войне с Россиею и Австриею; чего же мне было опасаться? По-видимому, было весьма вероятно, что подозрение относилось к моим бумагам; но что заключалось в них, читатель увидит из нижеследующего списка и может судить по нем о моем спокойствии. Вот эти бумаги:

1) Свидетельство, выданное ревельским управлением о моей пятнадцатилетней службе.

2) Копия с указа сената об увольнении меня в отставку с производством в следующий чин.

3) Приказ венского двора об увольнении меня от должности режиссера, с сохранением за мною звания придворного драматического писателя с содержанием по тысяче гульденов в год.

4) Удостоверение от венского театра.

5) Письмо графа Коллоредо, министра австрийского императора, по поводу опущений в вышеназванном приказе. В нем забыли упомянуть, что содержание было назначено мне *пожизненно*: по этому поводу я спрашивал, будет ли мне производиться пенсия, когда я сделаюсь старым и неспособным работать для театра; я получил на это вполне удовлетворительный ответ.

6) Собственноручная записка графа Соро (Saurau), министра австрийского императора, начальника тайной полиции, и такая же от советника двора г. Шиллинга. Когда я уезжал из Вены, недовольный отзывами о моем управлении театром, я счел осторожным по обстоятельствам времени иметь законное свидетельство, удостоверявшее, что в течение пребывания моего в этом городе я держал себя как подобает хорошему гражданину и ни разу не подал повода к возбуждению подозрения относительно моих политических убеждений. Я обратился с просьбою об этом к графу Соро, объяснив ему, что подобная осторожность кажется необычайною, но что и время, в котором мы живем, тоже необычайное. Он был настолько любезен, что успокоил меня в этом отношении, написав собственноручно письмо, которое оканчивалось уверением, что если когда-либо и возникнет подозрение относительно моих политических воззрений, то меня, без сомнения, оправдают.

7) Разрешение, данное управлением театров в Вене на четырехмесячный отпуск для поездки в Россию с обозначением — что никак не позже октября месяца должен я возвратиться в Германию, потому что возложенные на меня обязанности и дела не дозволяют мне более продолжительного отсутствия.

8) Письмо ко мне барона Крюднера, вышеприведенное в полном его виде.

9) Запечатанное письмо от царствующей великой княгини Веймарской к ее императорскому высочеству великой княгине Елизавете Алексеевне.

10) Письмо и книга от г. Бертуха, советника при посольстве в Веймаре, к г. Шторху, надворному советнику в Петербурге.

11) Письмо и книга от г. Боттигера, старшего советника при консистории в Веймаре, на имя надворного советника Колера в Петербурге.

12) Запечатанное письмо от г. Меркеля в Берлине к его брату в Риге.

13) Несколько незначительных писем.

14) Две облигации в десять тысяч рублей.

15) Ассигновка в тридцать два червонца на Данциг для уплаты в течение августа месяца за несколько рукописей.

16) Четыре небольших стихотворения по поводу дня рождения моей жены, который должен был наступить на другой день моего арестования. За несколько дней перед этим мы проезжали по песчаным равнинам Пруссии и принуждены были провести целый день в Нидене, ожидая почтовых лошадей; я воспользовался этим скучным временем и удалился от моего семейства на песчаный холм и там, под елью, написал стихи, которые должны были быть поднесены мною и детьми моими жене в счастливый день ее рождения; день этот, однако ж, в этот год не был таким счастливым, как мы предполагали; кроме того, я написал собственно для себя одно стихотворение, показывающее, что в душе моей я предчувствовал уже грустную участь, меня ожидавшую.

17) Швейцарская песня, законченная мною в Вене, нечто вроде четверостишия по поводу низверженного дерева свободы.

18) Заметки о почтах в Пруссии, по преимуществу об экстренных почтах.

19) Каталог лекарств одного аптекаря в Кенигсберге.

20) Несколько заметок и набросков, содержащих в себе конспекты театральных пьес; начатки стихотворений и тому подобные мелочи, которые нисколько не касались, однако, политики.

21) Несколько печатных листов, принадлежащих к альманаху, которые г. Роде в Берлине просил меня передать секретарю Герберу в Риге; листы совершенно ничтожные по содержанию.

22) Начало оперы.

23) Дневник состояния моего здоровья за последние годы.

24) Придворный календарь, издаваемый в Готе, на листах

которого я написал несколько заметок о своем путешествии.

25) Вырезанная на камне печать, завернутая в письмо одного из моих друзей, поручившего мне заказать ему эту печать. Печать состояла из герба, высланного из канцелярии герольдии в Петербурге, почему и не могла возбуждать подозрения.

26) Альманах, изданный в Веймаре с проклеенными листами белой бумаги между его страницами. В этом я подражал мысли знаменитого Франклина, о чем, если я не ошибаюсь, было напечатано в одном из берлинских журналов. Этот великий человек исследовал весьма тщательно все свои недостатки и составил им целую таблицу, твердо решившись избавиться от них мало-помалу. Всякий вечер он отдавал себе точный отчет в достигнутых им в этом отношении успехах и таким путем достиг усовершенствования с каждым днем и все более и более подчинял себе свои страсти. Как я ни далек от человека, взятого мною за образец, но я старался, по крайней мере, следовать его доброму и мудрому намерению и могу уверить, что это средство мне хорошо удалось; по собственному опыту я могу рекомендовать этот способ всем, желающим усовершенствовать нравственную свою природу; понемногу ощущаешь страх заглядывать в альманах, опасаешься найти страницу, преисполненную упреков, и часто обуздываешь свою страсть, которая увлекает, потому что вспоминаешь, что вечером надо будет записать точный отчет в альманах.

27) Все мои новые сочинения, находившиеся в рукописи: «Октавио», «Байард», «Иоанна Монфокон», «Густав Ваза», «Осторожная женщина в лесу», «Желание блистать», «Наставники» (перевод моей жены); «Аббат де л'Эпэ», «Награда правды», «Эпиграмма», «Два Клинсберга», «Узник», «Новый век», «Дом удовольствия диавола». Во всех этих произведениях не было ни одной сцены, которая могла бы навлечь на меня малейшую неприятность за выраженные мною политические или нравственные мысли. Я взял эти произведения с собою, имея в виду продать их для театра в Риге, по примеру того как я это делал прежде; некоторые из этих сочинений были переведены в Веймаре господином дю Во (du Veau). Я хотел предложить эти переводы французскому театру в Петербурге.

28) Наконец большой том, форматом в лист бумаги, переплетенный; это был архив всех моих дел, писем и тайн за последние пять лет. Необходимо сказать несколько подробнее об этом фолианте, потому что он один уже мог доказать полную мою невинность; всякий ознакомившийся с его содержанием узнавал меня самого так же хорошо, а быть может еще и лучше, нежели я сам себя знал.

Все мои сношения, все что я писал, думал и предполагал, все это было занесено в этот фолиант; он содержал в себе следующее:

а) Сведения о моем приходе и расходе; в приходе означалось всегда, за что получено, сколько, от кого, когда и как.

б) Журнал, веденный в Вене и касавшийся театра, за исключением незначительных прибавлений.

в) Список по годам всех писем, полученных мною и мною написанных, с означением, от кого и откуда, а также кому и куда.

г) Черновые всех более значительных и важных писем. Этим представлялась полная возможность немедленно узнать, с какими лицами находился я в переписке в последние пять лет и по какому поводу. Я убежден, что в письмах этих не найдется ни одного подозрительного имени, ни одного двусмысленного слова.

д) Дневник обыденных, достойных внимания, событий, которые все касаются исключительно моей домашней жизни; здесь записывал я день рождения ребенка, появление первого его зуба, посадку липы в день рождения моей жены, болезнь кого-либо из членов моего семейства, день, приятно проведенный в деревне в красивом месте, посещение друзей и т. п. Подобного рода предметы составляют все содержание дневника, который, если и не имеет большого значения в глазах других, доказывает, по крайней мере, самым неопровержимым образом, что я находил много радостей у себя дома, в среде моего семейства.

е) Заметки о моем саде в Фриденталь; о том, что я сажал, сеял и собирал там.

ж) Список моих литературных произведений в течение года.

з) Предположения о новых литературных произведениях. Это представляло самое убедительное доказательство того, что я никогда не вмешивался в дела политики и не имел ни малейшего к тому желания.

и) Список книг, прочитанных мною жене моей, и несколько незначительных пьес.

Я спрашиваю читателя, что подумал бы он об авторе, если бы ему попался в руки подобного содержания фолиант и он прочитал бы его?

Хотя я и не должен был предполагать, что эта книга попадется в чужие руки ранее моей смерти, но так как случилось иначе, то считаю себя вправе сослаться на эту книгу. Каждый, знакомый с природою человека, согласится со мною, что тот, кто ведет подобного рода заметки, не дает основания предполагать, что он худой или опасный человек.

Вот содержание находившихся при мне бумаг, насколько слабая моя память в состоянии их припомнить. Если я и забыл некоторые из них, то, без сомнения, они не имели большого

значения; они не могли иметь влияния на мою судьбу или изменить в чем-либо мнение, которое составилось о моей особе. Поэтому читатель теперь может судить, насколько я мог оставаться спокойным не только *по причине,* но и *по доказательствам* моей невинности, которая при самом легком, поверхностном взгляде бросалась в глаза без всякой малейшей с моей стороны попытки к моему оправданию.

Если бы только я желал бежать, то сделать это было весьма легко во время переезда из Полангена в Митаву. На вторую ночь, которую мы провели на станции, я встал очень рано и вышел на двор. Офицер, сопровождавший меня, спал в отдаленной комнате, а казак храпел в передней вместе с моими двумя лакеями; что могло мешать мне нанять крестьянскую лошадь и доехать до границы, от которой мы находились в небольшом расстоянии, — но я далек был от подобной мысли.

26-го апреля (старого стиля) мы приехали в Митаву в два часа утра; мы остановились в той же самой гостинице и в том же самом флигеле, в котором помещались во время последнего нашего проезда, но, по правде сказать, мы испытывали совершенно другие ощущения. Мы отдохнули несколько часов; здесь я даже оставался всю ночь без всякого надзора.

После нескольких часов тревожного сна я оделся, чтобы идти в сопровождении моей стражи сделать визит г. Дризену, губернатору Митавы. Во время пребывания моего в Петербурге я познакомился с этим достойным уважения человеком, и он со своей стороны оказал мне особенное внимание. Я был очень доволен, что на его долю выпала теперь обязанность рассмотреть мое поведение и образ моих мыслей. Заранее довольный тем, что будет, я пошел к нему с полною уверенностью, дав обещание жене моей сообщить ей немедленно об окончании дела; мы полагали оба, что дело это займет не более четырех часов времени. Ах! скольким разочарованиям подвергается тот, кто полагается единственно только на свою невинность!

Люди губернатора при появлении моем в передней заметили мне, что я не могу явиться к губернатору в простой одежде, а должен надеть мундир. Впрочем, узнав от меня, что я иностранец и не могу надеть другого платья, потому что оно в чемоданах, которые опечатаны, они ничего более не возражали.

Мы ждали довольно долго во второй комнате; это дало мне возможность рассмотреть странную ее меблировку. В этой комнате стоял диван и несколько стульев, но на стенах висели картины, как бы с особенным намерением здесь помещенные. Волки раздирают козленка, ястреб кидается на зайца, лисица, пойманная в капкан, медведь ищущий добычи, — вот содержание

этих картин; но всего более поражала большая картина, на которой были написаны четыре строки приблизительно следующего содержания: «Человек делает ручными львов, тигров и пр. пр., он укрощает самую бешеную лошадь, но он не может укротить свой язык». Все это по очень распространенному в старые времена обыкновению было изображено частью в лицах, частью словами. Так, например, вместо слова *человек* изображен был действительно человек, вместо слова *лошадь* нарисована была где нужно лошадь, вместо того чтобы написать слово *язык* — был нарисован большой язык, обвязанный уздою. Надо признаться, что содержание этих картин не было занимательным, веселым, и поэтому они возбуждали во мне мысли совершенно различные от занимавших меня вначале.

Офицера, сопровождавшего меня, позвали к губернатору, а я остался один. Через несколько минут они вышли оба; губернатор, видимо, затруднялся встречей со мной; впрочем, он очень любезно вспомнил о нашем прежнем знакомстве; по его словам, он читал мои сочинения и как всегда испытывал большое удовольствие, хотя иногда они и были написаны с некоторою язвительностью.

Меня интересовало в настоящую минуту, однако, совсем не это. Я уверял его, что слишком счастлив доказать ему вполне всю свою невинность и просил его в возможно скорейшем времени приступить к рассмотрению моих бумаг.

— Это меня не касается, — сказал он мне, — я имею только приказание отправить их запечатанными в Петербург, и вы должны немедленно следовать туда же.

Я был сначала смущен этим ответом; но тотчас же оправился и заметил, что никогда до настоящей минуты не разлучался с моею женою и желаю, чтобы она сопровождала меня. По-видимому, он готов был согласиться на мою просьбу, но вследствие замечания, сделанного одним из секретарей, решительно отказал мне в этом. Тогда я сказал ему, что не ручаюсь, чтобы жена моя сама не пришла просить его о том же на коленях.

— Избавьте меня от такой сцены, — ответил он, — я сам муж и отец семейства; я сознаю ужас вашего положения, но ничем не могу помочь; я должен в точности и неуклонно исполнить мою обязанность. Поезжайте в Петербург, оправдайтесь скорее и дней через пятнадцать, никак не более, вы опять будете среди вашего семейства; жена ваша теперь останется здесь; успокойтесь, мы сделаем для нее все, что предписывают нам человеколюбие и наше сердце.

При этих словах я вошел с ним вместе в его комнату; он

оставил меня одного и удалился, чтоб отдать приказания, к несчастью, слишком близко меня касавшиеся.

В этой комнате находилась одна молодая особа с очень привлекательною и доброю наружностью, без сомнения, это была дочь его; она занималась какою-то дамскою работою.

При входе моем она поклонилась очень благосклонно; но ничего не говорила и только по временам смотрела на меня из-за своей работы.

В ее взглядах было более сожаления, нежели любопытства; по временам она вздыхала; не трудно понять, что участие се ко мне мало меня успокоивало. Губернатор скоро вернулся.

— Теперь в России не те времена, что были прежде, — сказал он мне, — справедливость строго соблюдается.

— Поэтому я могу быть совершенно спокоен, — ответил я ему.

Он очень удивился тому, что я возвратился в Россию по собственному желанию и в особенности, что я привез с собою свое семейство.

Без сомнения, человек, путешествующий с злостными намерениями, не возьмет с собою жену, троих детей, старую гувернантку и двух лакеев; если я возвращался по своей доброй воле, следовательно был глубоко убежден в совершенной своей невинности и вполне доверял разрешению, данному мне государем.

Вскоре явился какой-то господин в гражданском мундире.

— Надворный советник Щекотихин (Schekatichin), — сказал мне губернатор, — весьма почтенный человек, который поедет с вами; будьте спокойны, вы в хороших руках.

— Говорит ли он по-немецки или по-французски?

— Он не понимает ни того, ни другого языка.

— Очень сожалею, я позабыл говорить по-русски.

После этого губернатор представил меня ему; насколько было возможно, я объяснился с ним по-русски, заменяя недостающие слова знаками: я взял Щекотихина за руку, пожал ее дружески и просил его быть ко мне благосклонным; он ответил дружественной гримасой.

Прежде нежели продолжать рассказ, я постараюсь по возможности очертить этого человека. Надворный советник Щекотихин был лет сорока от роду, имел темно-коричневые, почти черные волосы и лицом напоминал сатира; когда он хотел придать своей физиономии приветливое выражение, две продолговатые морщины пересекали его лицо до самого угла глаз и придавали ему выражение презрения; крутость его манер обличала, что он находился прежде в военной службе, а

некоторые отступления от правил приличия показывали, что он никогда не посещал хорошего общества и не получил должного воспитания — так, например, он очень редко употреблял платок, пил прямо из бутылки, хотя перед ним и стоял стакан и т. п.; с самым грубым невежеством он соединял в себе все наружные признаки большого благочестия; он не имел ни малейшего понятия о причинах солнечного и лунного затмения, молнии, грома и т. д., он был до того несведущ в литературе, что имена Гомера, Цицерона, Вольтера, Шекспира, Канта были ему совершенно чужды; он не обнаруживал ни малейшей охоты чему-либо выучиться, но зато умел с необыкновенною ловкостью осенять крестным знамением свой лоб и грудь; всякий раз, когда он просыпался, всякий раз, когда издали замечал церковь, колокольню или какой-либо образ, всякий раз, когда начинал есть или пить (пил же он очень часто), всякий раз, когда раздавались раскаты грома, или он проходил мимо кладбища, Щекотихин снимал шапку и усердно крестился. Впрочем, он оказывал не одинаковое уважение всем церквам; так, на деревянную церковь обращал он мало внимания, но при виде каменной уважение его увеличивалось и приобретало еще большую силу, когда взорам его издали представлялся значительный город с большими колокольнями; быть может, он делал это с тем, чтобы благодарить Бога за благополучное доставление его жертвы до такого-то места. Впрочем, мне кажется, я не видел, чтобы он молился Богу словами или глазами: он только делал крестные знамения и земные поклоны без конца. Он был очень высокого о себе мнения, хотя и не имел к этому основания; он не хотел слышать объяснений чего бы то ни было и как бы важен ни был самый предмет, — он всегда держался собственного мнения, придавая лицу своему выражение, описанное нами выше. Если называть благотворительным каждого раздающего милостыню, без всякого разбора, то конечно Щекотихин должен занять первое между ними место; ни один нищий не обращался к нему с просьбою без успеха; если даже кошелек его начинал истощаться, то это не побуждало его прекратить подаяния; смотря по тому, с какою поспешностью он старался освободиться от мелких медных монет, можно было заключить, что он считает эту раздачу милостыни по мелочам священною для себя обязанностью. Очень часто он кидал из кареты копейки, спустя много времени после того как мы проезжали мимо нищего; ему было совершенно безразлично, обладал ли нищий зрением или нет, был ли он в состоянии двигаться или нет, и мог ли он поднять подаяние или нет; всякая деликатность была ему чужда; виновный или невиновный были в

глазах его совершенно одинаковы. Впоследствии я, к несчастию, буду иметь слишком часто случай дополнять его изображение; теперь же пока достаточно и этого краткого очерка.

Таков был милый человек, которому меня поручали. Признаюсь, сперва я очень удивился, что такой добродетельный человек как г. Дризен выбрал мне подобного спутника, но потом узнал, что государь сам, разрешив выдать мне паспорт на свободный проезд в Россию, отдал вместе с тем приказание, чтобы надворный советник и курьер сената поехали бы мне навстречу и арестовали бы меня. Так как я просил о выдаче мне паспорта в последних числах января месяца, а пустился в дорогу, как выше сказано, только 10-го апреля, то Щекотихин ждал меня около семи недель с начала марта месяца до моего приезда. Он часто говорил мне об издержанных им деньгах и об испытанной скуке в продолжение всего этого времени ожидания; я сперва верил этому, но можно ли допустить, чтобы подобный человек когда-либо скучал? Я полагал и в настоящее время думаю, что как дураки, так и умные люди избавлены от этого рода недуга. Узнав, что он послан государем, я ничего не говорил; без сомнения, он не был известен лично государю, потому что в таком случае просвещенный государь, зная, что это за человек, послал бы ко мне навстречу другого, по многим причинам.

— Постарайтесь приискать удобную карету, — сказал мне губернатор, — вам надо скоро отправляться.

Я просил отложить отъезд до завтра, так как не спал три ночи, был более месяца в дороге и до того расстроился в последние три дня, что мне необходимо было отдохнуть, по крайней мере, двадцать четыре часа, но губернатор не согласился на мою просьбу. Он пригласил меня к обеду, но я отказался от этого и отправился к себе в гостиницу в сопровождении одного из секретарей. Этот молодой человек (кажется Вейтбрехт), несмотря на холодное выражение своего лица, по-видимому, сочувствовал моему несчастью; он сожалел и уверял меня, что губернатор при всем своем желании не может ничего для меня сделать, потому что «мы все машины теперь» — сказал он, пожимая плечами. Я был поражен последними словами, которые впоследствии слышал от многих лиц, и думал, что произносившие их не отдавали должной справедливости государю. Можно ли допустить в самом деле желание, чтобы только совершенные машины находились на службе? Как можно положиться на человека, который унижается до подобного состояния?

Я вошел в комнату, в которой моя дорогая жена провела ужасно томительный час ожидания; она выбежала ко мне

навстречу: в глазах ее выражалось сильнейшее беспокойство. Я старался сам успокоиться и сказал ей с возможною осторожностью, что должен уехать в Петербург один без нее; при этом я наговорил ей столько утешений и надавал столько надежд, сколько был в состоянии придумать в таком расстроенном положении. Секретарь также прибавил от себя, что дело это протянется не более пятнадцати дней. Но все было напрасно, бедная моя Христина при этих словах залилась слезами; она с рыданиями упала на постель, хотела во что бы то ни стало, оставив детей, ехать со мною и проводить меня, по крайней мере, до моего дома в Фридентале, в тридцати милях от Петербурга. Во всем этом ей отказали. Впоследствии будет ясно, что иначе и не могло быть; необходимо было даже сделать особое о ней представление в Петербург, потому что относительно ее не имелось никакого приказания.

Нужно было справиться, говорили мне, о том, может ли свободная женщина, благородного происхождения, ехать к себе в деревню, чтобы навестить родителей? До получения же ответа, на что требовалось дней пятнадцать, — жена моя должна была оставаться в городе, в котором никого не знала, в самой дорогой гостинице, разлученная со своим мужем и предоставленная вполне своему горю. Впрочем, никто не сомневался в том, что ей позволено будет ехать, куда она пожелает.

Увы! я не окончил еще картину ужасных минут, предшествовавших моему отъезду. Моя бедная жена заливалась слезами, из моих объятий кидалась почти без чувств на постель; пятилетняя дочь моя, милая Эмма, ежеминутно подбегала ко мне и обнимала своими маленькими ручонками; вторая, ничего не понимая из того, что происходит вокруг нее, плакала, но только потому, что маменька не занималась ею, а мой самый младший ребенок только улыбался, сидя на руках няни и, к счастию, не принимал участия в этой раздирающей сцене. Люди мои суетились по комнате и не знали что делать; смятение было ужасное. Наконец явился Щекотихин; сенатский курьер поместился в углу комнаты, секретарь потребовал ключи, снял печати с моих чемоданов и осмотрел все подробно с величайшим вниманием. Что же касается меня самого, то я находился в каком-то забытьи и по временам только приходил в себя; все, что совершалось вокруг меня, не привлекало моего внимания; я сел около жены, обнимал и утешал ее, просил успокоиться и возлагать надежду на справедливость императора и мою невинность.

— Мы долгое время очень счастливо жили вместе, — сказал я наконец, — перенесем же с твердостью минуту несчастия — это

будет непродолжительно. Губернатор сказал мне, что лишь только я оправдаюсь — а на это потребуется не более пятнадцати дней, — я опять буду среди своей семьи. Докажи мне, милый друг, что ты не простая, обыкновенная женщина; слезы не помогут, надо иметь мужество, постоянство; употреби, если хочешь, все средства, чтобы спасти мужа, — вот твоя задача, милый друг, достойная нежной верной супруги.

Я указал ей несколько лиц в Петербурге, которым она могла писать. Мне запрещено было сообщить моей матери о всем происшедшем со мною. Я просил жену мою исполнить это вместо меня и сообщить ей возможно осторожнее эту печальную новость, хотя, впрочем, секретарь Вейтбрехт уже обещал мне сам это сделать. (Как оказалось впоследствии, он не исполнил своего обещания.)

Этими словами и ласками я успокоил мою жену; она встала, поклонилась Щекотихину, протянула ему руку и просила его со слезами на глазах беречь меня во время дороги; ей сказали уже, что никто из моей прислуги не может мне сопутствовать. Как жаль, что никто не видел эту очаровательную женщину в минуту тоски и отчаяния; сколько была грации в ее просьбах, сколько красоты в ее печали. Трогательные слезы ее смягчили бы самое жестокое сердце; но Щекотихин учтиво улыбался; морщины появились на его лице, и он обещал жене моей по возможности исполнить ее желание. Секретарь спросил меня, сколько имею я при себе денег золотом; у меня было около пятидесяти червонцев, двести талеров и более сотни фридрихсдоров; он предложил мне все это разменять на русские бумажки и оставить при себе. Мне это показалось бесполезным; к чему мне было брать столько денег на дорогу до Петербурга. Приехав туда, я нашел бы моих друзей; к тому же я должен был ехать мимо Фриденталя, где и мог взять денег в случае надобности. Жена же моя, напротив, оставалась без всяких средств; поэтому мне казалось лучше оставить ей все эти деньги; но секретарь настаивал так решительно на том, чтобы я послушался его совета, что наконец я отчасти ему последовал. Секретарь был так любезен, что взялся сам разменять мое золото и сделал это довольно выгодно, особенно если принять в соображение неотложную надобность такого размена.

Мне не позволили взять ни одного чемодана из моей кареты; поэтому я взял у людей моих старый мешок, в который жена моя положила несколько белья. Тогда с тем же усердием, с каким секретарь настаивал на снабжении меня деньгами, сенатский курьер, при этом находившийся, стал уговаривать мою жену положить в мешок как можно более белья. Она, однако, его не

послушалась. Не успев в этом, курьер настаивал, чтобы я взял с собою тюфяк; я также не последовал его указанию, и он с сожалением пожал только плечами.

Припоминая теперь хладнокровно все эти мелочи, не могу понять, как в то время они не возбудили во мне подозрения, что мне предстоит гораздо более продолжительное путешествие нежели от Митавы до Петербурга; но я был до такой степени угнетен своим положением, что не мог отдать себе ни в чем ясного отчета. Что касается денег, то я представлял себе возможность не встретиться с друзьями в Петербурге; но я ничего не слыхал из того, что говорилось про белье; моя смущенная душа занята была женою и детьми. Я постоянно ходил от одной к другим, по очереди обнимал, утешал и ласкал их, и проливал сам слезы вместе с ними.

Наконец, слезы появились и у курьера; он был тронут привязанностью моею к семейству; мы дружески взглянули друг на друга.

— Есть ли у тебя жена? — спросил я его.

Он кивнул в знак согласия головою и прибавил: — У меня также трое детей.

— В таком случае ты меня понимаешь.

Он вздохнул и покачал головою.

Я позволю себе представить читателю небольшой очерк этого человека. Александр Шульгин (Schulkins) имел не более тридцати лет и был человек решительно без всякого образования, нечто вроде скота, но скота хорошей породы; лицо у него было калмыцкое, круглое, с приплюснутым носом, с сильно выдающимися скулами и небольшими полуоткрытыми глазами, лоб маленький и узкий, волосы черные, широкие плечи и грудь. На левой стороне груди носил он круглую белую бляху сенатских курьеров, а на поясе сумку для пакетов. Величайшим для него удовольствием было есть и пить; он не был разборчив на кушанья: ел и пил все, что попадалось, и, судя по тому как он это исполнял, можно было заключить, что он считает это главною своею обязанностью; когда он ел суп, то нагибал голову назад и совал в рот ложку по самую ручку и выливал ее таким образом в глотку, не заставляя нисколько участвовать в этом свой вкус; в это время он смотрел в потолок, и лоб его покрывался множеством продолговатых мелких морщин, которые приводили в движение волосы на его голове; точно так же поступал он, когда ел говядину, которую не жевал, а глотал целыми кусками; если я оставлял на моей тарелке кости, он немедленно овладевал ими и принимался грызть их как бульдог и извлекал из них не только все хрящи, но даже и мозг костей. Стакан водки должен был быть

очень великим, если он не мог выпить его разом одним залпом; он был в состоянии очень много выпить и не пьянеть. Он пил все без различия: я видел, как он выпил менее нежели в четверть часа чаю, кофе, водки, пуншу и сверх того две кружки кваса. Он ел, пил и засыпал во всякое время дня и ночи. Мимоходом замечу, что Щекотихин мог потягаться с ним во всех отношениях и мало уступал ему в наклонности к крепким напиткам. Но Шульгин, несмотря на всю свою грубость, превосходил его в нравственном отношении. Он обнаруживал чувствительность, но при этом был вспыльчив и резок, хотя, правда, на непродолжительное время. Он знал кое-что, тогда как Щекотихин ровно ничего не знал. Я припоминаю, как однажды, увидев кукушку, он стал рассказывать, что птица эта кладет свои яйца в гнезда других птиц и заставляет их высиживать своих птенцов. Щекотихин стал смеяться над этим; Шульгин спросил меня, правду ли он говорил. Я отвечал «да». Щекотихин презрительно посмотрел на нас обоих, сделав гримасу. Впоследствии я еще сообщу разные сведения об этом курьере; теперь же, чтобы дать понятие читателю о служебном положении Шульгина, прибавлю только, что при петербургском сенате находится восемьдесят подобных курьеров, обязанных развозить указы в самые отдаленные места. Они состоят, мне кажется, в унтер-офицерском звании; обмундирование их очень похоже на почтальонское, за исключением бляхи, которая схожа по наружному виду, но имеет совсем иную надпись.

Возвращаюсь к моим страданиям. Я должен был купить карету; их привезли несколько на двор гостиницы, и мне оставалось только выбрать. Это была большая для меня милость, хотя я и должен был купить карету на свой счет. Обыкновенно арестованных лиц, без различия возраста и пола, сажают в кибитку или другой еще более неудобный экипаж и везут таким образом, несмотря ни на какую погоду. Вообще, я не могу отрицать, что мне было оказываемо некоторое внимание. Я не благодарю за это г. Щекотихина: без сомнения, я был обязан этим распоряжению высшего начальства, потому что мой бесчувственный стражник был не в состоянии уклониться в чем бы то ни было от полученных им приказаний.

Убежденный, что еду только в Петербург, я купил себе двухместную карету очень хорошей работы, легкую на ходу, на рессорах, но годную только для небольшого переезда. Я заплатил за нее пятьсот рублей.

Жена моя, видя, что со мною обходятся вежливо и осторожно, успокоилась еще более. Она спросила Щекотихина, позволено ли мне будет писать ей с дороги; он и секретарь уверили ее, что это

не подлежит сомнению.

Наконец вечером, часов около семи, все было готово и я простился с моим семейством. Сердце мое сильно билось в эту жестокую минуту; руки тряслись, ноги сгибались подо мною; глаза едва были в состоянии различать предметы; даже теперь не могу без сильного ощущения вспомнить об этом грустном отъезде. Я опускаю подробное описание последнего прощания. Жена моя и я более не плакали; истомленные сердца наши были судорожно сжаты. Я поцеловал детей, благословил их; жена моя кинулась мне на шею и лишилась чувств.

Секретарь оставался до этой минуты холодным зрителем и лишь повторял всем известные общие фразы, — что надо покоряться судьбе; что печаль не поможет, и тому подобное, — чем выводил меня из терпения, но при последних прощаниях и он не мог удержаться от слез. О, если бы государь столь чувствительный, как мне это было хорошо известно, был бы свидетелем подобной сцены, — с какою быстротою приказал бы он прекратить наши страдания.

Жена моя не в силах была отвечать мне на мои ласки; она лежала с полуоткрытыми глазами и стонала; я поцеловал ее, быть может, в последний раз и тотчас же направился к карете. Все мои люди помогали мне сесть в экипаж и трогательно со мною прощались. Любопытных, столпившихся в передней, удалили и в предупреждение всяких толков велели карете въехать во двор. Я сел и поехал.

Таким образом честного человека исторгли из его семейства. Мирный гражданин, имевший установленный паспорт от императора, был арестован, не зная за что. Нет, невозможно, чтобы государь, чувствительный государь, знал бы об этом; все это сделано не по его приказанию; какой-нибудь коварный человек злоупотребил его именем, а он даже не подозревает того, что делается. Вот уже девятая неделя, как я не имею ни малейшего известия о моем семействе; я не знаю — живы ли или нет моя жена и дети; быть может, они умерли и я никогда не получу от них известий…. Моя жена и я в продолжение стольких лет были разлучены всего два раза, и то не более как на пятнадцать дней, окончания которых мы едва могли дождаться; теперь же мы были оторваны друг от друга, быть может, навсегда… мы проводим эти дни без всякой надежды. Переживет ли она такое горе? Пережила ли она? Боже мой…

Припоминаю с горестью, что более года тому назад я отправлялся на воды в Пирмонт; жена моя только что родила сына и была слишком еще слаба, чтобы ехать со мною. Я отправился один и предполагал пробыть там три недели — срок,

необходимый для пользования водами. Я едва выдержал десять дней; я не мог долее сносить разлуку с нею и немедленно возвратился назад, а вот теперь уже девять недель, что я разлучен с нею; быть может, я не увижу ее и чрез девять лет, быть может… я ее не увижу более и буду жить… я живу… луч надежды еще блестит в моих глазах; ее целительный бальзам освежает мои засохшие губы; если он иссякнет, тогда отчаяние мое будет столько же велико, как мое несчастье: я сумею умереть.

Человек, изучивший сам себя и знающий немного сердце человеческое, поверит словам моим, когда я скажу, что по мере удаления кареты я чувствовал, как ум мой прояснялся, а дух мой получал бодрость и силу. Я соображал свое будущее. Что меня ожидало? Новые поиски, обыски, рассмотрение моих бумаг, моего поведения, моего тихого образа жизни. Я имел дело с государем справедливым, который не осудит меня, не выслушав моих объяснений; что могло со мною случиться худого? Какие-нибудь мелкие неприятности, проистекающие от невладения мною русским языком; но мне дадут переводчика, утешал я себя, я буду некоторое время лишен кое-каких удобств жизни, привычек, вот и все. Но разве все это большое несчастие? Припадки хронической болезни, которая беспокоит меня уже лет двенадцать, могут усилиться, но в Петербурге есть хорошие врачи; на каком же основании должен я считать себя несчастливым? Без сомнения, это очень непонятное приключение, но оно лишь временное; я буду иметь случай увидеть друзей моих, которых и без того собирался навестить; это было целью моего путешествия; правда, поездка обойдется мне гораздо дороже; но это ведь денежное пожертвование наименее тяжкое из всех пожертвований. Кроме того, я был убежден, что митавский губернатор будет заботиться о моем семействе; он мне обещал это и ручательством верности исполнения обещанного служит его честное слово, благодушие и человеколюбие.

Рига находится в расстоянии только семи немецких миль от Митавы, а между тем мы приехали туда только в полночь. Было совершенно темно, когда мы очутились на берегах Двины, омывающей этот гостеприимный город. Так как по причине полноводия мост был разведен, то мы должны были на лодке переехать реку, что еще более замедлило нашу поездку.

Подъехав к городским воротам, курьер наш отправился в караульный дом и очень долго там оставался, что нисколько меня не беспокоило; наконец он явился и направил нас на почтовую станцию, однако ж, не городом, но большим объездом по узким и кривым улицам. Мы не долго ждали на станции; нам заложили лошадей и мы поехали далее.

Должно заметить, что по казенной подорожной мы могли получать бесплатную тройку лошадей, но почтосодержатели запрягали иногда и четвертую. За эту четвертую лошадь иногда приходилось платить прогонные деньги, а иногда нет; в первом случае расход этот падал на мой счет, так как в подорожной о ней ничего не было сказано.

Мы выехали из Риги в два часа, в самую холодную ночь; утомленный физически и нравственно, я чувствовал потребность отдыха, закрыл окна и заснул. На следующей станции я проснулся и, увидев, что светало, снова задремал.

Кто в состоянии изобразить мое удивление и ужас, когда, проснувшись чрез несколько времени, я заметил, что мы переменили дорогу. Я едва удержался, чтобы не закричать. Какое-то предчувствие внушало мне необходимость хранить молчание. Я не в силах описать то, что со мною происходило. — Куда везут меня? Где будут рассматривать мои бумаги? Эти вопросы потрясали мой ум, но не успокаивали меня. Мог ли я предполагать, что меня повлекут на край света, не произведя даже надо мною следствия.

Приехав на станцию, я спросил себе кофе, не столько из желания его пить, сколько с целью выиграть время; пока его варили, я ходил в большом волнении по комнате; Щекотихин стоял у кареты и разговаривал со станционным смотрителем; курьер наблюдал за ним из окошка и, очевидно, ждал минуты, когда он отвернется.

— Федор Карпович (так звал он меня по русскому обычаю), — сказал он вдруг, обратясь ко мне, — мы едем не в Петербург, а гораздо далее.

— Куда же? — спросил я взволнованным, дрожащим голосом.

— В Тобольск, мой милый.

— В Тобольск?! — При этом слове я задрожал всем телом и едва не упал…

— Умеете читать по-русски? — спросил он меня, не сводя глаз с Щекотихина.

— Немного, — ответил я.

— Так посмотрите на подорожную.

Я прочитал: «По указу и т. д. дана на проезд из Митавы в Тобольск надворному советнику Щекотихину с будущим, в сопровождении сенатского курьера по казенной надобности и проч.»

Можно себе представить, какие ощущения испытал я при этом ужасном открытии: я стоял точно пораженный молниею.

— Я хотел сказать вам это в Митаве, — прибавил курьер, — но за нами наблюдали; я вас очень жалею… я имею детей, жену и

знаю очень хорошо…

Я поблагодарил его за это, он же просил меня не показывать вида, что открыл мне эту тайну; «потому что г. Щекотихин, прибавил он, очень крутой человек».

Щекотихин вошел в комнату; к счастию, он так же мало смыслил в мимике и в искусстве понимать выражение лиц, как и в естественной истории кукушки; иначе возможно ли было не заметить смертной бледности моего лица и судорожное дрожание всего моего тела. Он выпил стакан водки, не обратив ни на что внимания. Принесли кофе, до которого я не коснулся; я сказал, что мне нездоровится, не хочется и т. д. Я действительно сделался болен. Я заплатил за кофе; Щекотихин его выпил, и мы поехали далее. Толчки от дороги немного восстановили мои мысли. Теперь в первый раз мне пришло в голову бежать. Меня везут в Сибирь, рассуждал я сам с собою, не выслушав моих объяснений, без всякого следствия и суда, единственно на основании деспотического могущества, не сказав мне даже за что меня везут. Это решительно непонятно; государь ничего об этом не знает; я сделался жертвою отвратительного обмана; не бумаги мои составляют причину моего арестования; их бы рассмотрели, прежде нежели подвергать меня столь жестокому наказанию; вероятно, были какие-нибудь важные на меня жалобы и доносы; представлены против меня ложные доказательства, и клеветник, чтобы не быть уличенным, ссылает меня в Сибирь, не дав мне объясниться. Быть заживо погребенным в Сибири… в Сибири!.. как там оправдываться? Достигнут ли мои жалобы берегов Невы? и если достигнут, то на чем буду я основывать свое оправдание, когда мне неизвестно, в чем меня обвиняют. Бежать — единственное для меня средство спасения. Эта мысль глубоко запала мне в голову, — и я решился без промедления осуществить ее.

На вершине холма, на берегу Двины, в том месте, где находится почтовая станция, возвышается старый замок Ливонского герцога, который после долгой борьбы с христианами, принял, наконец, святое крещение со всеми своими подданными. Живописный вид этой развалины вселил во мне мысль искать спасения в этом замке, хотя бы такая попытка и стоила мне жизни. К этому присоединилось еще одно соображение: я помнил, что земля эта, известная под именем Кокенгузен, принадлежала барону Лёвенштерну, с которым я познакомился в Саксонии; он слыл за очень честного человека; я это знал, и мне пришла в голову мысль вручить ему мою судьбу.

Мы приехали на почтовую станцию; смотритель и его жена были, по-видимому, добрые люди. Пользуясь тем, что Щекотихин

удалился смотреть, как запрягают лошадей, я спросил по-немецки:

— Кому принадлежит эта земля?

— Барону Лёвенштерну, — был ответ.

— Где же он живет?

— А вот там, — и мне указали на его дом, находящийся в некотором отдалении от станции.

— Он у себя дома?

— Нет, он теперь у своего шурина в Штокманнсгофе.

— А семейство его также там? (я знал его жену, прелестнейшее создание в мире, и детей, вполне достойных таких родителей).

— Да.

— А что, Штокманнсгоф находится на большой дороге?

— Да, вы поедете мимо.

— А далеко отсюда до Дерпта?

— Шестнадцать миль.

Далее уже нельзя было продолжать расспросы, лошади были готовы и надо было ехать.

Дорогою случилось с нами происшествие, доставившее мне немалое удовольствие. Нам запрягли лошадь с норовом, которая вдруг не захотела идти вперед; ямщик всячески старался сдвинуть ее с места, но тщетно: крики, угрозы, удары, нисколько не помогали, лошадь была неукротима. Спутники мои начинают всячески ругать латышей. Наконец, истощив весь запас известных ему ругательств, курьер наш обрушился на ямщика и стал бить его кулаками. Последний обиделся, соскочил с козел и объявил, что не сядет более, если с ним так обходятся. Это заявление, совершенно справедливое, привело в ярость Щекотихина, он вышел из кареты, сломал толстый сук у первого дерева, схватил ямщика за ворот, повалил его на землю и стал колотить. Он приказывал ямщику ехать далее, если тот не желал быть снова битым; ямщик стал, по-видимому, собираться влезть на козлы при помощи курьера, но вдруг бросился бежать и, обладая здоровыми ногами, скоро скрылся от нас. Курьер тщетно пытался его догнать и был принужден вернуться. Таким образом, мы очутились одни на большой дороге, с упрямою лошадью и без ямщика. Что теперь делать в таком печальном положении? Самое лучшее было возвратиться на станцию, что мы и сделали; но ехали довольно тихо, так как курьер, взявший вожжи в руки, совсем не умел править лошадьми, и дергал их то направо, то налево, что навлекло на латышей, совершенно неповинных в этом деле, новые ругательства и проклятия.

Мне не следовало бы употреблять здесь слово *проклятие* во

множественном числе, так как русские употребляют только одно слово, но заменяющее, по правде сказать, все прочие; они повторили это слово в течение дня, по крайней мере, тысячу раз, — я нисколько не преувеличиваю.

По возвращении в Кокенгузен Щекотихин пожаловался на ямщика, но умолчал о нанесенных ему ударах.

— Вы, верно, его поколотили, — сказал станционный смотритель, — он хороший парень.

Все утверждали, что этого не было. Станционный смотритель взглянул на меня, и я в знак согласия с ним кивнул головою.

Известно, что сознание собственной вины и ошибки возбуждает гнев в грубом человеке. Наш Щекотихин, находясь в таком положении, разразился потоком неприличных слов и ужасных ругательств, которые сопровождались еще разными угрозами. Но так как станционный смотритель по закону имел право только жаловаться на это и не мог задержать дальнейшего следования курьера, то поэтому он дал нам другую лошадь; но найти другого ямщика было гораздо затруднительнее; это заставило нас прождать довольно долго, чем я со своей стороны был доволен.

Во все это время я оставался один в карете; брат станционного смотрителя, подойдя ко мне, сказал внушительно: «Ваше имя не прописано в подорожной». Я не знал, что ему отвечать, и только впоследствии узнал, что не встречая моего имени в подорожной, смотритель имел право не давать лошадей. Если бы я знал это ранее, то предложил бы ему воспользоваться его правом. Что бы стал делать Щекотихин? Он принужден был бы ждать и сообщить об этом в Ригу. Рижский губернатор, не зная ничего, отнесся бы к митавскому губернатору, на что потребовалось бы много времени, а в этом деле, как и во всяком другом, выжидание было бы очень кстати; я мог бы, пользуясь этим, обдумать и устроить мое бегство, но не зная ничего, я не воспользовался этим удобным случаем и мы после обеда снова пустились в путь.

Дорогой я осматривал местность и в особенности Штокманнсгоф. Двина текла по правой стороне, а на левой возвышался ряд холмов, покрытых лесом. В шесть часов мы были на пограничной станции Лифляндии и Витебской губернии.

Скоро будет конец, думал я про себя. Проехав Лифляндию, я не буду иметь уже в стране друзей, знакомых, и не встречу человека, который говорил бы одним со мною языком. Теперь или никогда возможно было мое бегство. Я немедленно заявил, что хотя и рано, но я не в состоянии ехать далее и хочу отдохнуть. Эта просьба не понравилась Щекотихину; он желал везти меня со

всевозможною скоростью; однако он остановился по моему желанию; если он делал мне такое снисхождение, то потому, что в данной ему инструкции предписывалось ласково и вежливо со мною обходиться.

Мы стали устраиваться, чтобы провести ночь. Почтовая станция была отвратительная; свиньи, куры наполняли комнату. Я настаивал перебраться в находившийся недалеко каменный постоялый двор, где, по-видимому, можно было найти более удобств. Настоящею же причиною моих настояний было то, что почтовая станция представляла собою место крайне неудобное для осуществления моего замысла.

Постоялый двор, к которому мы направились, содержал еврей; двор этот принадлежал к Штокманнсгофу и стоял фасадом на большую почтовую дорогу, которая отделяла его от Двины. В нескольких шагах начинались те холмы, на которые возлагал я всю мою надежду. Курьер начал приготовлять ужин; он хвастался искусством варить кушанья и заколол курицу, обещая сварить из нее прекрасный суп. Я делал вид, что очень доволен этими приготовлениями, и пошел вместе с Щекотихиным прогуливаться перед кабаком. Я осматривал берега реки и плоты, которые по ней неслись. Я знакомился втихомолку с местностью, по временам входил в свою комнату и смотрел на окошко, завязанное простою веревкою. Я убедился, что оно может содействовать осуществлению моего замысла, так как оно открывалось и закрывалось без всякого шума.

Щекотихин искал что-то и оставил на столе несколько листов бумаги; из предосторожности я взял с собою один лист, не зная еще сам, какое я дам ему назначение.

В девять часов вечера курьер принес ужин, состоявший из очень жирного супа, сосисок и данцигской водки; эти два последние предмета горничная моей жены положила без моего ведома в карету.

Чтобы не обидеть курьера, я съел несколько ложек супа и обнаруживал некоторого рода веселость, которая показалась всем довольно естественною. Душа повинуется гораздо лучше тела; несмотря на все мои старания и принуждения я не в силах был проглотить куска. Такое отсутствие аппетита я объяснил крайним моим утомлением.

Я встал из-за стола и собирался лечь спать. Спутник мой хотел, чтобы я лег на постель, единственную во всем постоялом дворе, но она находилась в отдаленной комнате; я сказал, что она очень грязная и что я предпочитаю спать на сене, которое просил набросать около окошка и покрыть моим халатом. Я завернулся в мою шинель и готовился совсем одетый лечь на эту походную

постель, как вдруг вбежал курьер, чтобы снять с меня сапоги. К счастию, он поставил их невдалеке от меня; я лег и притворился спящим.

Мои спутники сидели за столом до тех пор, пока было что есть и пить; потом они также легли спать. Щекотихин лег возле на скамейку, так что нас разделял только стол. Над столом находилось окно, чрез которое я предполагал бежать. Курьер же лег спать в карете, стоявшей вблизи окна.

Было около одиннадцати часов. Ночь была темная, хотя стояло полнолуние. Щекотихин спал. Это было самое удобное время, но, к несчастию, проклятые жиды пели и кричали во все горло — это было накануне шабаша. То хозяин, то его жена, то дети проходили по нашей комнате с огнем. Они производили настоящую адскую возню, от которой по временам Щекотихин просыпался и жестоко бранился. К его брани я присоединил мои просьбы прекратить возню; но все было напрасно, возня продолжалась всю ночь, до двух часов утра, когда жиды наконец улеглись и все успокоилось.

Пользуясь этою тишиною, усыплявшею людей, я подумал о моем бегстве. Прежде всего я встал на колени и осторожно развязал веревку у окна; я это сделал без всякого затруднения и без малейшего шума. Курьер наш храпел, что меня также немало успокаивало. Ощупью отыскиваю я свои сапоги, и держа их в руках, а также мою шинель, влезаю на стол; я делаю это с возможною осторожностью, едва переводя дыхание, удерживаясь от всякого движения, лишь только слышу, что Щекотихин ворочается. Все идет прекрасно, но вот новое затруднение. Окно находилось от земли на вышине человеческого роста; хочу вылезать, спускаю ногу, но она не может достать земли и не находит в стене ничего такого, на что могла бы опереться. Что теперь делать? опустить и выдвинуть другую ногу? но я не могу этого сделать, не опершись сам на окно; для этого мне нужно располагать обеими руками, а между тем левая рука моя занята. Кинуть сапоги и шинель на улицу? но, падая на землю, они произведут шум, и если Щекотихин проснется ранее, чем я успею последовать за моими вещами, тогда прощай все мои надежды! Но мне ничего другого не оставалось делать; поэтому я спускаю осторожно по стене мою шинель, она тихо падает на землю и служит подушкою для моих сапог, следующих за нею за окно без всякого шума; теперь моя очередь спуститься. Я крепко уперся руками, бросился вперед и одною ногою коснулся колеса кареты, а другой земли; все было кончено.

Хотя я и выскочил из окна, но мне необходимо было еще кое о чем подумать. Курьер громко храпел, и я мог полагать, что он

будет спать еще долгое время; но Щекотихин, чувствуя свежий воздух из открытого окна, мог легко проснуться и заметить мое бегство. Для устранения этого я задвинул насколько мог окошко; потом завернул за угол, закутался в шинель и надел сапоги.

Я прошел по сырому лугу, позади кабака, и скоро вышел снова на большую дорогу. Я намеревался идти в Кокенгузен и убедить станционного смотрителя взять меня на свое попечение. Надежды, возложенные мною на этого человека и его семейство, были основаны отчасти на добродушной его наружности, отчасти на испытанных им накануне неприятностях, за которые он, вероятно, пожелал бы отомстить. Кроме того, я не думал, чтобы он остался нечувствителен к значительной сумме денег, которую я охотно бы дал за эту услугу.

Если бы он не согласился скрыть меня у себя или если бы он не имел удобного для этого места, в таком случае я скрылся бы в развалинах старого замка в Кокенгузене; я сговорился бы с ним только о том, чтобы он носил бы мне туда пищу. Потом чрез его посредство я сообщил бы о моем здесь пребывании барону Лёвенштерну, который с своей стороны написал бы об этом жене моей, а жена моя — нашим друзьям. Короче сказать, я составил план, по-видимому, очень удобоисполнимый, подробности которого не считаю, однако, нужным здесь объяснять.

Но одно обстоятельство испортило это предположение. Мне необходимо было еще в ту же ночь прибыть в Кокенгузен, чтобы Щекотихин не опередил бы меня в этом месте; но жидовский шабаш слишком замедлил мое бегство; теперь было по крайней мере три часа, и мне нужно было не менее пяти часов, чтобы пройти все расстояние до Кокенгузена. Могло случиться, что Щекотихин рано проснется и настигнет меня, кроме того, я должен был опасаться явиться в Кокенгузен днем: туда по всей вероятности пришли бы меня искать и послали бы за мною погоню. Поэтому я решился продолжать свой путь всю ночь и скрыться с наступлением дня в лес, покрывающий холмы.

Составив себе такой план, я шел вдоль большой дороги, по прилегающим к ней лугам. При лунном свете я увидел дом, который накануне принял за военное укрепление. В Лифляндии весьма часто встречаются дома, разбросанные в разных местах равнины; они служат местом жительства для офицеров, когда их полки располагаются в окрестности; по уходе войска дома заколачиваются. Накануне я уже заметил, что окна и двери этого дома закрыты, а находящаяся при доме будка для часового пуста.

Предполагая, что в доме этом никто не живет, я хотел пройти около него, так как он был вдалеке от большой дороги.

— Кто идет? — закричал часовой.

Я испугался очень этому вопросу, которого не ожидал, но дал, однако, необходимый ответ.

— Куда идешь?

— В Штокманнсгоф.

— Но ведь большая дорога там, а не здесь?

— Я не заметил дорогу.

Я намеревался идти далее, но часовой остановил меня.

— Послушай, любезнейший, — сказал я ему, — я управляющий из Штокманнсгофа и приходил навестить девушку; не говори, пожалуйста, что ты меня видел.

При этом я дал ему несколько денег; он что-то проворчал, но пропустил меня.

Это маленькое приключение сделало меня боязливым; я опасался другой подобной встречи и шел просто по большой дороге; если бы меня и встретил кто-нибудь, то в этом не было ничего особенного; к тому же по дороге было гораздо удобнее идти.

Но вот и другое приключение. Пройдя несколько верст, вдруг я слышу, хотя и довольно далеко позади меня, что забили тревогу. Надо знать, что это такое.

В деревнях в России, и даже в предместьях городов, между двумя столбами укрепляют на веревках доску. Когда хотят позвать прислугу к обеду или на работу, или просто означить час, колотят в эту доску толстою палкою, что производит очень резкий звук, который слышится на далеком расстоянии. Я испугался теперь этого звука. Еще очень рано, подумал я, работники нигде так рано не завтракают; судя по ударам в доску, они означают не часы; их выбивают совершенно иначе и реже, теперь же колотят чрезвычайно часто. Ах! я догадываюсь: Щекотихин открыл мое бегство; он делает тревогу в кабаке; быть может, он узнал от часового, что тот видел меня; он меня преследует и собирает для погони за мною окрестных жителей.

Короче сказать, этот звон показался мне весьма подозрительным и побудил меня свернуть с большой дороги. Я тотчас же углубился в самую чащу леса. По временам мне попадались среди леса прогалины, которые я быстро пробегал, стараясь по возможности пользоваться прикрытием больших деревьев. Мало-помалу лес становился все чаще и чаще; я примечаю холм, на котором надеюсь найти себе убежище и направляюсь к нему по самой ближайшей тропинке, которая приводит меня к болоту. По мере того, как я подвигаюсь вперед, я все более и более вязну, место оказывается чрезвычайно топкое, я ухожу в живую грязь по колена, долгое время бьюсь из всех сил, наконец совершенно изнемогаю и останавливаюсь. Начинает

светать, но это для меня бесполезно; я нахожусь среди густого леса, меня окружают со всех сторон молодые сосны, так что я ничего не вижу далее десяти шагов от себя. Что делать? Возвратиться назад? Я бы предпочел этому верную смерть. Лишь только мне показалось, что я оправился, я напряг все свои силы и после часовой очень трудной ходьбы дошел до холма. Он не представлял на деле того, что мне показалось издали, и я продолжал путь. Перебираясь с одного холма на другой, я нахожу тропинки, которые ведут к небольшим, худо возделанным полянам в самом лесу; я всячески старался избегать их, для чего мне приходилось очень часто уклоняться в противоположное направление.

При пасмурной погоде, которая стояла, я не был бы в состоянии до вечера отыскать большую дорогу, если бы меня не руководила Двина, шум вод которой мне слышался все время. Наконец после множества обходов я замечаю еловую рощу, очень густую и темную, а посреди ее две большие, старые березы, дружески соединившие свои ветви; это напомнило мне наш союз с женою и казалось счастливым предзнаменованием; я направился к этим деревьям, не предполагая, чтобы под тенью их могла встретиться какая-либо неприятность.

Было не более семи часов, а между тем о дальнейшем путешествии нельзя было и думать ранее десяти часов вечера. Следовательно я имел много времени обдумать о том, как и куда идти. Прежде всего я очистил от грязи сапоги и себя, и если бы воздух был теплее, а место не так сыро, то я подумал бы и осушить себя; теперь же я завернулся в шинель и сел возле одной березы. Ели окружали меня сплошною стеною, после которой шагах в тридцати начинался мелкий, густой заповедный лес, а за ним возвышался песчаный, пустой холм; сквозь ветви деревьев я мог разглядеть всякого, кто хотел бы спуститься по холму или идти по роще. Вокруг меня, насколько я мог окинуть глазом, тянулись леса.

Теперь, подумал я, Штокманнсгоф не далеко от меня; там живет г. Байер, отец г-жи Лёвенштерн; я слышал о нем очень много хорошего; он очень благородный человек; в самом деле, могла ли бы его дочь обладать столь прекрасными качествами, если бы она не пользовалась заботами и примером своих родителей. Поэтому я думал, что могу вполне на него рассчитывать, если дойду вечером до его дома; но скоро, однако, я раздумал, сообразив, что имение это находится близ большой дороги; Щекотихин, верно, уже съездил туда и приказал жителям задержать меня, где бы то ни было; как мне проникнуть к г. Байеру без того, чтобы меня не заметила его прислуга; она узнает

мою тайну и воспрепятствует благотворительности хозяина. Байер не такой человек, чтобы можно было его подкупить; только великодушный порыв сердца может расположить его в мою пользу. Мой первый план заслуживает предпочтения; пойду в Кокенгузен; Щекотихин напрасно сделал тревогу и напрасно опередил меня; люди, которых я встречу в Кокенгузене, будут смеяться над его беспокойством и помогут мне для того, чтобы отомстить ему. Если он дал им денег, то я дам вдвое. Впрочем, чтобы сообразить все могущие случиться события, очень хорошо иметь в своем распоряжении целый день.

После этого я вынул из кармана тот лист бумаги, который случайно взял с собою, разорвал его и карандашом, мокрыми руками, написал несколько писем, именно г-ну Байеру, барону Лёвенштерну, моей жене и еще несколько записочек, о которых теперь умолчу. В то время как я писал, вдруг нашла гроза. Мне было известно, что стоять под деревом во время грозы довольно неосторожно, но мне теперь и в голову не пришло оставить это мирное убежище; я даже скажу, что желал, чтобы молния нашла меня здесь; я всегда желал подобного рода кончины и считал ее самою лучшею; я считал бы благодеянием такую сладкую, тихую смерть, которая положила бы конец моим страданиям. Но вышло иначе; гроза разразилась сильным градом, перешедшим в проливной дождь; я весь промок до костей.

Дождь этот, очень неприятный сам по себе, оказал мне большую помощь; я томился жаждою, язык мой до того высох, что приставал к нёбу. Прекрасные капли воды висели на деревьях; я прикладывал к ним свои губы и лизал таким образом одну еловую ветвь за другою. Облизав все окружавшие меня ветви, я сделал несколько шагов далее, чтобы достать другие; я должен был употреблять при этом большую осторожность: случалось, что я кидался на ветку со слишком большою алчностью; капля падала на землю и я не мог ее словить; впрочем, я скоро приобрел ловкость в этом деле, — но незванный гость лишил меня этого простого напитка — появилось солнце и обсушило все деревья.

Я услыхал стук катившейся кареты по направлению, как мне показалось, большой дороги; я подумал, что Щекотихин едет в моей карете, чтобы удобнее искать меня; за исключением этого, ни малейший шорох, производимый человеческим существом, не достигал ушей моих до настоящей минуты; но около двенадцати часов послышался шум, сильно меня испугавший. Крестьянин верхом на лошади ездил по равнине по всем направлениям; он скакал по лугам, взбирался на холмы, спускался с них, осматривал и шарил по кустарнику. Не зная более куда ехать, он направился прямо к моему убежищу; к счастью, спасительная

чаща, давшая мне приют, скрыла меня совершенно; мужик проехал.

Я еще ранее удостоверился, что никакая дорога не пролегала по этому направлению; без сомнения это был один из посланных за мною в погоню.

Через полчаса вблизи проехала телега; но она не останавливалась; в этом случае, как и в первом, я совершенно растянулся по земле.

После полудня я заметил, что лес, находившийся позади меня, не простирается так далеко, как я первоначально это полагал; впереди меня и возле очень часто проезжали телеги. Три или четыре деревенские девушки с песнями и смехом прошли неподалеку; конечно, они не были из числа посланных меня схватить; я предположил, однако, что невдалеке от меня проходит какая-нибудь дорога.

Но около пяти часов вечера я испытал страх, значительно превосходивший все испытанное мною до того; я услыхал лай охотничьих собак и человеческий голос. Мне пришла на мысль история Иосифа Пигната, который убежал из тюрьмы инквизиции и был преследуем охотничьими собаками. Правда, я знал, что в Лифляндии не употребляют собак на охоту за людьми, но животное, которое собаки преследовали, могло бежать по направлению ко мне, а собаки, держась следа, добежали бы до места, где я скрывался. Всем известно, что, завидя человека, собаки лают совершенно иначе, нежели при виде зверя, поэтому лай их указал бы охотникам на мое присутствие в этом месте; необходимо было для моего спасения, чтобы собаки держались бы шагах в двухстах от меня. В ужасном беспокойстве я завернулся как можно плотнее в шинель, лег на землю и поручил свою участь вполне судьбе; однако собаки вскоре удалились, преследуя зверя по другому направлению.

Я не могу теперь сказать, была ли это настоящая охота за зверем или, быть может, преследовали собаками меня. Я имею полное основание предполагать, что я составлял цель этого преследования, так как было такое время года, в которое охота воспрещена. С другой стороны, впрочем, известно, что пастушьи собаки гоняют весною дичь и причиняют этим немалый вред настоящей охоте.

Помимо ужаса, наводимого на меня действительною опасностью, я часто делался жертвою обманчивых представлений моего воображения. Раз тридцать я принимал за человека старый ствол дерева, стоявший в заповедном лесу; с наступившими сумерками стало еще хуже. Мне показалось, что впереди меня стоит человек в зеленой фуражке и таком же камзоле и

прицеливается в меня; я различал его ружье, черты его лица, которые казались довольно привлекательными и даже преисполненными добродушия; все это представилось мне так живо, что я снял свою шинель и делал этому человеку знаки, чтобы вывести его из заблуждения, до тех пор, пока сам не разогнал свое собственное.

Если бы я оставался в этом лесу еще более продолжительное время, меня постигло бы расстройство ума, которое довело бы меня, быть может, до безумия. Голова моя горела, в ушах был шум, в глазах сверкали искры, руки и ноги были точно заморожены, все тело мое окоченело от холода, и пульс мой судорожно бился.

Я чувствовал, что болен, очень болен; но знаете ли, что меня поддерживало? мысль о моей жене, о моем ангеле. Сладкое имя ее, тихо произнесенное, оживляло последние мои силы и поддерживало упадавшую бодрость. Но этот талисман действовал только на душу, истощенное же тело мое требовало другого средства.

Это была суббота, вечер. На станции перед Митавой я выпил чашку кофе и съел кусок хлеба с маслом, на другой день я съел сухарь; в пятницу я проглотил три ложки супа и затем ничего более; за исключением капель воды с деревьев, я не ел ничего целый день с самого утра; я знал, что надо есть, чтобы не умереть с голоду в лесу или на дороге. Что за ничтожная вещь — деньги! Я имел с собою более семисот рублей и, несмотря на это, не мог достать себе куска хлеба. Прибавьте к этому, что я не смыкал глаз, потому что непродолжительное усыпление мое в карете, нисколько меня не подкрепившее, нельзя считать за хороший сон.

Когда еще более стемнело, вальдшнеп пролетел над моею головою; его резкий, сиплый голос вызвал в моей душе воспоминание об одном из самых приятных для меня времяпрепровождений. Я рассчитывал во время пребывания моего в Лифляндии доставить себе истинное удовольствие, отправляясь в прекрасные весенние вечера на тягу за этою перелетною птицею, как известно, очень редкою в Германии. Воспоминание об этой неосуществившейся надежде вызвало, с быстротою молнии, целый ряд других воспоминаний. Глубоко вздохнув, следил я за пролетом вальдшнепа; настал час, когда он вылетает из лесу, это навело меня на мысль, что и мне пора сделать то же самое.

Желая кратчайшим путем добраться до большой дороги, я пошел напрямик и пересек одну из лесных дорог, служащих для вывозки дров и бревен. Я вышел на нее в ту самую минуту, когда несколько мужиков в пустых телегах проезжали по дороге скорою рысью; не имея возможности отступить, я прибегнул к

обыкновенному моему средству, т. е. лег на землю и предоставил мою участь судьбе. Кустарник, где я лежал, был очень редок; но, к счастью, меня не заметили. Лишь только мужики проехали, я продолжал свой путь.

Скоро я заметил, что направление мною принятое вместо того, чтобы вывести меня из лесу, заводит меня вглубь все далее и далее и что тот шум, который я принимал за плеск волн Двины, не что иное, как шелест деревьев; шум этот слышался со всех сторон. Что же теперь делать? возвратиться к своему болоту? но мог ли я его достигнуть при наступившей темноте?

Голод, холод, усталость довели бы меня до последней крайности, и тело мое, оставленное на произвол волков, послужило бы им пищею. Я стал искать дорогу, по которой проехали телеги, и хотя это было довольно трудно, но чрез полчаса мне удалось отыскать ее.

Я шел очень скоро, но мне показалось, что дорога эта слишком уклоняется в сторону. Я убедился в этом, достигнув большой дороги; по верстовому столбу я увидел, что нахожусь всего в трех верстах от постоялого двора.

До Кокенгузена оставалось еще около пяти миль. Как пройти их в моем положении? Я спустился к Двине, зачерпнул шляпою воды и утолил сильно томившую меня жажду. Но я тотчас же почувствовал все вредные последствия этого поступка; жестокая резь схватила меня. Горло мое до того распухло и сделалось до того сухо, что я не в состоянии был глотать. Надеясь, что ходьба укротит мои боли, я направился далее, хотя по дороге попадались еще люди. Мне приходилось то вдруг скрываться за забор, чтобы избегнуть неприятной встречи, то делать большой обход, чтобы миновать кабак, наполненный людьми. Часто дворовая собака еще издалека начинала лаять; я должен был как можно скорее уклоняться от ее преследования, потому что если бы она не удовольствовалась лаем, а вздумала бы на меня бросаться, я не имел никакого оружия, чтобы ей сопротивляться, кроме небольших ножниц. Наконец я думал избегнуть всяких случайностей, пустившись вдоль берега Двины; но берег был завален плотами; на нем в разных местах разведены были костры и люди бродили по всем направлениям. Необходимо было изменить путь; я шел то вдоль Двины, пробираясь через кустарники, то по большой дороге. Таким образом я подошел к Штокманнсгофу в одиннадцать часов вечера.

Замок, в котором жил г. Байер, находился на холме; от него уступами шел сад до самой большой дороги и оканчивался забором и железными воротами.

В замке виднелись еще огни, но они скоро погасли: остался свет только в нижнем этаже. Подойдя к калитке, я нашел, что она не заперта. Тогда я припомнил свое первоначальное намерение.

Я не в состоянии был достигнуть Кокенгузена, потому что не в силах был идти далее; я шатался как пьяный, боли в желудке не давали мне покоя, горло мое сильно горело. Я вошел в сад, чтобы через него проникнуть в замок. Вдруг замечаю белую фигуру. Неужели женщина? подумал я; если бы я был настолько счастлив встретить ее! женщины вообще сострадательны; они оказывают помощь без разбора. Подойду к ней… Подхожу и вижу белую фигуру каменного Нептуна, стоящего среди бассейна.

Сомнения снова овладели мною. Все мои соображения, сделанные в лесу, пришли мне на ум. Я быстро выбежал из сада и продолжал свой путь. Дух еще одерживает верх над телом, но через полверсты потребности последнего превозмогают. Изнуренный голодом, усталостью, болью, я упал на песок в

совершенном отчаянии. Признаюсь, что в эту минуту мне в первый раз пришла в голову мысль о самоубийстве и если бы вместо маленьких ножниц в руках моих был кинжал, который я обыкновенно брал с собою в дорогу, я конечно покусился бы на свою жизнь. Но, к счастью, я оставил кинжал в Митаве; отправляясь в Петербург, я опасался взять его с собою. Оружие это, служившее мне обороною против собак, когда я шел пешком впереди кареты, могло бы показаться подозрительным. Поэтому из предосторожности я оставил кинжал мой жене и благословляю эту предосторожность, потому что умный человек, по словам Сенеки, не должен торопиться покидать эту жизнь, какие бы он не имел к тому причины: он должен удаляться, но не бежать.

От таких пустяков зависит иногда наша судьба. Если бы в утро моего бегства я захватил бы с собою лежавший на столе хлеб, он доставил бы мне необходимые силы, и я мог бы выполнить мое намерение. Теперь мне осталось только два исхода: или идти в Штокманнсгоф, или удалиться в лес и ждать там следующей ночи. Последнее было крайне неблагоразумно. Каким образом, проведя еще двадцать четыре часа без пищи, мог бы я иметь более сил нежели теперь? Я должен был воротиться к замку и, отдохнув немного, стал искать ворота.

В нижнем этаже по-прежнему светился огонь. Я прошел чрез сад, поднялся на две террасы и дошел таким образом до вторых ворот, которые выходили на небольшую дорожку, между садом и домом. Я отворил калитку и очутился в трех шагах от крыльца. Я взошел на крыльцо и чрез решетки окон, из которых проникал свет, увидел трех горничных, которые собирались ложиться спать. Я раз десять прикладывал пальцы к стеклу, чтобы постучать, и столько же раз отнимал их; но наконец нужда одержала верх — и я постучался.

Одна из горничных вышла со свечею, отворила дверь и спросила, что мне надо.

Сиплым голосом умолял я ее дать мне кусок хлеба. Она смотрела на меня с большим изумлением. Это была красивая девушка, с очень приятным лицом, выражавшим доброту; но мой вид, моя наружность, мое положение заставляли ее колебаться.

— Слишком поздно, — сказала она мне, — господа спят уже и все люди также.

— Сжальтесь надо мною, милейшая, — отвечал я ей, — я провел целый день в лесу, ничего не ел все время, ради Бога сжальтесь.

— Боже мой, в лесу, при такой погоде и зачем же это.

Она при этих словах осмотрела меня с ног до головы и хотела удалиться; я угадал ее намерение.

— Не бойтесь ничего, моя милая, я не вор и даже не нищий (при этом я показал ей мой кошелек и мою золотую цепочку от часов.) — У меня довольно денег, но участь моя достойна всякого сожаления; я вас умоляю, нельзя ли мне видеть г. Байера?

— Он спит уже.

— А г. Лёвенштерн здесь?

— Нет, он в Кокенгузене и вернется завтра.

— А его супруга и дети?

— Они тут наверху.

— А девица Платер?

— Также там.

Эта Платер была очень любезная молодая особа, друг дома, я встречал ее также в Саксонии.

— Нельзя ли ее разбудить?

— Не смею.

Так как я очень настоятельно просил ее об этом, то она дала мне совет идти к секретарю и ждать там утра; во время этого разговора я проник с нею вместе в ее комнату; ужасная нужда довела меня до этого.

— Я не выйду отсюда, — сказал я ей, — и останусь здесь на диване.

Это заявление очень смутило горничных.

Бог знает, что бы из всего этого вышло, если бы г. Байер и его супруга, которые спали в соседней комнате, не проснулись от этого разговора. Госпожа Байер позвонила свою горничную; я вручил ей письмо, написанное мною в лесу и просил передать госпоже; в ожидании ответа, я кинулся на диван.

Горничная вернулась и сказала мне, чтобы я подождал немного, что мне сейчас дадут есть и что сам Байер выйдет ко мне. Несколько минут оставался я совершенно один, — минут, несоизмеримых обыкновенною мерою времени.

Наконец явился сам Байер; это был пожилой человек; доброта сказывалась в его лице; он был, по-видимому, смущен; но я сам находился еще в большем смущении. Я говорил несвязно, произносил слова и фразы отдельно, без последовательности; письмо мое достаточно уяснило ему все дело. Он убеждал меня успокоиться, предлагал сперва поесть, а потом уже толковать о том, что делать далее. Вскоре явилась и сама г-жа Байер; я узнал в ней черты ее милой дочери и ободрился. В немногих словах рассказал я мои невероятные приключения; она была, видимо, тронута, но я заметил, что они сомневаются в том, чтобы я был совершенно невинен во всех отношениях. В самом деле, каким образом мыслящие существа, привыкшие к действию законов и их соблюдению, могли бы поверить возможности такого

распоряжения, без особых, чрезвычайно важных на то причин.

Мне принесли между тем всякого рода кушанья; я съел несколько кусков и обратился к главному предмету моего посещения; я просил помощи и покровительства. Я просил Байера скрыть меня где-нибудь в его имении. Я заметил, что при этой просьбе Байер боролся с самим собою, но что перевес клонится на мою сторону; надежда озаряла уже лицо его супруги, как вдруг пришел человек, о котором даже и в настоящее время я не могу вспомнить без особого невольного отвращения и омерзения.

— Позвольте вам представить, милостивый государь, одного из наших хороших друзей, господина Простениуса из Риги, — сказал Байер, обратившись ко мне.

При этих словах мы поклонились друг другу. Простениус уверял, что он меня видел прежде, но я не мог припомнить, чтобы где-либо встречался с ним. Вообразите себе человека очень бодрого вида, с самою любезною и приветливою наружностию, но обладавшего при этом самою вежливою холодностию; словом, одного из тех людей, которые говорят вам самые неучтивые, даже жестокие вещи так же спокойно, развязно, тем же тоном, как и самые приятные. Я узнал от него, что Щекотихин приезжал в замок, что он обедал тут, обнаруживал величайшее беспокойство, поднял на ноги весь околоток, послал в погоню за мною всех соседних крестьян; сделав эти распоряжения, уехал в Ригу, где, по всей вероятности, находится и теперь. Простениус утверждал, что план мой невыполним, не выслушав даже до конца, в чем он заключается; по его мнению нельзя было помочь мне без явной для себя опасности; это значило бы ставить себя в очень неприятное положение. — «Но через ваше бегство вы выиграли время, — сказал он, — вас теперь повезут в Ригу. Губернатор, который ничего о вас не знает, должен будет сделать надлежащее представление, и пока получится ответ, могут, весьма вероятно, последовать какие-либо перемены». Я ответил, что, судя по тому, как со мною уже поступили, трудно предполагать, чтобы могли последовать какие-либо изменения в мою пользу. Тогда г. Байер, которому Простениус не давал до сего времени вымолвить слова и как бы предначертывал ему образ действия в отношении меня, сказал мне в утешение:

— Вы можете отсюда написать государю.

— Неужели могу? — воскликнул я.

— Без сомнения; я передам письмо чрез моего двоюродного брата г. Ребиндера, который в настоящее время командует полком в Петербурге.

Я поблагодарил его за эту любезность; Простениус хотел что-то возразить, но замолчал.

— Но почему же вы страшитесь так путешествия в Тобольск? — вдруг спросил меня этот человек.

Я взглянул на него и улыбаясь сказал:

— Почему я боюсь?

— Да; туда посылают очень много порядочных людей, и вы найдете там хорошее общество.

— Общество для меня мое семейство, — отвечал я.

— Но как же вас везут?

— Я еду в сопровождении сенатского курьера и надворного советника.

— И без конвоя, без солдат.

— Да, без конвоя.

— Что же, нет ничего почетнее такой поездки.

Видя, однако, что подобные выражения мало меня утешают, он прибавил: «вы должны подчиниться судьбе; вы философ!»

— Я муж и отец семейства, — ответил я ему.

При этих словах Простениус усмехнулся; слезы навернулись на глазах г-жи Байер, а муж ее напомнил нам, что уже поздно.

— Идите отдохнуть, — сказал он мне, — и подкрепите силы ваши, чтобы ехать завтра в Ригу.

Не знаю почему, но поездка в Ригу нисколько не печалила меня, потому ли, что она приближала меня хотя несколько к моей жене и детям, — не знаю, так как, в сущности, было совершенно безразлично, передадут ли меня в Риге, или другом каком-либо месте, в руки Щекотихина.

— В общей комнате, — сказал Байер, — вы найдете постель; отдохните.

Под словом *общие комнаты* в Лифляндии, а также в Эстляндии, означают флигель, отдельный от главного дома, в котором обыкновенно живут гувернер, управляющий, секретарь и тому подобные лица, и в котором помещаются постели, предназначенные для приезжих.

Выходя из дома, я заметил пять или шесть мужиков, которые меня провожали до флигеля; я думал, что они делают это из любопытства, не подозревая вовсе, чтобы Простениус своим влиянием мог заставить такого благородного человека как Байер обратить в государственную тюрьму комнату, до сего времени предназначавшуюся для гостеприимства.

Войдя в комнату, я увидел, что в ней лежат несколько человек, из которых некоторые уже спали; я не обратил на них никакого внимания и поспешил последовать их примеру.

Я заметил, что снаружи начали запирать ставни: таков уже обычай; я принял это за простое внимание; но так как я не люблю спать с закрытыми окнами, то попросил, чтобы не запирали

ставень; однако на мою просьбу не обратили внимания; быть может полагали, что я хочу вторично убежать через окно.

Должен ли я рассказать все, что теперь думал. Уверяю честным моим словом, что не имел вовсе намерения и даже мысли бежать снова; признаюсь также по совести, что если бы я был на месте г. Байера и желал бы точно так же как он исполнить все обязанности верного подданного, то не стал бы до таких мелочей простирать все предосторожности. Предположив даже, что Щекотихин предъявил им приказание высших властей, обязывавшее каждого задержать меня, — в чем я сомневаюсь, потому что он имел подорожную, в которой мое имя не упоминалось, — достаточно было приставить к комнате двух часовых: одного к окошку, а другого к дверям. Если бы мне удалось подкупить этих часовых, или обмануть их бдительность, г. Байер не подвергался бы за это никакой ответственности; он сделал все, что должен был сделать, и нельзя было требовать, чтобы он имел наготове кандалы, цепи, запоры для поимки государственных преступников. Простениус! Простениус! — это, без сомнения, твое дело; ты хотел, чтобы в моей комнате царил такой же мрак, как и в твоей душе. Истощение сил моих дало мне возможность очень скоро заснуть; сон был тревожный, но я спал до пяти часов утра.

Проснувшись, первою моею мыслию было написать письмо императору; я оделся и сел за стол, на котором нашел все для меня необходимое. Очень скоро изложил я на бумаге все, что мое сердце, моя невинность, моя возмущенная душа подсказывали мне. Принесли завтрак; все спавшие в комнате встали и ушли, так что я даже и не приметил этого. Кончив письмо к императору, я написал другое, к его любимцу графу Палену, потом третье — графу Кобенцелю, австрийскому посланнику в Петербурге, и наконец последнее — моей возлюбленной жене. Я начал было писать пятое, генерал-прокурору, Но пришел Простениус и своим сладким голосом объявил мне, что теперь нельзя действовать так, как предполагали вечером, потому что Щекотихин только что приехал.

— Следовательно меня выдадут ему? — спросил я.

Он пожал плечами и прибавил: — Что же делать? даже письмо ваше на имя императора не может быть отправлено к генералу Ребиндеру; когда Байер хорошенько подумает, он сам увидит, что этого нельзя сделать.

— Однако вчера он сам предложил мне, и притом несколько раз, сделать это.

— Он навлечет на себя неприятности… это письмо должно быть передано губернатору в Риге.

— А другие письма?

— Письмо к вашей жене пройдет также через руки губернатора; остальные же письма я посоветовал бы вам и не отправлять.

Сказав эти слова, он взял письма мои на имя императора и к моей жене.

Что сделалось с этими письмами, мне решительно неизвестно. Я предполагаю, что их должны были доставить по назначению, но, сообразив, какая рабская боязнь господствует теперь в душе всякого человека, занимающего какую-либо должность, я не удивлюсь, если узнаю, что письма эти уничтожены. Быть может, это было большим для меня счастьем, быть может, господин Простениус оказал мне этим большую услугу. Письмо к государю было слишком запальчиво, резко; я много толковал о своих правах, о моей невинности и об охране, данной мне царским словом. Государь, прочтя мое письмо, не мог остаться доволен своим образом действия; это обрушилось бы на меня; он узнал бы о моем бегстве и счел бы его ослушанием приказаний, поступком, достойным наказания. В письме моем встречались следующие слова: «Курляндский губернатор именем Вашего Величества сообщил, что я еду в Петербург, между тем некто везет меня в Сибирь; я не знаю это лицо; мне не предъявлено никакого приказания Вашего Величества по этому поводу; кому же из двух лиц должен я верить: губернатору или этому незнакомцу?»

Но, как выше сказано, дело это было запутанное, темное; жалоба моя, без сомнения, не имела бы никаких последствий; она рассердила бы только государя; впоследствии я неоднократно раскаивался в том, что написал это письмо. То же самое могу сказать о немногих словах, предназначенных жене моей; я описывал ей мое положение в лесу, говорил о нашей разлуке, которую считал вечною; это неосторожное письмо могло бы причинить ей смерть, если бы она получила его, не будучи к нему подготовлена. Еще раз благодарю я этого сладкого человека; он, быть может, спас, вовсе того не желая, самое драгоценное для меня в мире.

Что же касается писем к графу Палену и графу Кобенцелю, то их не взяли у меня. Я находился как раз наедине с молодым человеком, который спал в моей комнате и черты лица которого обнаруживали сострадание и благосклонность.

— Если вы обладаете сердцем человеческим, — сказал я ему, — то доставьте эти письма по назначению.

Он колебался и, по-видимому, опасался взять их.

— Письма эти не запечатаны, — продолжал я; — прочтите их

невинное содержание и запечатайте сами.

Он обещал исполнить мою просьбу при первой к тому возможности. Мне неизвестно, сдержал ли он свое слово; имели ли эти письма, если они были доставлены, какое-нибудь влияние.

В комнату вошел молодой человек, лет восемнадцати или двадцати, которого я по наружности принял за молодого Лёвенштерна; он быстро убрал со стола чернила, перья, бумагу, сказав, что сейчас придет Щекотихин. Он учтиво спросил меня, не надо ли мне чего на дорогу. Я воспользовался его предложением и просил дать мне немного кремортартару. После этого я увидел своих милых спутников — курьера и Щекотихина; последний поклонился мне, не сделав ни малейшего упрека. Я просил его, как только умел, извинить мое недоверие, сказав, что мне казалось более правильным и естественным придать веру словам курляндского губернатора, нежели его собственным.

Он, по-видимому, удовольствовался этим объяснением и обрушил всю вину на неуместное человеколюбие губернатора. Я видел, как он отдавал сто рублей мужикам, сторожившим меня.

— Вы ошибаетесь, — сказал я ему, — полагая, что мужики эти поймали меня; я сам отдался в ваши руки.

Он не удостоил меня ответом и раздавал свои кредитные билеты, глубоко вздыхая. После этого он вышел, чтобы распорядиться нашим отъездом. Немедленно после него вошла в комнату та молодая девушка, которая накануне отворила мне ночью дверь; она боязливо подошла, сказала на ухо несколько слов одному из присутствовавших в комнате, и когда все вышли, быстро подбежала ко мне и вручила небольшой холщовый мешок с завязками, сказав:

— Тут сто рублей, моя госпожа посылает их вам, они вам понадобятся, так как я знаю, что у вас отберут все находящиеся при вас деньги; наденьте поскорее этот мешок на ваше тело.

После этого она ушла.

Я не понял хорошенько, что именно она хотела этим сказать, однако надел мешок под рубашку и едва успел это сделать, как вошел Щекотихин.

Благородное, небесное создание, которое тронулось моим несчастием! я до сего времени сохраняю этот мешок, этот драгоценный мешок; он неприкосновенен, это сладкое воспоминание о твоем человеколюбии; всякий раз, когда гляжу на него, слезы льются из глаз моих. Я вспоминаю с грустью, но вместе с тем с удовольствием, что в самую печальную минуту моей жизни сострадательная душа сочувствовала моим страданиям. Нет, только самая жестокая крайность понудит меня разорвать швы, сделанные благотворительною рукою с самым

сострадательным намерением. После этой минуты я терпел много лишений и должен был отказывать себе во многом, но я не мог решиться коснуться этого священного для меня сокровища, смотря на него как на нечто священное; благословение доброй матери сопровождает его, и я не отказываюсь от надежды возвратить некогда этот дар по принадлежности со слезами благодарности.

Настала минута отъезда; молодой Лёвенштерн принес мне кремортартар, халат на меху, суконную шинель, две шапки, пару сапог и много других вещей. Я поцеловал его и просил сообщить о моей участи моей жене. Он клятвенно обещал это исполнить. Слезы, которые он проливал, ручаются мне в том, что он исполнил свое обещание. Потом с тою живою чувствительностью, искренностью и доверчивостью, которые порождает молодость, он взял руку Щекотихина и просил его обходиться со мною хорошо и забыть мою попытку бежать. Щекотихин отвечал ему с тою же холодною вежливостию, которую выказал некогда моей жене. Горничная стояла у окна и плакала. Простениус выполнил свою задачу; он не показывался более, по крайней мере, я его не видел. Я не приметил также никого из хозяев замка. Я поместился в открытой телеге со своими вещами; все на меня смотрели, но весьма немногие сожалели. Щекотихин сел рядом со мною, а курьер поехал сзади; через час мы были опять на том же месте, где ночевали.

Таким образом окончилась эта несчастная попытка бежать, не заслуживающая, конечно, порицания, с какой бы стороны ни рассматривали этот поступок. Пока я предполагал, что меня везут в Петербург и будут допрашивать и судить, конечно, я должен был из уважения к самому себе согласиться, чтобы меня везли; исчезнув в это время, я дал бы основание или повод сомневаться в моей невинности. Современное положение дел давало государю право употребить всевозможные средства к тому, чтобы предотвратить смуты в его государстве, и я уважаю это право государей. Но какой закон божеский или человеческий мог повелевать мне оставаться пленником, коль скоро мне положительно сделалось известным, что не будет обращено никакого внимания ни на мои бумаги, ни на мою невинность, а что, напротив того, самое суровое обращение предшествует рассмотрению моего дела.

Толстая жена станционного смотрителя очень обрадовалась, увидев, что меня поймали; она сказала Щекотихину, что ждала с минуты на минуту солдат, за которыми было послано в ближайший полк и советовала ему на будущее время требовать часовых всякий раз, когда он будет останавливаться для ночлега.

Одна из ее лошадей, взятая в погоню за мною, почти околевала от усталости, за что она начала осыпать меня бранью. В другое время я бы обиделся, но теперь оставался совершенно равнодушным; я не замечал этого, подобно тому, как человек, подвергнутый сильной пытке, не чувствует, как его кусает муха. Я насмешливо улыбнулся, чем раздражил ее еще более; я полагаю, что, истощив все свои бранные слова, она стала бы колотить меня, если бы Щекотихин не воспрепятствовал ей в этом. Впрочем, крики ее привлекли много народа; скоро в комнате столпилось человек тридцать мужчин, которые слушали разинув рты и наполняли комнату смрадным запахом. Щекотихин прогнал их и просил жену станционного смотрителя оставить его наедине со мною. Я был совершенно изумлен этим, но нисколько не испугался: я чувствовал в себе решимость, внушаемую нам отчаянием.

Когда мы очутились одни, Щекотихин очень вежливо сказал мне:

— Надеюсь, вы не будете бранить меня за то, что я приму теперь некоторые меры строгости.

При этих словах мне пришли на ум цепи, и я, совершенно растерявшись, схватился за мои ножницы, чтобы вонзить их в грудь, но дальнейшими словами своими Щекотихин меня успокоил. Я имел при себе, как сказал выше, маленький черный ящичек, в котором находились мелкие вещи; он потребовал ключ от этого ящичка, чтобы положить туда все находившиеся при мне деньги, обещая, впрочем, выдавать их мне по мере надобности.

Я повиновался беспрекословно. Я уже привык выворачивать все свои карманы; ключи, деньги, ножницы, карандаш, куски бумаги, все, что имел я при себе, даже мои часы, отдал я ему без всяких возражений. Щекотихин удостоил сам сунуть руки свои в мои карманы, чтобы удостовериться, что я действительно отдал все, что имел; после этого он запер ящик.

Мы переменили экипаж, снова сели в мою карету и немедленно уехали. Я не стану описывать, в каком настроении духа находился я дорогою; достаточно сказать, что я не мог ни есть, ни пить, и если я в это время не лишился рассудка, то единственно благодаря тряскости кареты. Всякий раз, когда перепрягали лошадей, со мною делалось головокружение; я был доволен, когда мы трогались далее, и радовался твердой и неровной дороге или каменной мостовой. В течение первых четырех дней нашего путешествия я не вымолвил трех слов и отказывался от всего, что мне предлагали. Дикими, неподвижными глазами смотрел я на местность, по которой проезжали, и ничего не видел. Я не ощущал ни ветра, ни дождя, я

дошел до того, что не мог сам сесть в карету; необходимо было, чтобы мне помогали в этом. Если случайно мне попадалось зеркало, я пугался собственной наружности. Щекотихин, казалось, беспокоился о положении моего здоровья; это происходило у него, разумеется, не от сострадания, но от опасения, что он не доставит меня по назначению; это могло быть вменено ему в преступление. Он делал все, что мог, для моего успокоения; он и курьер изображали мне Тобольск прелестнейшим городом в мире, а пребывание в нем — очень веселым и приятным. Курьер захваливал этот город исключительно по причине дешевизны и доброкачественности съестных припасов.

— Какая там рыба, — говорил он мне, — какая рыба! прелесть, десять копеек лучшая стерлядь, за которую любители в Петербурге платят до десяти рублей; а что за осетрина! чудо; говядина, хлеб, водка — всего много и почти даром.

Щекотихин сообщал подробности более занимательные для меня.

— Как только мы приедем туда, — говорил он, — вы будете свободны, совершенно свободны; вам позволят ходить, ездить, делать все, что угодно; вы можете охотиться, осматривать окрестности, заводить знакомства; вам будет позволено написать императору, вашей жене, друзьям; вам позволят держать прислугу и выписать себе все, что угодно; словом, вы будете жить совершенно как вам угодно; в Тобольске есть очень хороший театр и бывают часто балы, маскарады.

При слове театр я невольно улыбнулся; я спросил его, может ли он ручаться, что переписку мою не станут перехватывать; он дал мне в этом честное слово; такое уверение с его стороны оживило во мне надежду. Но, думал я, останусь ли я в Тобольске? Государь, который посылает в Тобольск, может отправить меня и далее в Иркутск, находящийся в трех тысячах верстах от Тобольска. Стараясь отыскать действительные причины моего ареста, я припомнил, что лет десять тому назад, когда появилась моя пьеса «Граф Бениовский», императрица Екатерина II приказала губернатору Риги спросить меня секретно, не объявляя данного ею приказания, с каким намерением написал я эту пьесу. Я разумеется ответил, что история графа Бениовского показалась мне хорошим драматическим сюжетом и что уже ранее меня некто г. Вульпиус писал на эту же тему. Императрица удовольствовалась таким ответом и дело этим кончилось.

Император, подумал я, рассерженный содержанием этой драмы, вероятно, хочет подвергнуть меня тем самым страданиям, какие, по моему описанию, постигают изгнанника. Если это так,

то меня повезут в Камчатку, еще за шесть тысяч верст от Иркутска.

Щекотихин всячески божился и клялся, что он везет меня только в Тобольск.

— Но почему вы это знаете? — спросил я его, — приказание, вам данное, запечатано; почему же вы знаете, что оно в себе заключает?

Он дал мне понять, что сам писал это приказание.

— К тому же, — сказал он, — никогда не делят надвое такую поездку; если бы вас отправляли в Иркутск, я получил бы приказание прямо везти вас туда, как я это и делал со многими лицами; но мне дано приказание и подорожная везти вас только до Тобольска, вы можете быть совершенно покойны. Судите сами, — добавил он, — что не совместно с достоинством государя раздроблять таким образом приказания единственно для мучения арестованных, приберегая им новые страдания.

Читатель впоследствии увидит, насколько мог я полагаться на слова Щекотихина.

Но следующий рассказ его успокоил меня гораздо более, нежели надежда остаться в Тобольске.

— Около года тому назад, — говорил он, — я отвозил женщину и находился с нею уже около Казани, как вдруг меня нагнал курьер с приказанием немедленно вернуться назад; оказалось, что по пересмотре дела этой особы и наведении новых справок она была найдена совершенно невиновной.

Как только Щекотихин окончил свой рассказ, я тотчас же применил его к своему положению:

— Следовательно, могут найти, что я также не виноват?

— Без сомнения.

— Что же сказала эта женщина; что с нею сталось?

— Она была очень довольна и подарила мне свои золотые часы.

Этот рассказ поразил мое воображение и я не в состоянии передать, какое отрадное влияние имел он на мою душу. Я постоянно видел перед собою эту женщину; мне представлялось, как она, подняв руки к небу, благодарит Бога за свое счастье, плачет от радости, отдает с восторгом часы свои; я следил мысленно за экипажем, возвращавшим ее назад к ее семейству; я представлял себе ее в то время, когда она завидела уже свой дом, своих детей у окна; когда она, подъехав к дверям дома, выскочила из кареты и кинулась в объятия своих. Действительно, этот грубый человек нашел хорошее средство для утоления моей печали; рассказ его был целительным бальзамом для истерзанной души моей.

Со времени этого благотворного рассказа я ожидал всякую минуту, что вот прискачет курьер. Лишь только я слышал позади себя почтовый колокольчик, сердце мое начинало сильно биться. Рассмотрят мои бумаги, думал я, признают меня не виноватым, сейчас пошлют приказание вернуть меня, курьер поскачет и сделает меня счастливейшим человеком в мире; но я забывал или, по крайней мере, старался забыть, что бумаги мои ни при чем в этом деле. Я все воображал себе услужливого курьера, который гонит лошадей, чтобы меня нагнать; я рассчитывал, сколько дней должны были быть в дороге мои бумаги и сколько требовалось дней для их рассмотрения; я хотел замедлить свою собственную поездку, чтобы этим дать возможность курьеру скорее нас настигнуть.

Настал третий день, с тех пор как мы выехали из Штокманнсгофа; я попытался в первый раз съесть что-нибудь; мои спутники съели всю Булонскую колбасу и выпили всю Данцигскую водку; они равным образом съели весь хлеб, масло и холодное жаркое, которые г-жа Байер приказала положить в мою карету. Я желал выпить кофе и немного вина, но ни того, ни другого не оказалось, и я принужден был удовольствоваться свежими яйцами. Ночи были очень холодные, да и днем было не слишком тепло, вследствие резкого холодного ветра.

Я хотел закрыть ноги шинелью, которую мне дали, но курьер присвоил ее себе и, кроме того, надел мои сапоги; я не требовал возвращения моих вещей; спутники мои пользовались ими как своею собственностью, нисколько не беспокоясь тем, что вещи эти им не принадлежат. Если удавалось им хотя раз воспользоваться моею вещью, они присваивали ее себе уже навсегда.

Бесцеремонность их распространялась и на мои деньги; за всякую малость, которую мне покупали, или за ничтожнейшую починку кареты, я давал двадцатипятирублевую бумажку; ее разменивали, но редко приносили мне сдачи, а если и отдавали, то не в том количестве, как бы следовало. Наконец у Щекотихина не хватило денег; он без церемонии начал занимать их у меня. Однажды я отважился не согласиться на такой заем и обращение его со мною изменилось до того резко, что я вынужден был наконец согласиться на его просьбу. Все расходы на пищу падали на мой счет, и хотя я в продолжение всей дороги не ел ничего кроме хлеба, яиц, иногда немного жареной телятины, и пил только молоко, это путешествие обошлось мне более четырехсот рублей, не считая кареты. Я платил за все; спутники мои брали деньги, покупали себе водку и не давали ничего крестьянам за взятые у них припасы. Эти несчастные даже не смели жаловаться.

Я не могу не отдать должной похвалы гостеприимству русских крестьян, которое обнаруживается все сильнее по мере того, как углубляешься во внутрь страны. Они все спешат предложить вам пристанище, вы делаете им честь и одолжение, останавливаясь у них; они дают вам все, что имеют с величайшею радостью и чрезвычайно довольны, когда вы у них что-либо берете. Я не могу забыть крестьянку, которая при нашем приезде очутилась в большом затруднении; она все суетилась и твердила: «вот приехали хорошие гости, а я ничего не могу предложить им». Слово «гости» заставило меня улыбнуться.

Никогда крестьяне ничего от вас не требуют: они не хотят ничего брать за взятый у них хлеб, квас и тому подобные предметы; если же вы берете у них курицу, сливки, яйца, то от вас зависит назначить за это цену; они всем довольны, как мало им ни дайте. Не получая от солдат и курьеров ничего, кроме страшных ругательств, они воздерживаются заявлять свое неудовольствие. Я уверен, однако, что путешественник может отыскать многое у русского крестьянина, если станет обращаться с ним честным образом. Когда нам хотелось иметь что-либо, несколько выходящее из ряда обыкновенных предметов потребления, я один отправлялся на поиски и, обещая дать хорошую цену, получал в изобилии все, что желал; но способ, к которому в этом случае прибегают солдаты и курьеры, поистине возмутителен. — «Где десятский?» (это нечто вроде старшины в Германии). Он почтительно является. — «Достать нам то и то». Он извиняется, что этого достать не может. Тогда начинают его всячески ругать и угрожают поколотить; он уходит и, если найдет требуемое, то приносит; но так как он знает, что ему ничего не заплатят, то всегда выбирает и приносит самое худшее. Без этого, сильно вкоренившегося, злоупотребления путешествие по России было бы очень приятно, так как всегда встречаются добрые и гостеприимные крестьяне, которых очень легко расположить в свою пользу; какая-нибудь безделица, совсем пустая вещь, кусок сахара, данный детям, доставляют вам сейчас приятелей. Я поступал таким образом в продолжение всего путешествия и расположил в свою пользу всех матерей; я давал подарки по преимуществу маленьким девочкам, такого же возраста как и мои. Часто, очень часто на глазах моих навертывались слезы. — «Вы конечно имеете детей», — спрашивали меня крестьянки. — «Шесть человек, — отвечал я вздыхая, — самому младшему из них едва минул год». Тогда я замечал, что лица их выражали сострадание ко мне, и я садился в карету, напутствуемый их благословением.

Но прекратим это отступление от предмета рассказа и

вернемся к тому, что меня касается. Вторую ночь, когда мы остановились на ночлег, приняты были большие предосторожности для пресечения мне возможности бежать; заперли ставни, поставили часовых, а постель мою устроили рядом с постелью Щекотихина, причем с другой ее стороны лег на полу курьер, так что если бы я хотел уйти, то должен был наступить на него.

Борода моя очень отросла; я хотел сам выбриться, но мне отказали в этом; надобно было позвать цирюльника. Напрасно объяснял я, что уже с давних пор бреюсь всегда сам и что если бы имел намерение покуситься на свою жизнь, то мог бы кинуться в любую реку; все это было тщетно, но Щекотихин принял к сведению сказанное мною относительно реки и всякий раз, когда мы переезжали реку, он садился против меня с тем, чтобы наблюдать за малейшим моим движением.

Глупый и жалкий человек! могущество твоего государя не может так далеко простираться; одна дорога ведет нас к жизни, но есть тысячи к тому, чтобы избавиться от нее, и никто в мире не в состоянии воспрепятствовать мне разорвать мои оковы, когда я захочу. Мне помнится, что я читал у Рейналя, что негры нередко лишают себя жизни, переворачивая язык к глотке. Благодаря Бога, я не сделаю никогда ничего подобного, во мне живет еще луч надежды; он значительно угас, но может просиять и возрастить плоды, которые заставят меня желать жить.

Мы приехали наконец в Полоцк; это единственный значительный город, попавшийся нам после Риги. Мы только переменили там лошадей; но пока их запрягали, Щекотихин счел своею обязанностью написать рапорт о своем следовании. Он делал это в каждом городе, что побудило меня сохранять хорошие с ним отношения и поступать с ним насколько можно осторожно. Я был уверен, что он умолчит о моем неудавшемся бегстве из опасения лишиться на будущее время требовавших особенной доверенности поручений сопровождать других арестованных лиц, лишиться приятного зрелища их разлуки с семейством и лестного для него звука их жалоб. Но очень могло быть, что в рапортах своих он упомянет о некоторых мелочных подробностях для меня неблагоприятных; быть может, он это и сделал, несмотря на всю мою относительно его угодливость; кто знает? Я заметил, что он не великий мастер владеть пером; он долгое время сидел над тремя строчками, и мне было очень смешно смотреть, как он три раза начинал писать конверт. Щекотихин был годен только к тому занятию, которое имел, а именно: к сопровождению осужденных на место их наказания; он исполнял эту обязанность с большою ловкостью и

сметливостью, — два драгоценные качества, приобретенные им долговременным отправлением этой обязанности. Конечно, он не всегда сопровождал таких почетных лиц; он был только простым офицером, прикомандированным к сенату, но его переименовали в гражданский чин надворного советника ввиду важности возлагаемого на него поручения сопутствовать мне. Не знаю почему и на каком основании сочли нужным дать мне в спутники лицо в таком чине. Желали ли этим избежать присутствия солдат и стражи, или по другим каким-либо причинам, не знаю; но не подлежит сомнению, что Щекотихин первый раз исполнял свою должность в чине надворного советника и очень гордился этим.

Чин этот оказывал значительное влияние и на то уважение, с которым дорогою относились ко мне. Я казался всем *особою* важною, интересною, которую сопровождал надворный советник, тогда как важные лица и даже генералы ездили в сопровождении фельдъегеря и в простой кибитке; это лестное различие имело большое значение.

Дорогою от Полоцка к Смоленску у меня опять сделались боли в желудке; к этому присоединилось еще невольное трясение, дрожание, судороги во всех членах, сильный жар в голове и груди; все это заставляло опасаться скорого удушья. Жар начинался болью в голове, шумом в ушах и появлением искр в глазах. Пульс мой постоянно менялся, я не имел ни аппетита, ни сна, бредил наяву, имел странные фантастические видения; мысли мои путались, были неясны и смутны — я находился почти без чувств; мысль о моей жене и детях моих не имела для меня отрады; мысль же о смерти не представлялась более горестною.

Я не имел с собою никаких лекарств за исключением кремортартара, взятого из Штокманнсгофа. Самые лучшие рецепты, давно мною собранные от известных докторов Германии, были опечатаны вместе с прочими моими бумагами. Несмотря на мои просьбы, я не мог получить эти рецепты обратно; быть может, их приняли за тайную переписку или шифрованные письма. Я был лишен всякой помощи и испытал некоторое удовольствие приехать в Смоленск, где надеялся найти облегчение. Сохранением моей жизни обязан я новым лучом надежды, вновь во мне появившимся.

Мы приехали очень поздно. Щекотихин, опасавшийся постоялых дворов, приказал ехать на почтовую станцию, но нас не могли поместить в ней и так как я решительно отказался ехать далее, то он принужден был попытаться ночевать на постоялом дворе. Двор этот казался очень хорошим; содержатель его встретил нас со свечами и по широкой лестнице привел в большую переднюю. Я полагал, что мы нашли себе очень удобное

помещение, но Боже, какое разочарование овладело нами при виде самих комнат. Пол весь дрожал и качался, окна без стекол, комната низкая без мебели, не было ни стула, ни скамейки, ни зеркала; стоял один стол и станок деревянной кровати; ничего более; на стенах висели клочки самых старых обоев.

Я посмотрел вокруг себя, но не счел нужным заявить какое-либо неудовольствие. Я просил принести сена на пустую кровать и немедленно лег, как только его притащили. Холод проникал из окон. Кроме халата и шинели, данных мне в Штокманнсгофе, я не имел ничего, чтобы покрыться; холод и насекомые отнимали сон.

Утром со мною сделалась сильная лихорадка; глаза готовы были выскочить из орбит. Я с нетерпением ждал, когда Щекотихин проснется, чтобы попросить позвать ко мне доктора; но этот жестокий человек отказал мне в этом. Он полагал, что отдых лучше всего поможет мне и что для этого достаточно пробыть в Смоленске один день.

Курьер, знавший только одно средство против всех телесных и душевных болезней, дал мне очень умный совет: хорошо есть и много пить.

Такое жестокое обхождение возбудило во мне негодование; в наказание я не говорил решительно ни одного слова с моим палачом и не согласился оставаться в Смоленске. Я сказал, что если уже умирать, то лучше в открытом поле. Я покинул свою жалкую кровать.

Так как дорогою я выразил желание выпить стакан ренвейна, то Щекотихин купил мне бутылку, она стоила два рубля, но вино было до того отвратительно, что пришлось его вылить, потому что мои спутники не любили вина и пили только одну водку.

Между Смоленском и Москвою мне стало еще хуже; общее онемение делало меня не чувствительным ко всему, я не видел ничего вокруг себя. Чтобы составить себе понятие о моем положении, необходимо представить человека, проснувшегося среди мрака, который, не имея ни малейшего понятия о месте где находится, желает идти ощупью, а между тем лишен всякого свободного движения.

По временам представлялась моему воображению жена моя, мимолетно, как приятный луч, достигавший глаз моих, которые одни и участвовали в этом.

Щекотихин, заметив, что болезнь моя становится опасною, стал выказывать некоторую заботливость; он обещал мне по приезде в Москву достать мне доктора. Я мало обращал внимания на это обещание и если бы в припадке горячки воображение мое не представляло бы глазам моим жену и детей, я бы кинулся в объятия смерти с тем же порывом, с каким кидаешься в объятия

друга, ожидаемого с нетерпением.

Мы приехали в Москву седьмого мая старого стиля; Щекотихин по разным закоулкам, самым грязным и смрадным, привез меня к дому майора Максимова (Maximoff), своего товарища и хорошего приятеля. Этот несчастный майор жил в лачуге, состоявшей из двух маленьких комнат, в которых помещался также служивший вместе с ним прапорщик; три посетителя, очутившиеся здесь случайно, делали это помещение очень тесным и неудобным. Впрочем, майор был очень приветлив и радушен; он старался всячески облегчить мое положение; дал мне бульону, кофе и принудил лечь на его постель, которая хотя была жестка, но оказала мне большую пользу.

Щекотихин, полагая, что я сплю, сообщил своему товарищу о счастливой перемене своей судьбы. Я с удовольствием слушал, как приятель его выражал ему свое сожаление о том, что он исполняет подобного рода поручения. Но Щекотихин только улыбался, вытягивая свои морщины, и нисколько не обращал на это внимания; наконец он встал и ушел, обещая достать мне доктора; я тщетно ожидал его; когда по возвращении моего палача я просил его исполнить обещание, он ответил, пожимая плечами, что это не согласно с данными ему приказаниями.

— Разве вам приказано уморить меня?

— О нет, вы не умрете.

При этих словах я замолчал. Боже мой, подумал я, перед смертью я желал бы написать духовное завещание и проститься хотя бы письменно с моею женою. Эти две мысли только и занимали меня; но в этом мне также было отказано. Для духовного завещания требовался нотариус, как добыть его после того, как мне не позволили позвать даже доктора? Я хотел отстранить это затруднение, попросив, чтобы ко мне пригласили священника. Поверите ли, что мне отказали и в этом. Я тщетно объяснял, что независимо от спасения моей души должно принять во внимание, что я, как отец семейства, обязан привести в порядок мои дела, что никто не лишается права делать завещание, что государь, очевидно, не имеет в виду подвергать наказанию мою жену и моих детей; все эти доводы были тщетны. Щекотихин оставался непоколебимым.

— Но ради Бога, — сказал я ему, — позвольте мне написать несколько слов моей жене; вы прочтете их, вы обещали ей и повторяли мне самому обещание, что позволите мне ей писать.

Он немного подумал и согласился.

Я написал жене моей не более пяти строк; я не описывал ей моей несчастной доли, но советовал ей вооружиться твердостию и беречь здоровье, столь необходимое для детей, лишенных отца.

Я перевел письмо мое Щекотихину, сам запечатал и отдал ему; он попросил майора снести его на почту. Окончив это дело, я успокоился, но чрез несколько времени курьер пришел и сообщил мне, что письмо мое сожгли. Я содрогнулся при этих словах; я не уважал Щекотихина, но возмущенный таким коварством я его возненавидел; я стал его презирать и почувствовал к нему отвращение.

Несмотря, однако, на всю его бдительность и строгий за мною надзор, мне удалось написать второе письмо. Я не могу сообщить здесь, как удалось мне это сделать; я, быть может, причиню вред сострадательной душе, давшей мне средство к этому; да вознаградит ее за это Бог. Не могу, однако, не сообщить, что и это письмо не дошло до моей жены. Курьер Александр Шульгин, поклявшийся мне всеми святыми доставить это письмо, не исполнил своего обещания.

На другой день вечером мы выехали из Москвы; вечер был прекрасный; проезжая чрез город, мы миновали березовую аллею, которая походила очень на липовую аллею в Берлине; много народа прогуливалось здесь; виднелись прекрасные экипажи, нарядно одетые и очень красивые дамы, расфранченные и статные мужчины; никто, однако, не обратил внимания на бедного писателя, который, быть может, в тот же вечер будет доставлять им развлечение одною из своих пьес. Как часто в свете счастливые и несчастливые сталкиваются друг с другом, но как редко, однако, чтобы один из них постарался распознать другого; всякий, занятый исключительно сам собою, встречает то розы, то шипы ее.

Вид этого гулянья не возбудил во мне приятного ощущения, но доставил маленькое развлечение от моих страданий. Не знаю, чему должен я приписать мое выздоровление? действию ли весны, моей полной покорности Провидению, или совершенному отсутствию всякой надежды (потому что потеря надежды доставляет спокойствие). Силы мои значительно окрепли, как только мы выехали из Москвы; я сам ободрился и старался утешить себя примерами тех несчастных, положение которых напоминало мое. Я вспомнил о Напер-Танди, о сосланных в Кайэнну; но первый принимал деятельное участие в смутах своей страны, другие же, хотя, быть может, и более меня несчастные, участвовали в управлении потрясенного государства; они были, без сомнения, невинны, но их подвергали наказанию за высказанные ими мнения; но какие же мнения высказал я? Наконец, если их страдания превосходили те, которым я подвергался, по крайней мере, моя невинность была более очевидна.

В самом деле, нет ничего мучительнее положения, в котором находится человек, который всякий раз, когда заглянет в себя, встречается с мыслью о своем несчастий. Он похож на Лаокоона, обвиваемого и давимого со всех сторон змеями.

Таким представлялся я себе, сидя в глубине кареты; я был один; возле меня не было никого, кто бы мог дать мне совет или утешить меня, или слушать мои жалобы; я не имел никакого развлечения, кроме сиплого пения курьера Шульгина и грубых пошлостей ненавистного мне Щекотихина: остроты его были одни и те же и всегда очень грубы. Если курьер засыпал, он начинал водить около его носа завязкою от трости до тех пор, пока тот просыпался; потом он начинал набалдашником тереть ему между плечами; подъезжая к горе, он кричал *молоденькая горка,* а к небольшому холму — *вот старуха.*

Оценить все отвращение, которое я должен был питать к подобным скотам, может только человек, посещавший, подобно мне, хорошее общество. Щекотихин часто твердил мне, что имеет в своем владении пятьсот душ крестьян; не знаю, правду ли он говорил, но судя по тому, что я видел, могу сказать, что он сам не имел души. Единственное хорошее качество, которое можно было в нем найти, — была неустрашимость в опасностях; он отыскивал даже те, которые можно было избегнуть; он никогда не тормозил при спуске с горы. Однажды лошади понесли нас по крутой горе, у подошвы которой протекал большой ручей; через него был перекинут мост, но по направлению, принятому лошадьми, видно было, что они на него не попадут; мы были совсем близко от края берега, когда Щекотихин не задумываясь выскочил из кареты, оступился и упал; но тем не менее поддержал экипаж, который готов был опрокинуться; ямщик круто свернул лошадей, и этим чрезвычайно отважным поступком мы избегли неминуемой опасности.

Щекотихин часто представлял нам доказательство подобной отваги, особенно при переездах чрез реки, опасные в России и особенно весною; снег так быстро тает весною, что вода сильно прибывает и превращает ручьи в большие реки. Кроме того, средства для переезда через реки очень неудовлетворительны; на две лодки, соединенные между собою ветвями и покрытые досками, помещают телеги, кареты, лошадей, людей; два гребца приводят в движение этот плавучий мост, а сзади третий дает направление; таким образом переправляются с Божьей помощью в самых опасных местах. Во время переезда вода проникает в лодки и наполняет их по мере приближения к берегу; часто вместо лодок имеется только плот из бревен, связанных между собою прутьями; при этом всегда замочишься. Такие паромы всегда

тащат веревкою, но достигнув значительно быстрого течения, предоставляют их на произвол течения, давая направление по диагонали.

Мы должны были однажды переправляться чрез реку Суру около небольшого городка Васильска. Когда мы к ней подъехали, был сильный бурный ветер и эта маленькая река, совершенно ничтожная летом, до того выступила из берегов и разлилась, что затопила прилегающую местность на милю и покрывала высокие деревья. Мы долгое время ждали, прежде нежели решились переправиться; паром был на том берегу и потребовалось более двух часов, чтобы переправить его на нашу сторону; наконец мы заметили, что он начинает приближаться к нам. По тому, как он тихо приближался, несмотря на то что был пустой и имел пять лишних гребцов, можно было заключить, что если его нагрузят, то он употребит на переправу еще гораздо большее время. Все гребцы утверждали, что мы подвергнемся большой опасности и что лучше обождать пока ветер стихнет. Щекотихин не хотел слушать этого совета и требовал, чтобы нас немедленно переправили; я также желал этого; я пренебрегал судьбою и вызывал ее сделать меня еще более достойным сожаления. Гребцы решительно отказывались нас переправить, но когда мы предъявили им наши бумаги, они перекрестились и с Божьей помощью поехали.

Сначала все шло как нельзя лучше. Длинная коса защищала нас от бури и свирепых волн, но доехав до середины реки, мы подверглись ужасной качке. Ветер дул со страшной силой и до того быстро гнал нас, что несмотря на все усилия гребцов нам грозила очевидная гибель. Паром направлялся прямо на кустарник, по-видимому, значительный. Приблизившись к нему, гребцы увидели ошибку, очень испугались и, стараясь всеми силами избегнуть кустарника, подняли страшный крик, для меня непонятный, так как по моему мнению, мы могли только сесть на мель и нас спасли бы, потому что мы находились очень близко от города. Но опасения гребцов были основательны; и я убедился в том, когда, подъехав ближе, заметил, что казавшееся нам издали кустарником было ничто иное как верхушки деревьев, столь высоких, что шесты наши не доставали в этом месте дна. Таким образом мы запутались между ветвями и подвергались явной опасности, ибо паром мог быть разорван, или опрокинут. Прутья, связывавшие паром, не могли противостоять продолжительному и сильному напору волн; обе лодки разъехались бы и тогда наша карета и лошади погибли бы. Но не в этом заключалась наибольшая опасность; одна из лодок была приподнята вершиною дерева, а другая, принужденная нагнуться, заливалась водою и

скоро бы затонула; наклон был уже так велик, что лошади едва держались на ногах; они съезжали вниз и пугались; мы сами, чтобы не упасть в воду, должны были держаться за колеса кареты. Такое положение не могло долго продолжаться. Щекотихин заметил, что может настать конец его отваге; он был бледен и озабочен, но взял багор в руки и вместе с курьером упер его в одну из ветвей дерева. Все гребцы последовали его примеру, оставив руль и весла в покое, что же касается меня, я завернулся в шинель, прислонился к карете, безропотно покорился всему и ожидал смерти с величайшим спокойствием. Благодаря распорядительности Щекотихина удалось спасти паром и даже немного отъехать далее, но так как все были ужасно утомлены, то нельзя было осилить течение воды и паром снова приносило к тому же самому месту. К счастью нашему, простая лодка отвалила от берега и пришла к нам на помощь; четыре ее гребца присоединились к нашим и общими усилиями одолели силу течения; мы были спасены.

Если бы я был в ударе шутить, то сказал бы, как Тамино в «Волшебной флейте», что на пути в Сибирь я прошел огонь и воду, прежде нежели проник ее мрачные тайны. Однажды ночью мы заметили большой лес, сильно объятый пламенем. Зрелище это издали казалось величественным, но когда я увидел, что мы должны проезжать сквозь этот огонь, то эта новая опасность навела на меня немалый страх. Пылающие ели, упавшие одна на другую, составляли как бы огненный свод чрез дорогу; многие деревья, объятые пламенем, угрожали падением. Деревья, выжженные снизу футов на восемь от земли, поддерживали только корою свою вершину и сучья, еще не объятые огнем. Наконец большая ель, горевшая с основания до вершины, лежала посередине дороги; мы не знали что делать, ехать ли назад или вперед; то и другое было очень опасно. Мы начали бить лошадей и заставили их перескочить по менее возвышенной части горевшего дерева. Этот переезд через огонь продолжался на расстоянии, по крайней мере, тысячи шагов.

Путешествуя по России, очень часто встречаешь подобные лесные пожары; я видел их очень много, но не в такой близи. Русские, по-видимому, очень довольны, когда случаются подобные события; столько местных дач покрывают их страну, что когда огонь является немного сократить их лесное пространство, то они не принимают никаких мер к предупреждению пожара.

Мы миновали Владимир и Нижний Новгород. Я не стану описывать этих городов; состояние, в котором я находился, не позволило мне сделать какие-либо заметки. К тому же другие

путешественники уже описывали эти города и не стоит повторять сказанное ими.

Однажды утром мы собирались выезжать из деревни, в которой ночевали, как вдруг послышался почтовый колокольчик по Московской дороге. Этот приятный звук, с самой Москвы утешавший мой слух, вызвал в душе моей внезапное ощущение и заставил сердце мое биться гораздо сильнее.

— Курьер едет, — закричал мужик, — курьер!

Я выскочил мигом на улицу; действительно это был курьер, но он не привез приказа о моем возвращении. Несчастный старик в колпаке, в халате, с кандалами на ногах, ехал с этим курьером в кибитке. Это был подполковник из Рязани, человек достаточный, так же как и я отец семейства и муж, подобно мне исторгнутый от своего семейства; его ночью разбудили и схватили в постели. Ссора с губернатором была причиною его ссылки. Мы должны были делать одно и то же путешествие. Ноги его опухли от кандалов; он был почти без белья, без одежды, в самом жалком положении.

Его сопровождал полицейский чиновник из Рязани. Этот человек, грек по происхождению, казался очень честным и добрым; он очень хорошо говорил по-итальянски. Он делал все от него зависевшее для облегчения бедственного положения его достойного уважения колодника; он дошел до того, что снял с него кандалы, которые Щекотихин охотно бы на меня надел. Его веселость очень нравилась моему ненавистному спутнику; он позволил мне даже разговаривать с ним, а между тем наши разговоры могли ему не понравиться; мы вели их на итальянском языке, о котором он не имел ни малейшего понятия. Эта встреча доставила мне большое удовольствие; полицейский был очень образованный человек, и после трех недель самого полного уединения мне было очень приятно встретить человеческое существо, с которым можно было разговаривать.

С этого времени мы часто ехали вместе; по временам, правда, мы расставались, но ненадолго, и снова съезжались. Подполковник был, по-видимому, тихий и скромный человек, переносивший с большим мужеством свое несчастие. Сравнивая наши положения, я находил, что мое было более утешительно; он был счастливее меня относительно спутника, сопровождавшего его; но зато он был лишен всего, так как не успел захватить с собою ни денег, ни платья; мое положение в этом отношении было гораздо сноснее.

Этот несчастный человек, находившийся перед моими глазами, служил мне зрелищем, смягчавшим мое страдание. Он придавал мне мужество; я подражал его твердости. Я имел с

собою чай, и мы часто пили его вместе; он улыбкой благодарил меня; мы охотно рассказали бы друг другу наши страдания, но в этом утешении нам было отказано.

Я не могу умолчать об одном явлении природы, встретившемся мне дорогою: это был стотридцатилетний старик; сын его восьмидесяти лет казался не старее пятидесяти. Он имел многочисленное потомство. Когда мы приехали, он лежал на скамье, на твердом тюфяке. За исключением зрения, которое было уже очень слабо, все его органы чувств очень хорошо сохранились. Он сам ходил даже в лес и драл бересту, чтобы плести лапти. Что меня всего более в нем поразило — это то, что руки его не были такие костлявые и морщинистые, как обыкновенно бывают у всех стариков. Приметив нас, он встал, оделся и предложил мне свою постель. Я был поражен таким вниманием. Меня очень тронуло, что человек старее меня на целое столетие, уступает мне свою постель и хочет ложиться сам на пол. Я не переставал наблюдать за ним и с сожалением покинул его.

Я хотел было предложить ему несколько вопросов об его образе жизни, способствовавшем, конечно, немало достижению таких преклонных лет, но говорил слишком плохо по-русски, а мои спутники были заняты. Я мог узнать от него только то, что он поздно женился и пил мало крепких напитков.

На почтовой станции перед Казанью я встретил генерала Мертенса, которого знал еще прежде. Этот генерал, немец по происхождению, был назначен вице-губернатором в Пермь. Мы подъехали вместе к Волге, и так как все окрестности на необозримое пространство были затоплены водою, то мы очень долгое время переправлялись на лодке вместе. Встреча с ним доставила мне удовольствие; я уже более трех недель не говорил по-немецки. Мы вспоминали о прошедших днях; он с участием слушал мои жалобы; Щекотихин, некогда служивший под его начальством, из уважения к нему не смел прерывать нашей беседы. Я узнал от него о многих событиях, которые были малоутешительны. Он был также очень недоволен своею судьбою.

Будучи уже старым генералом, он был, помимо желания, назначен на гражданскую должность и отправлен в Пермь, за две тысячи верст от Петербурга, где оставил все свое семейство. Назначение вице-губернатором в этот город было для него не повышением, а скорее немилостию, опалою. Я расскажу его историю в немногих словах. Судьба, бывшая для него, по-видимому, мачехой, вдруг бросила на него благосклонный взор, потому что вскоре по приезде в Пермь Мертенс получил указ о назначении его губернатором в Тверь, город, находящийся

недалеко от Москвы и занимающий видное место среди русских губернских городов.

Ах! Зачем государю не угодно было также вспомнить обо мне! Если бы меня вернули с дороги в Сибирь, я с удовольствием совершенно изгладил бы из моей памяти все то, что рассказываю в этих воспоминаниях.

Мы приехали в Казань вечером, избегая по нашему обыкновению постоялых дворов. Было уже поздно; я мало видел этот замечательный город. Щекотихин имел здесь также приятелей, как и во всяком другом месте, приятелей полезных, у которых он мог пожить на всем готовом. На этот раз мы остановились в татарском предместье, в трех верстах от города, у какого-то поручика Естифея Тимофеича (Justifey Timofeitch), человека лет пятидесяти, отменного добряка. Он был женат, но не имел детей, очень дорожил и гордился дружбою с Щекотихиным и по временам просил его не оставить своим покровительством.

Можно было заметить, что он человек небогатый, но несмотря на это он и жена его угощали нас с таким радушием и предлагали нам все, что только имели, с такою ласкою, что я всегда буду помнить этих прекрасных людей. Если бы я обладал даже десятью желудками, они все были бы довольны и сыты здесь. Аппетит мой, впрочем, был также не мал; этим я был обязан в особенности почтовым станциям в Казанской губернии. Черемисы и вотяки, которые их содержат, народ грязный и грубый, не знающий гостеприимства; у них ничего нельзя найти; в избе их нельзя даже сесть; это какие-то свиные хлевы. Но несмотря на весь мой аппетит, если бы я был Санхо-Панхо[1], я никогда не мог бы съесть все то, что предлагали мне Естифей Тимофеич и его жена. Сперва кофе и хлеб с маслом, потом пироги с говядиною, водка, два блюда рыбы, окорок, сосиски и все, что только можно себе представить; потом являлся обед из четырех больших блюд; в три часа кофе с сухарями, а в пять часов — чай с разными печеньями, а в довершение всего обильный ужин. Какому обжорству предавались тут обе сопровождавшие меня свиньи! Без сомнения, у них желудки с запасными мешками на случай голодного времени. Мало того, что меня прекрасно накормили, меня уложили спать в хорошую постель, в которой я в первый раз во всю дорогу хорошо выспался; я мог бы сказать, что пребывание мое здесь очень освежило меня, если бы множество тараканов не отравляли мне приятность пребывания в этом месте. Нельзя себе вообразить громадного количества этих насекомых, которыми была наполнена вся комната; я никогда не встречал такого множества даже в самой убогой хижине; они тысячами бегали по потолку и по стенам; если приближали только свечку,

то эти тысячи превращались в миллионы; маленький кусок хлеба, оставленный на столе, покрывался ими немедленно; если собирались обедать, то ставили стол подалее от стен; впрочем, они не очень беспокоили меня в постели; я спал, не задергивая занавесок, и ни один из них меня не тронул.

Мы прожили в Казани, или точнее сказать в татарском ее предместье, два дня. Опять карандашом и по-прежнему украдкою написал я записку моей жене; не знаю, получила ли она ее. Потом я поспешил набросать на бумагу материалы для докладной записки, которую намеревался послать государю; для этого требовалась величайшая с моей стороны осторожность, так как мне было положительно воспрещено что-либо писать. Я мог писать только карандашом, купленным мною в Москве под предлогом желания записывать станции; я имел с собою два словаря, чтобы освоиться с русским языком; на полях страниц этих словарей делал я заметки для моей докладной записки. Для этого занятия я пользовался всяким мгновением, когда оставался один; эти мгновения обыкновенно были очень коротки, но необходимость сделать починки в моей карете заставила Щекотихина два раза ходить к кузнецу, что предоставило в полное мое распоряжение несколько часов. Словари дали мне возможность записать многое, чего никто не подозревал, и в настоящую минуту я продолжаю писать в постели за ширмами, сквозь которые проникает, однако, свет. Я могу писать, не будучи отрываем от этого; меня не тревожат, полагая, что покой мне очень полезен. Я считал это занятие необходимым, во-первых, потому, что не полагался на уверения Щекотихина, что мне будет позволено писать из Тобольска, а во-вторых, потому, что имел случай переслать черновой проект прошения моей жене; она переписала бы его и послала по назначению.

Остальное время, проведенное нами в Казани, я прожил довольно скучно; сидя у окошка, выходившего на двор, я смотрел на свою карету: она напоминала мне все страдания, вынесенные мною в ее небольшом пространстве в продолжение целых трех недель.

Хорошенькая татарка, жившая надо мною, впрочем, забавляла меня несколько минут, не потому чтобы я был поражен ее красотою или молодостью, но потому что представила мне маленький образчик совершенно для меня новых татарских нравов. У татар существует обычай, что женщина, увидев незнакомого человека, должна убегать или скрыть свое лицо. Она беспрестанно ходила в небольшой чулан, выстроенный против моих окон. Я ее стеснял: всякий раз, выходя из чулана, она не знала, на что решиться. Видя, что я спокойно сижу у окна, она

покрывалась большою простынею и перебегала чрез двор; иной раз она закрывалась только руками, что было крайне неудобно, если она держала в них что-нибудь; чтобы пособить этому, она приподнимала конец платка, надетого на шею, и заслоняла им свое лицо, но в то же время открывала шею; скрывая одно, она обнажала другое. Когда она роняла что-либо из рук и нагибалась, чтобы поднять, тогда я видел ее лицо и плечи. Я полагаю, что едва ли возможно было совместить за раз столько кокетства и столько стыдливости. Признаюсь, что в другую, более удобную для веселья минуту, я наслаждался бы долее этою проделкою.

Небо уготовило мне новое сильное потрясение при выезде из Казани. При самом отъезде, когда мы уже прощались, наш курьер, стоявший у окна, закричал: «сенатский курьер!» — и в то же время назвал его по имени и спросил: «Кого тебе надобно». — «Да тебя»…. это слово *тебя* крайне меня смутило; колена мои подогнулись; я ничего не видел. Что нужно от нас сенатскому курьеру, подумал я, какое известие привез он? Оно, верно, касается меня.

Но я ошибся и дело оказалось проще: два сенатора отправлялись ревизовать губернии в Сибири. Сопровождавший их курьер, узнав о нашем прибытии, пришел навестить старого своего товарища Александра Шульгина. Никогда в жизни моей не испытывал я такого разочарования. Я долгое время не мог очнуться и прийти в себя; с этих пор я потерял всякую надежду дождаться приезда курьера с радостным для меня известием; сколько до этого желал я замедлить мою поездку, столько же теперь хотел ее ускорить. Я хотел знать свою участь, чтобы сообщить о ней своей жене и представить жалобу государю.

Мы выехали из Казани 17 мая, т. е. 29 числа по новому стилю; несмотря на жаркую погоду, в лесах мы видели много снега. От Казани до Перми около шестисот верст; дорога идет все лесом и лишь кое-где попадаются деревушки. Дорога прямая и широкая, но часто встречаются страшные болота и по ним мостовняк, езда по которому может просто вытрясти душу.

Мы встречали часто колодников, скованных попарно; их гнали в Иркутск, или на рудники в Нерчинск; между ними попадались и женщины; их сопровождали крестьяне ближайших к дороге селений. Они просили подаяния. — Ах! хотя я ехал в карете, но был без сомнения несчастнее их; страдания определяются состоянием души. Вид этих колодников, мрачность темного леса, рассказы о страшных убийствах, совершенных в этих пустынных местах, все это должно было увеличивать мою тоску; но милосердый Господь помогает несчастному и посылает ему надежду тогда, когда отчаяние его одолевает. Да, в этом лесу

надежда — это благодетельное светило — явилось глазам моим. Оно светило мне, правда, издали, как солнечный луч, проникающий сквозь лес, но оно появилось мне наконец, и сердце мое еще в это самое мгновение ощущает его живительную теплоту. Я не могу в настоящее время сказать, почему произошла во мне такая перемена. Буду ли я в состоянии когда-либо это объяснить?[2]

Если буду, то тогда осуществится и самая надежда. Я могу только сказать, что она была основана на любви ко мне моей жены; это крепкая основа, конечно, если жена моя еще жива; ее любовь служит мне порукою в том, что она меня отыщет.

Мы приехали в Пермь без всякого приключения. Это довольно скучный город, в котором Щекотихин не нашел приятелей; необходимо было остановиться на постоялом дворе; я заметил, что теперь он стал менее недоверчив ко мне. Он чаще оставлял меня одного; ящик с моими деньгами оставлялся на столе возле меня, и Щекотихин не думал даже запирать его. В одну благоприятную минуту я взял тайком сто рублей. Мысль обокрасть собственную казну была мне внушена каким-то предчувствием, что она скоро должна будет подвергнуться последнему нападению. Действительно, Щекотихин не замедлил попросить у меня денег; я ему наотрез отказал; после этого он сделался до того суров и угрюм, что я решился открыть перед ним ящик. — «Смотрите, — сказал я ему, — тут всего сто десять рублей. Какая это незначительная сумма при моем положении, особенно когда я должен приобретать себе все необходимые предметы в стране, совершенно мне неизвестной. Это все, что у меня остается для того, чтобы существовать до тех пор, пока не получу пособия от моего семейства, которое находится в пятистах милях от меня. Вот вам, однако, пятьдесят рублей; если вы этим не довольны, делайте, что хотите; но я знаю, что могу жаловаться». Эти последние слова, по-видимому, поразили его. Он сделался гораздо сговорчивее, взял пятьдесят рублей и перестал меня мучить. Кроме того, он имел свои правила, прямо противоположные правилам моряков, которые грубы в начале плавания и делаются учтивыми в концу оного; Щекотихин же становился все более и более угрюм по мере приближения к цели нашего путешествия. Вероятно, опасения, что я убегу, заставляли его смягчать свое обращение; но теперь, не опасаясь этого, он не считал нужным стеснять себя долее.

Мы собирались уезжать, не помню с какой станции, часов около восьми вечера; но надвигалась гроза, слышались уже громовые удары и я просил Щекотихина, по крайней мере, переждать грозу. Он отказал мне в этом. Я указывал ему на

опасность, которой мы себя подвергали, путешествуя в такую грозу: наши лошади подкованы, в карете много железа, которое, как известно, притягивает молнию. Он мне сказал, смеясь, что все это сказки. Я прибавил, что осторожные люди выходят из карет и останавливаются в случае, ежели гроза застигнет их дорогою. Он смеялся надо мною еще более и спросил, как могу я верить такому вздору? Взбешенный его нелюбезностью и глупостью, — что конечно не должно было бы меня сердить, — я вскочил в карету. К чему мне страшиться смерти, подумал я; он один должен страшиться ее, потому что для него только и есть дорогого, что жизнь.

Мы поехали, а громовые удары делались все сильнее. Мы ехали равниной, покрытой вереском, который горел по обеим сторонам дороги. Огонь по временам столбом поднимался к небу, потом как бы замирал до тех пор, пока не встречал на пути своем сухой травы, которая вспыхивала.

Хотя огонь этот был не опасен, но вид его был страшен. С одной стороны трещал огонь на земле, с другой — гремел гром и вспыхивали молнии на небе. Мы проехали таким образом несколько верст и добрались наконец до небольшого соснового и березового леса. Миновав этот лес, мы подъехали к большой речке. На берегу находился паром, а на противоположной стороне реки стояла деревня; она была пуста. Мы начали звать людей, чтобы переправить нас, но река была так широка, что прошло довольно долгое время, пока нас услыхали; наконец появился человек в челноке. Хотя паром ходил по веревке и течение реки было довольно слабое, нам казалось, что одного человека недостаточно, чтобы нас переправить, но Щекотихин кричал, чтобы он подал паром. Мужик отвечал ему, что по случаю мелководья это невозможно, что паром сядет на мель, что нельзя будет его сдвинуть, когда на него поставят нашу карету с лошадьми, что мы можем переехать реку вброд. Мы послушались и двинулись; коляска наша до ступицы вошла в густой ил. Четыре лошади дошли до парома, но пятая завязла задними ногами и упала на бок. Крики, удары, всякого рода понукания, — ничто не помогает; лошадь не встает, а между тем остальные лошади тянут. Спутники мои вышли из кареты, я один остался, очень довольный случившимся. Впрочем, заметив, что тонкая веревка, удерживавшая плот, может оборваться от усилия лошадей, я счел благоразумным последовать примеру моих спутников; я выскочил в воду и влез на плот; Щекотихин взял кнут, сел на козлы; ямщик тянул лошадей за уздцы, курьер погонял их прутом, мужик стоял у веревки, а я, сложив руки и промочив ноги, стоял при страшной грозе под проливным дождем. Во время этой возни молния вдруг

падает у самого берега; удар был страшный; у наших людей опустились руки, но потом они стали усердно креститься и повторяли беспрестанно слова: «Господи помилуй!» Щекотихин стал в тупик, сконфузился; курьер упрекал его за то, что он меня не послушал; я же молчал и посмеивался.

От Перми до Тобольска считают около девятисот верст, но дорога здесь хороша и местность живописнее и веселее, нежели от Казани до Перми; здесь уже встречаются не мрачные еловые леса, но большею частью молодые березняки и обширные поля, очень плодородные и хорошо возделанные; богатые деревни, то русские, то татарские, находятся в близком друг от друга расстоянии; крестьяне имеют до того довольный вид, особенно в праздничные дни, что забываешь совсем, что находишься в Сибири; избы в деревнях даже гораздо чище, чем в других местностях России; дома имеют две комнаты: одна обыкновенно называется избой, а другая — горницей; комнаты эти имеют окна, в которых слюда заменяет стекла; столы покрыты салфетками, на стенах висят хорошие образа, кроме того, множество домашней утвари, которой мы очень давно не встречали в домах сельских жителей, как то: стаканы, чашки и пр., и пр. Мне казалось, что я заметил у них еще более гостеприимства нежели у русских; они говорят совершенно другим языком.

В будничные, рабочие дни народу почти не видно; мы проезжали десятки верст, не встретив ни души, и эти безлюдные, но очень хорошо возделанные места, казались обработанными каким-то волшебством. Но нет ничего веселее обывателя русской деревни в праздничный день; на улице или площади стоит толпа девушек, одетых в красные, белые, или синие платья; они поют и пляшут. Молодые парни также веселятся, но их как-то мало; вероятно, последние рекрутские наборы значительно убавили их число. Я никогда не замечал, чтобы девушки и парни участвовали в играх или плясках вместе.

Вообще говоря, крестьяне сохраняют благоговейное воспоминание об умершей императрице; они обыкновенно называют ее *матушкою*; напротив того, о сыне ее, царствующем государе, говорят редко и очень осторожно, сдержанно.

В Пермской губернии только один значительный город, Екатеринбург, Здесь Щекотихин случайно открыл все мои тайные записки и наброски, что привело его в ужасный гнев. Он хотел разорвать мои словари, но я воспротивился этому.

— Я покажу их губернатору, — сказал он мне, — я непременно покажу их.

— Вы можете это сделать, — отвечал я. — это проект докладной записки, которую я хочу подать государю; я начал

составлять ее с тем большею уверенностью, что вы сами положительно уверили меня, что это мне будет позволено.

— Это будет зависеть от инструкций, которые получит губернатор, — ответил он мне.

— Вот как! — возразил я, — следовательно, несмотря на все ваши клятвы, вы еще не уверены в том, что мне позволят писать; вы, быть может, не совсем убеждены даже в том, останусь ли в Тобольске, а между тем вы самым положительным образом уверяли меня в этом.

Он был немного смущен и старался снова меня уверить, что у него нет никакого приказания везти меня далее Тобольска; этим, впрочем, дело и ограничилось. Мои упреки заставили его позабыть остальное; он, по крайней мере, не говорил мне об этом более, но растравил снова мои раны; я уверился, что судьба моя еще не решена окончательно и что чаша горя еще не испита мною до дна.

Тюмень — первый сибирский город, который встречается на пути, верстах в сорока от границы, означаемой столбами с надписью: «Тобольская губерния». Щекотихин указал мне на них и объяснил их назначение; я ничего не отвечал ему; сердце мое было растерзано. Ах! неужели недостаточно быть жертвою страданий, причиняемых нам живым воображением, неужели необходимо, чтобы видимые, вещественные предметы увеличивали бы еще наши мучения!

Я находился, таким образом, действительно в Сибири; то, что мне пришлось испытать на первой почтовой станции, не могло облегчить горя, причиненного мне въездом в эту страну. Я расскажу это печальное приключение, которое, растерзав мое сердце, осталось запечатленным в нем кровавыми чертами.

Мы меняли лошадей на станции; я сел у дверей избы и ел хлеб с молоком; как вдруг старик лет шестидесяти с белыми как снег волосами упал пред нами на колени и с чрезвычайным волнением спрашивал, не имеем ли мы для него писем из Ревеля? Я смотрел с большим вниманием на старика и не мог ничего ему отвечать; я не был уверен, хорошо ли я понимал его слова. Тогда подошла ко мне женщина и шепнула на ухо: — «Этот старик помешан; всякий раз, когда он увидит проезжающих, он слезает со своего одра и делает один и тот же вопрос. Дайте мне клочок бумаги, — прибавила она, — я заставлю его сейчас уйти; без этого мы от него не отделаемся скоро, он будет плакать, стонать и ни за что не уйдет сам». Она взяла от меня бумагу и, делая вид как бы получила письмо, прочла вслух: «Мой дорогой супруг, я совершенно здорова и твои дети также; будь покоен, в скором времени мы тебя навестим». Старик слушал с величайшею

радостью, он улыбался, потирал бороду, взял потом бумажку и спрятал за пазуху. Потом он рассказал мне и довольно связно, что был когда-то солдатом, служил во флоте в Ревеле, в Кронштадте и других местах, что он теперь инвалид и недавно покинул свою жену и детей, находящихся в Ревеле. Женщина заметила нам, что это было лет тридцать пять тому назад. Он стал спорить с нею, опровергать и наконец сел на край скамейки, а мои спутники стали над ним потешаться по-своему, но он не обращал на них внимания и произносил какие-то слова, которые я не расслышал; наконец, он вскрикнул громким голосом: «Милая моя голубка! где-то ты теперь? в Ревеле ли, Риге или Петербурге?»

Эти слова имели до того близкое отношение к моему настоящему положению, что я едва мог встать и уйти в избу, где горько заплакал. Этот добрый старик изображал, быть может, собою участь, меня ожидающую; быть может, когда-нибудь, лишенный рассудка, я также буду спрашивать у проезжающих писем из Ревеля; уже теперь могу я вместе с ним воскликнуть: «Милая голубка, где-то ты теперь? в Петербурге, Риге или Ревеле?» Никогда в жизни не испытывал я подобной грусти. Образ этого старика никогда не изгладится из моей памяти; он представляется мне и наяву и во сне; он не покидает меня.

Запрягли лошадей, а я не переставал рыдать. Спутники мои, видя, что я не допил молока, не понимали, что со мною делается; я не хотел сказать им о том, что происходило в моей душе; они стали бы надо мною смеяться. Стыжусь даже признаться, что, расставаясь со стариком, я дал ему немного денег: человек, который около тридцати пяти лет только и думал, что о своем семействе, был человек необыкновенный; деньгами нельзя было облегчить его страдания, поэтому он принял их от меня с равнодушием и даже не поблагодарил; я чувствовал, что краснею от стыда и, закрыв лицо руками, ушел. Вот чем ознаменовался мой въезд в Сибирь; до самого Тобольска не мог я забыть этого неприятного для меня приключения. Иртыш и Тобол сильно разлились и затопили всю местность мили на четыре кругом; мы должны были оставить карету, сложить все наши вещи в небольшую лодку и продолжать путешествие водою. День был очень теплый; мы плыли довольно скоро; спутники мои захрапели, и я на свободе отдался вполне томительному беспокойству относительно того, оканчивается ли теперь мое путешествие или нет.

Часа через три я увидел Тобольск, в расстоянии полумили. Город этот расположен на берегу Иртыша; колокольни придавали ему великолепный вид, особенно в той его части, которая

называется цитаделью и где обращает на себя внимание дом губернатора; но так как город незадолго перед тем частью выгорел, то кажется красивым и обширным лишь издали. Теперь только был я в состоянии оценить все различие между грубою, но доброю душою Александра Шульгина и страшною жестокостью варвара Щекотихина. Последний, проснувшись, предался самой непристойной радости; он шутил, смеялся без малейшей деликатности, обязывающей иметь уважение к несчастному существу. Мне казалось, что я вижу в нем палача, который, отрубив голову, принимает самодовольный вид и радуется своей ловкости. Курьер же напротив, спокойный и грустный, зная, что приближается время, когда участь моя будет решена, по временам поглядывал на меня украдкою с состраданием и жалостью.

Мы подъехали на лодке к самому городу; нижняя его часть была затоплена; по улицам разъезжали по всем направлениям челноки, на которых и производилось сообщение.

Тридцатого мая, в четыре часа, мы остановились около большой базарной площади. Мы потребовали кибитку, сложили в нее вещи и направились к губернатору. Подъехав к дверям его дома, Щекотихин пошел вперед и оставил меня на улице. Я ждал четверть часа; это было чрезвычайно томительное ожидание. Люди губернатора смотрели на меня и перешептывались; все это меня беспокоило; наконец Щекотихин явился и сделал мне знак. Мы пошли к беседке, в которой губернатор отдыхал после обеда. Дорогою я спросил Щекотихина. — «Ну что же? остаюсь я здесь или нет?» Этот человек имел бесстыдство ответить сухо: — «Право, не знаю». Беседка была закрытая; я вошел один и представился губернатору насколько мог бодро. Губернатор г. Кушелев (Kuschelef), которого очень хвалили мне в Перми за его человеколюбие, был лет сорока, имел очень умное и благородное лицо. Первый его вопрос был:

— Говорите ли вы сударь по-французски?

Вопрос этот привел меня в восторг; наконец-то я мог объясниться.

— Да, — ответил я поспешно.

Он предложил мне сесть.

— Ваша фамилия мне известна: это фамилия одного писателя.

— Увы, милостивый государь, я сам этот писатель.

— Как! — воскликнул он, — это невозможно! По какому случаю вы здесь?

— Ваше превосходительство, я полагал, что вы сообщите мне причину этого.

— Я, я? Но я решительно ничего не знаю. Все, что сообщено

мне о вас в указе, заключается в том, что вы президент Коцебу из Ревеля и поручаетесь моему надзору. Вот и все.

Он показал мне указ, который состоял строк из пяти — шести, не более.

— Я еду не из Ревеля, а с прусской границы.

— Быть может, вы не имели разрешения на въезд в империю?

— Я имел паспорт совершенно законный, за подписью императора, посланный мне по его приказанию; но на этот паспорт не обратили внимания; меня исторгли из среды моего семейства, чтобы везти в Петербург. Дорогой, ничего мне не объяснив, свернули и привезли меня сюда.

Губернатор хотел что-то сказать, но воздержался.

— Неужели вы ничего не знаете? Не подозреваете ли вы, в чем вас могут обвинять?

— Я решительно ничего не подозреваю, клянусь вам. Ваше превосходительство можете легко поверить, что в продолжение длинного путешествия я ломал себе голову, чтобы приискать какую-либо причину моего ареста; но я ничего не мог найти.

Губернатор, помолчав немного, сказал:

— Я прочитал все ваши произведения, переведенные на русский язык, и очень рад познакомиться с вами, но в видах вашего интереса желал бы сделать это знакомство в другом месте.

— Встретить такого человека, как вы, большое для меня облегчение, и я льщу себя надеждою, что могу, по крайней мере, остаться в вашем соседстве.

— Несмотря на все удовольствие пользоваться вашим обществом, я не могу исполнить ваше желание.

Я ужасно испугался и воскликнул с горестью:

— Неужели я не смею даже и здесь остаться. Надо быть очень несчастным, чтобы считать милостью позволение остаться в Тобольске, неужели должен я еще далее влачить свое жалкое существование.

— Я сделаю все, что от меня зависит для облегчения вашего положения, но мне приказано назначить вам пребывание не в Тобольске, а в Тобольской губернии; вы знаете, что я не вправе уклониться от исполнения данных мне приказаний; выбирайте любой город, кроме Тюмени, потому что он лежит на большой дороге.

— Я решительно не знаю Сибири; я совершенно полагаюсь на расположение и доброту вашего превосходительства; нельзя ли только мне поселиться поближе к Тобольску.

— Поезжайте в Ишим (Jchim), это самый ближайший город; всего в 342 верстах или пятидесяти милях от Тобольска, но я дал

бы вам дружеский совет ехать лучше в Курган; это не много далее; он в 427 верстах или шестидесяти милях; но климат в Кургане гораздо мягче, это Сибирская Италия, там растут даже дикие вишни, но, что гораздо лучше диких вишен, там хорошее общество и можно жить очень приятно.

— Я очень устал; не могу ли я остаться здесь несколько дней отдохнуть.

— Да, — благосклонно сказал он, подумав несколько времени, — это можно; я к вам пришлю доктора.

— Я имею еще просьбу: могу ли я написать императору, — спросил я, запинаясь.

— Без сомненья.

— А моей жене?

— Также, но не иначе как чрез генерал-прокурора, который просмотрит письмо и, если не найдет в нем ничего предосудительного, прикажет доставить его по назначению.

Я почувствовал значительное облегчение.

Губернатор приказал приискать мне хорошую квартиру в городе и простился со мною, а также и Щекотихиным, с которым обошелся довольно сухо.

— Остаетесь вы здесь? — спросил меня Щекотихин.

— Нет, — резко ответил я ему.

Щекотихин сообщил мне, что губернатор спросил его, не родственник ли я или не однофамилец ли *автора,* но он не понял этого последнего слова.

Я, разумеется, рассмеялся. Не менее смешно было удивление Щекотихина, когда он увидел, сколько лиц знают меня в Тобольске и какое оказывают мне внимание; никто ранее не говорил ему обо мне, ни его приятель Максимов в Москве, ни Естифей Тимофеич в Казани. Откровенно говоря, я сам был очень удивлен, увидав, какою известностью пользовалось мое имя, и встретив столько сострадательных людей в столь диких и отдаленных местах.

Однако будем продолжать рассказ.

Полиция немедленно указала нам квартиру, занимавшуюся обыкновенно важными лицами, посылаемыми в Сибирь. Она состояла из двух комнат, принадлежавших мещанину. Так как он несет эту повинность бесплатно, то вовсе и не заботится о содержании квартиры в порядке. Разбитые стекла, грязные стены, на которых висели обрывки старых обоев, множество насекомых, лужи воды под окнами, издававшие тяжелый, смрадный запах, — вот что поразило нас при входе в эти комнаты; но эта квартира, казалось, была очень хорошею для того, кто за несколько минут перед тем предполагал, что будет сидеть в тюрьме. Разве не мог я

ожидать этого? Если меня могли привезти в Сибирь, то точно так же могли заключить в темницу, заковать в кандалы, даже наказать меня кнутом, если бы возымели подобное желание; все это было одинаково возможно.

Теперь меня не томила более неизвестность; участь моя была решена и определена; я достиг предела моего несчастия и стал взвешивать объем моего бедствия.

Путем любезностей, изумивших моего квартирного хозяина, но обратившихся во мне в привычку, я довел его до того, что он притащил мне немного мебели, а именно: стол и несколько деревянных скамеек; он хотел, но не мог достать мне постель; впрочем, я отвык пользоваться ею и мне сделалось не в диковинку спать на полу, разложив предварительно мою шинель и старый шелковый кафтанчик, которым одевался сын мой, выходя на улицу или защищаясь от сквозного ветра; не знаю, как сунула этот кафтанчик в карету горничная, но я очень ей за это благодарен; вид его вызывает во мне ряд приятных воспоминаний. К этому присоединил я еще тюфяк, купленный мною. Вот мое смертное ложе, подумал я, ложась в первый раз, и по настоящее время считаю его таковым.

Чрез час пришел полицейский чиновник и принял меня от Щекотихина, к которому теперь слава Богу все мои отношения прекратились. Этот чиновник по фамилии Катятинский (Katatinsky) был очень предупредителен; его сопровождал унтер-офицер.

— Я буду приходить всякий день, — сказал он мне: но только для формы, чтобы сделать вам визит и узнать о вашем здоровье, так как я всякий день должен подавать о вас рапорт; но этот человек, — он указал при этом на унтер-офицера, — будет постоянно при вас находиться, не столько для того, чтобы стеречь вас, сколько для того, чтобы помогать вам и быть вам полезным.

С этими словами он вышел.

Щекотихин, довольный, что избавился от обязанности стеречь меня, сказал мне, уходя, что сейчас приведет ко мне одного приятеля, которого год тому назад также сопровождал в эти места. Он мне говорил дорогою много хорошего об этом человеке, но так как похвалы Щекотихина еще не служили для меня большою рекомендациею, то я не имел ни малейшего желания познакомиться с его приятелем. Однако познакомившись с ним, я был крайне изумлен, встретив в Киньякове (Kiniakoff) одного из самых образованных молодых людей; он говорил со мною по-французски, уверял, что читал неоднократно мои произведения, и высказал мне по их поводу много лестного; он предложил мне свои услуги, сожалел, что я испытываю участь,

подобную его собственной, и что совершил путешествие в таком худом обществе, с таким негодяем! Этот лестный эпитет означал Щекотихина.

— Но он говорил мне, что вы его приятель!

— Какой приятель, Боже Избави; но вы поймете, что я был вынужден поддерживать с ним хорошие отношения.

Киньяков, сын симбирского дворянина, был сослан в Сибирь вместе с двумя своими братьями и несколькими офицерами за то, что они осмелились подтрунивать над императором; он один имел счастье остаться в Тобольске; остальные были разосланы по отдаленным местам; один из его братьев, младший, был заключен в оковы в небольшом укреплении за четыре тысячи верст от Тобольска, а другой — томился в ужасном Березове, самом страшном месте из всей преисподней.

Я нашел утешение, встретив человека, обладавшего, по-видимому, благородными чувствами, с которым по прошествии четверти часа я был уже в самых дружественных отношениях. Он обещал мне достать книги. Боже мой, какое счастье! Я узнал от него, что император изгнал из своих владений иностранную литературу; что многие из моих пьес играются очень часто, но довольно, впрочем, плохо, в театре в Тобольске; он предложил мне свою квартиру и стол, на что имел разрешение. Мы проговорили более часа и расстались очень довольные друг другом. Потом посетили меня другие лица: барон Соммаруга (Sammaruga), подполковник австрийской службы, имевший орден Марии Терезии; он дрался на дуэли из-за одной девицы во время пребывания своего в Риге; противник его, имевший большие связи, требовал, чтобы его сослали, добился этого, но не сделался чрез это счастливее, потому что Соммаруга женился на молодой особе, которая, покинув родителей, отправилась вслед за мужем, чтобы разделять с ним бедствия. Она совершила это путешествие, не зная русского языка, с одним только ямщиком. Узнав в Москве, что муж ее болен в Твери, она немедленно вернулась к нему, чтобы ухаживать за ним и потом уже направилась вместе с ним в Тобольск, где я был свидетелем ее постоянной к нему привязанности: она выказала и мне свое человеколюбие; не умея готовить кушанья, я часто довольствовался одним сухим хлебом; она не раз присылала мне суп и жаркое.

Я видел также графа Салтыкова, человека богатого и пожилого, сосланного за то, что брал лихвенные проценты; он жил на широкую ногу, был очень любезен в обществе и говорил свободно на многих языках; от него я доставал себе газеты.

Три купца из Москвы, два француза и один немец, попали также в число несчастных за то, что провезли на двести рублей

контрабанды; последний из них, по фамилии Беккер, был очень хороший и чрезвычайно услужливый человек; жена его рассталась с ним и поехала в Петербург ходатайствовать об его возвращении; если бы это ей не удалось, она должна была вернуться и привезти с собой детей; я надеялся, что этот случай доставит и мне возможность соединиться с моим семейством.

Меня посетили также четыре поляка, сосланные в Сибирь за неосторожные политические поступки; это были бедные люди дворянского происхождения, которым отпускалось от казны по двадцати копеек в день. Словом сказать, посещения не прекращались, что было очень неудобно для меня, я был рад, когда наконец наступила ночь и я, освободившись от этих гостей, мог лечь в постель и свободно предаться моим мыслям.

Я заснул и ночью случилось со мною приключение, по моему мнению, очень замечательное; оно касается области медицины, и я прошу добрых друзей моих Галля и Гуфланда объяснить мне его. Около полуночи я проснулся и полагал, что нахожусь на корабле; не только я ощущал качку, но слышал даже шелест парусов и крики матросов. Я лежал на полу и мог видеть небо только тогда, когда обращал взгляд на окно; обстоятельство это еще более усиливало мою иллюзию; я чувствовал, что это иллюзия, и старался ей противодействовать; во мне как будто были две души: одна поддерживала мое заблуждение, а другая твердила, что это химера. Я прошел, шатаясь, по комнате, осмотрел все окружающее меня и убедился, что все решительно находится на месте по-прежнему, как было накануне. Когда посмотрел в окно, то все дома, за исключением одного каменного здания, показались мне кораблями, все видимое пространство — необъятным морем. — Куда влекут меня? — спрашивала одна моя душа. — Никуда, — отвечала другая, — ты в своей комнате. Это странное состояние, которое очень трудно описать, продолжалось около получаса; галлюцинация немного ослабевала и наконец совершенно прекратилась. Только сердце билось очень сильно и пульс был скорый и судорожный; но у меня не было ни жара, ни головной боли; я полагаю, что это было начало умопомешательства. На другой день меня посетил надворный советник Петерсон, старший доктор; он объяснял этот странный бред моею необычайною усталостью как физическою, так и умственною; но это объяснение показалось мне неудовлетворительным, хотя быть может и невозможно дать другое. Тем не менее я встретил этого очень хорошего человека с самым благоприятным для него предубеждением; он был уроженец той же местности, где родилась и моя жена; он скоро приобрел мое доверие откровенным и благородным участием к

моему положению. В продолжение всего моего пребывания в Тобольске он оказывал мне знаки самого искреннего расположения, последствия которого я ощущаю до сей минуты. Его дружбе обязан я множеством лекарств первой необходимости, которые при том уединении, в котором я влачу жизнь мою, являются неоценимыми, тем более, что здесь нет врача. Сверх того, он всячески хлопотал у губернатора и делал невероятные усилия к тому, чтобы меня оставили в Тобольске; если это ему не удалось, то единственно по следующей причине: обыкновенно в приказе, сопровождающем ссыльного, означается, должен ли местом ссылки быть самый город Тобольск или Тобольская губерния; в последнем случае иногда положительно означается самое место в губернии, а иногда и не означается, и тогда губернатор может послать, куда ему угодно. Все мои новые друзья были уверены, что приказ относительно меня был неопределителен и что губернатор может оставить меня в Тобольске, но по правилам губернатор не может назначить местом ссылки тот город, в котором имеет сам свое местопребывание; если же он иногда и уклоняется от исполнения этого правила, то только разве в том случае, когда личность ссыльного совершенно ничтожна и нет поводов предполагать, что за ним будут следить.

К моему несчастью, я не подходил к разряду таких лиц; арестование мое сопровождалось столь странными обстоятельствами, что казалось чрезвычайно важным; губернатор должен был опасаться тайных доносов, столь обыкновенных в настоящее время. Короче сказать, все поступки губернатора убедили меня, что он действительно сам страдал от невозможности сделать мне снисхождение, — оставить меня в Тобольске, несмотря даже на состояние моего здоровья, требовавшего этого, по мнению доктора. Я получил, однако, некоторую надежду на позволение приезжать в Тобольск в случае, если здоровье мое не будет поправляться.

В первый же день, свободный от различных посещений, я занялся составлением докладной записки государю; мне не трудно было это сделать, так как материал был уже собран и самый план набросан. Записка эта содержала в себе восемнадцать пунктов; для моей собственной чести, для чести жены и детей, обязан я представить здесь извлечение из этой записки. Она ясно покажет всему свету мою невинность и мой образ действия. Записка эта содержит в себе краткий очерк моей частной и политической жизни, о которой постоянно распускалось много лжи и на которую было наброшено много неосновательных подозрений.

ЗАПИСКА О НЕСЧАСТНОМ КОЦЕБУ

С оправдательными доказательствами, заключающимися во всех отобранных у него бумагах (Извлечение из французского оригинала)

Пункт I. Коцебу, родившийся в Веймаре, сын умершего советника посольства Коцебу, двадцати лет был приглашен в Россию графом Гольцом, тогдашним посланником Берлинского двора, на должность секретаря к генерал-инспектору Бауру, при котором, до самой его кончины, честно служил, усердно исполняя многие важные поручения.

Доказательство. Генерал Баур в духовном завещании просил покойную императрицу обратить внимание на Коцебу, и она именным указом пожаловала ему чин титулярного советника и приказала определить на службу во вновь учрежденную Ревельскую губернию.

Пункт II. Коцебу исправлял должность асессора в Ревельском апелляционном суде с 1783 года, в продолжение двух лет, заслужив внимание начальства.

Доказательство. Генерал-губернатор граф Броун представил его кандидатом на вакантное место председателя магистрата; место это давало чин подполковника; сенат назначил на эту должность Коцебу в 1785 году.

Пункт III. Коцебу исправлял эту последнюю должность десять лет, не получив ни одного замечания.

Доказательство. 1) Когда по прошествии десяти лет Коцебу, вследствие расстройства своего здоровья, был принужден просить отставку, сенат уволил его с производством в следующий чин; указ об этом находится в опечатанных бумагах. — 2) Коцебу имел от ревельского губернатора удостоверение в безупречном исполнении им лежавших на нем обязанностей; это удостоверение в подлиннике находится в числе опечатанных бумаг.

Пункт IV. Коцебу в 1795 году удалился в свою деревню, где и выстроил себе небольшой дом, называемый Фриденталь, находящийся в сорока восьми верстах от Нарвы; здесь Коцебу жил до 1797 года, среди своего семейства, отдавшись служению музам. Потом он был приглашен в Вену принять участие в управлении придворным театром. Находя сделанное ему предложение выгодным для себя, он оставил деревню, считая своей обязанностью принести эту жертву своим детям. Он испросил на это позволение императора, которое ему и было

дано.

Доказательство. Паспорт, выданный Коцебу по высочайшему повелению.

Пункт V. Находясь в Вене, Коцебу сохранил за собою свой сельский дом в Эстляндии, надеясь со временем возвратиться; он исполнял свои новые обязанности честно и усердно.

Доказательство. Лестное удостоверение, выданное дирекцией театров; удостоверение это также опечатано.

Пункт VI. Его императорское величество император Франц II остался очень доволен его поведением и службою.

Доказательство. Он согласился на увольнение Коцебу от должности, но оставил его на службе в звании драматического писателя при придворном театре с пожизненной пенсией в тысячу гульденов в год, дозволив при этом проживать где пожелает; подлинный указ и письмо графа Коллоредо, государственного министра, находятся также в числе опечатанных бумаг.

Пункт VII. Коцебу, не довольствуясь одним этим почетным удостоверением, касавшимся только его заслуг, счел нужным, прежде нежели покинуть Вену, испросить особое удостоверение о своем хорошем поведении как верноподданного монархического государства; он обратился с просьбою об этом к министру полиции графу Соро и получил самый удовлетворительный ответ.

Доказательство. Подлинное свидетельство министра и официальное письмо советника Шиллинга находятся в опечатанных бумагах.

Пункт VIII. Коцебу из Вены отправился в Веймар и поселился там из привязанности к своей матери. Он купил себе дом в окрестностях и жил здесь в течение года, уважаемый и любимый великогерцогским двором и самим герцогом, которого имел честь часто посещать.

Доказательство. Письмо герцогини Веймарской к великой княгине Елизавете Алексеевне, находящееся также в его бумагах, и свидетельства как самого герцога Веймарского, так и вдовствующей герцогини.

Пункт IX. Коцебу, исполняя желание своей жены и свое собственное, — повидаться с двумя своими сыновьями, которые имеют честь воспитываться в кадетском корпусе в С.-Петербурге, решается совершить поездку в Россию. Как лицо, состоящее на службе при венском дворе, он обязан был испросить на эту поездку разрешение императора австрийского и получил таковое вместе с паспортом.

Доказательство. Подлинный паспорт, находящийся в его бумагах, и доказывающий вместе с тем, что Коцебу действительно состоит на службе австрийского императора.

Пункт X. Коцебу просит также у русского императора разрешения на въезд в Россию и получает его.

Доказательство. Подлинное письмо барона Крюднера.

Пункт XI. Коцебу отправился в Россию, но на границе его задерживают. Этот неожиданный удар поражает его; однако он успокоивается мыслью, что благоразумная предусмотрительность, внушаемая обстоятельствами времени, может быть причиною подобной меры. Уверенный в своей невинности и в содержании своих бумаг, он утешает свое семейство и едет до Митавы.

Доказательство. Вышесказанное может быть подтверждено сопровождавшим его офицером.

Пункт XII. В Митаве Коцебу узнает, что должен ехать в Петербург; он охотно подчиняется этому приказанию, но скоро узнает, что его везут в Сибирь. Тогда отчаяние овладевает им; он тщетно спрашивает себя, какое мог он совершить преступление? Совесть его чиста пред Богом и государем.

Пункт XIII. Быть может, однако, что Коцебу, по примеру других, является приверженцем революционного порядка? Нет.

Доказательство. 1) Два его сына находятся в кадетском корпусе в Петербурге, а третий — в инженерном кадетском корпусе в Вене. Они являются заложниками, добровольно им самим оставленными. 2) Все имения Коцебу и жены его находятся в России и никогда, решительно никогда, он не старался продать их. 3) Если бы он был революционер, то уехал бы из Вены в Париж; между тем он оставался постоянно в Веймаре, куда император австрийский и приказал высылать его пенсию. 4) Он был один из первых, осмеявший в 1790 году крайности революционеров в пьесе своей «Женский клуб Якобинцев». В 1792 году он написал другое сочинение: «О *дворянстве*», которое показывает образ мыслей автора. 5) Нет еще и года, как в сочинении под заглавием *«Несколько слов о моем пребывании в Вене»* он публично объявил, что предпочитает монархическое правление всякому другому и что решительно никогда, разве если сделается безумным или плутом, он не будет разделять современных идей. Писатель, известный в Европе, не решился бы так открыто высказывать подобные взгляды, если бы имел намерение когда-либо их изменить. 6) В 1795 году он представил императрице Екатерине II план учреждения Дерптского университета и между прочими доводами к его учреждению было приведено и то, что молодые люди будут подвержены меньшей опасности заражаться учениями, противными общественному благосостоянию.

Пункт XIV. Не имел ли Коцебу каких-нибудь подозрительных отношений? Нет.

Доказательство. Просмотрите книгу, находящуюся в числе его бумаг; в ней содержится черновая самых важных писем, посланных им, а также вся его переписка.

Пункт XV. Быть может предполагают, что доходы его проистекают из неблаговидного источника? Это было бы ошибочно.

Доказательство. Стоит только взглянуть в упомянутую выше книгу, в которой означены все его доходы.

Пункт XVI. Не писал ли он когда о политике?

Доказательство. В этой же книге перечислено все им написанное.

Пункт XVII. Можно ли предположить, что он не имел надлежащего уважения к государю? Совершенно не основательно.

Доказательство. В 1796 году он описал черту из жизни государя в маленькой драме *«Первый кучер императора»*, которая быть может по выполнению ниже содержания, но тем не менее доказывает взгляды и чувства автора.

Пункт XVIII. Не безнравственный ли человек сам Коцебу и не следует изгнать его из общества? Нет.

Доказательство. 1) Пусть просмотрят дневник его домашних занятий и всего того, что он делал (это все находится в книге). Что же там найдут? Он сажает деревья в день рождения жены; или устраивает сельский праздник по случаю первого зуба своего ребенка. В каждом слове можно видеть, что все его счастье заключалось для него в его семействе. 2) Альманах Франклина, проповедующий усовершенствование нравственной стороны человека, доказывает лучше всего, что Коцебу чистосердечно любит добродетель. С первого же взгляда, по свойству его признаний, видно, что он делает их единственно для себя одного и никогда не предполагал, что они попадутся на глаза другим. Эти признания обнаруживают в нем человека слабого, но не преступного. Люди, знающие Коцебу, могут судить, нежный ли он муж и добрый ли отец, качества, без сомнения, совершенно чуждые преступлению и не ведущие к безнравственности.

Следовательно, Коцебу доказал: что двадцатилетняя служба обнаруживает безукоризненное его поведение; что он не разделял никогда мыслей, способных поколебать государство; что все его связи с другими лицами не возбуждают подозрения и совершенно невинны; что он всегда имел к государю должное уважение; что счастье для него заключается в семействе; что он любит добродетель и спокойствие. Какая же невольная с его стороны ошибка сделала его столь несчастным, что навлекла на него немилость императора? Он этого не знает и тщетно старается узнать причину этого и не может ничего придумать, кроме разве

того, что какой-нибудь злой дух, или тайный его враг, извлек из его сочинений отдельные места и выставил их в гнусном, неблагоприятном для него виде. Если это предположение не лишено основания, он просит только одной милости, — дозволить ему объясниться.

Его величеству известно, что с умыслом можно все истолковать в дурную сторону. Коцебу мог ошибиться, это участь всех людей; как все писатели, он мог употребить какое-нибудь необдуманное слово или выражение, или написать фразу, заключающую двусмыслие; но он клянется пред Богом и государем, что всегда следовал по пути добродетели. Если он согрешил, не ведая того сам, он получил уже должное наказание и родительская рука, покаравшая его, без сомнения, помилует грешника, который стонет от страданий.

Чувствительное сердце вашего величества да взглянет на весь ужас моего положения. Жена моя, близкая к тому, чтобы произвести на свет несчастное создание, быть может умрет с печали; для нее нет более счастья на земле. Дети ее скоро впадут в нищету; честь моя, мое имя, моя известность запятнаны, помрачены. — Кто поверит, что я не совершил никакого преступления? После двенадцатимесячного нездоровья я, лишенный всего, нахожусь в ужасном климате. Разрушающее горе и болезни скоро прекратят мое существование. Муж любимый, отец шестерых детей, я, покинутый светом, окончу жизнь далеко от моего семейства. А между тем я не виноват. Нет! Павел справедливый жив еще; он возвратит несчастному честь, жизнь и спокойствие, он возвратит ему его семейство, его домашний очаг.

* * *

Я почти окончил писать, когда ко мне случайно зашел Щекотихин, направлявшийся к губернатору. Я поручил ему узнать, в котором часу губернатор мог бы меня принять, и через него же получил ответ, очень его удививший; именно, губернатор велел мне сказать, что находится к моим услугам ежедневно с пяти часов утра до одиннадцати вечера. Щекотихин не мог никак понять такую учтивость в отношении ссыльного в то время, как губернатор небрежно относился к «надворному советнику».

Я пошел на другой день к Кушелеву без сопровождения стражи. Он принял меня очень любезно. Я прочитал ему мою записку. Когда я кончил, он прослезился, взял меня за руку, крепко пожал ее и произнес следующие утешительные слова:

— Будьте покойны; ваше бедствие будет непродолжительно.

Потом он был настолько добр, что вторично просмотрел мою записку и указал мне слова и выражения, которые, по его мнению, следовало бы изменить.

Я воспользовался его указаниями; он мне дал самой лучшей бумаги и я переписал набело записку. Он обещал мне доставить ее в собственные руки императора через того же Щекотихина. Этот благородный человек исполнил свое обещание.

Какими словами могу я изобразить перед всем светом великодушие этого благодетельного человека. От него одного зависело послать меня в Березов, к берегам Ледовитого океана, где в самые теплые летние дни земля оттаивает только на один фут. Он выбрал, однако, самое лучшее по климату, самое общительное по населению место его губернии. Все время пребывания моего в Тобольске он мог бы оставить меня на жертву моему горю, моим нуждам и уединению, вместо этого он приглашал меня всякий день к обеду, не опасаясь нисколько двух сенаторов, прибывших в губернию, чтобы осмотреть ее и представить отчет об его образе действий.

Он шел еще далее; так как я был несведущ в русском языке, он позволил мне иметь прислугу, знавшую кроме русского языка еще и другой, на котором я мог бы объясняться. Выбор был не велик: единственным таким человеком в Тобольске оказался итальянец Росси, которого обыкновенно звали Руссом; он проживал здесь уже лет двадцать. Находясь сперва на службе во флоте в Херсоне, он вместе с товарищами своими составил заговор убить командира и предать судно в руки турок; заговор этот был, к счастью, открыт, а заговорщики сосланы в Сибирь.

Росси был записан в крестьяне и обложен обыкновенным подушным окладом, однако всякий год получал паспорт для жительства в городе, где зарабатывал по своему усмотрению себе пропитание и жил очень хорошо. Этот человек обладал невероятной ловкостью и сметливостью; то он делал сосиски, то шил сапоги; он услуживал всем проезжающим и занимался сводничеством; словом сказать, он был мастер на все руки. Губернатор предупредил меня, что Росси большой плут и изрядно надувал тех, у кого жил; но что же было делать? Он так же хорошо говорил по-французски, как и по-русски; он знал страну, умел печь хлеб и стряпать кушанья. Такой именно человек мне и был нужен. Я нанял его за три рубля с полтиною в месяц, не считая кушанья. Губернатор позволил мне взять его с собою в Курган и оставить при себе; это была такая большая милость, что если бы о ней узнали, то губернатор мог бы лишиться места. Правда имя Росси не было записано в мой паспорт, и губернатор мог сделать вид, что ничего этого не знает. Когда мы ехали в Курган, плут Росси, знавший все деревни в околотке, проехал везде беспрепятственно.

Первые дни моего пребывания в Тобольске я пользовался, могу сказать, безграничною свободою; я делал все, что хотел, принимал гостей, сколько и когда хотел; комната моя была редко пуста. Я часто посещал Киньякова; он устроился очень удобно и имел хорошую библиотеку, состоявшую преимущественно из лучших французских сочинений. Я ходил один по улицам и за город; никто не обращал на меня внимания.

Но вдруг все это разом переменилось. Однажды утром губернатор попросил меня к себе и со своей обычной добротою выразил мне свои опасения.

— Ваш приезд, — сказал он, — произвел впечатление; о вас много говорят и с каждым днем интерес, возбуждаемый вами, усиливается; я не могу поэтому смотреть на вас, как на лицо, не имеющее значения, и должен быть крайне осмотрителен, тем более что Щекотихин не думает собираться в обратный путь; я опасаюсь того, не приказано ли ему оставаться здесь, чтобы наблюдать за вашим поведением; сенаторы также могут найти предосудительным, что я оказываю вам столько внимания, — поэтому прошу вас (этот человек мог *приказать* и между тем он *просил)* не принимать у себя никого, кроме доктора, и не посещать также никого, за исключением доктора и меня; дом мой открыт для вас во всякое время.

Я просил его сделать еще одно исключение — именно для Киньякова; он пожал плечами, признал достоинство этого молодого человека, объяснил, что сам любит его общество и

уверен в его невинности; но, — прибавил губернатор, — он находится на худом счету, и этого довольно, чтобы знакомство с ним могло вам повредить.

Я поблагодарил его за доброту, с которою он разъяснил мне все эти подробности и исполнил без возражения все, что он мне сказал.

Первое время меня сторожил только один старый унтер-офицер, по имени Иванович (Jwanowitch). Это был славный старик, но очень ограниченный; он целый день сидел у меня в передней и почти постоянно спал. Теперь ко мне прислали еще другого сторожа, более молодого, который также не стеснял меня; оба они услуживали мне, ставили самовар, ходили на рынок; но очень усердно отстраняли всякого, желавшего посетить меня, за исключением доктора, если же я сам выходил из дому, то один из них сопровождал меня.

Я скоро заметил, что им поручено тщательно наблюдать за моим поведением; впрочем, за исключением свиданий с кем бы то ни было, я мог гулять по городу и за городом где хотел; в этом отношении они предоставляли мне полную свободу.

Через посредство плута моего Росси я мог, однако ж, переписываться с моим приятелем Киньяковым. Мы назначали друг другу свидания на площади у окон лавок, и когда все думали, что мы рассматриваем товары в лавке, мы пользовались этим, чтобы перекинуться несколькими словами.

Опасения, что нас выдадут, были совершенно напрасны; несчастные ссыльные пользуются общественным состраданием. Многие купцы, при первой же встрече со мною, шептали мне на ухо: не хотите ли послать письмо, давайте, мы его доставим. Они предлагали это без малейшей корысти, не требуя за это решительно ничего, даже самое слово, которым они обыкновенно называют ссыльных, по-видимому, внушено нежным чувством и убеждением в их невиновности: они называют их *несчастными.*

— Кто это? — Несчастный! — и я не слыхал ни разу, чтобы ссыльных звали иначе; никогда в особенности не слыхал я, чтобы их означали унизительным словом, намекавшим на преступление.

За границею со словами *ссылка в Сибирь* соединяют такие смутные и неверные понятия, что я полагаю оказать услугу читателю, разъяснив отчасти этот вопрос. Ссыльные разделяются на несколько разрядов, отличных друг от друга.

Первый разряд состоит из преступников, обвиняемых в самых тяжких преступлениях, осужденных судом, приговор которого утвержден сенатом. Эти преступники приговорены к каторжным работам в Нерчинских рудниках; их доставляют туда пешком, закованными; страдания их хуже смерти. Предварительно их

наказывают обыкновенно кнутом и вырывают им ноздри.

Второй разряд состоит из преступников, виновных в совершении преступлений менее тяжких, нежели ссыльные первого разряда, но приговоренных также судом к ссылке. Их приписывают в Сибири к крестьянскому сословию; им переменяют имена, данные при крещении, и под новым именем и в новом своем состоянии они обязаны обрабатывать землю. В этом разряде также встречаются часто лица с рваными ноздрями, но от них зависит, если они любят трудиться, заработать себе что-нибудь и этим несколько облегчить свое положение; самое наказание может служить к их исправлению.

В третий разряд поступают лица, осужденные также судом, но приговоренные только к ссылке без всякого усиливающего или позорящего это наказание обстоятельства. Так, если преступники из дворян, то они не лишаются этого звания; могут жить без стеснения в назначенном им месте пребывания и получать деньги от родных; если же они не имеют своих средств, то казна дает им от двадцати до тридцати копеек в день и свыше.

Наконец четвертый разряд заключает в себе всех тех, которые без всякого суда сосланы произвольно и по особым секретным приказаниям. Их обыкновенно приравнивают во всем к лицам третьего разряда. Они могут писать письма семейству и даже государю, но письма эти проходят незапечатанными чрез руки губернатора; иногда они содержатся в крепости, или на них надевают оковы; это последнее случается, впрочем, очень редко и в царствование милостивого и кроткого императора Александра I этот разряд совершенно исчез.

Не знаю, к которому из двух последних разрядов причислен был мой спутник, подполковник из Рязани; по-видимому, ему назначалась очень горькая доля, хотя по приезде в Тобольск губернатор и обнадежил его, что он, быть может, останется в этом городе. Ободренный этими словами, он начал уже устраиваться, купил платье и многие другие вещи, но получил дня через два приказание немедленно отправиться в Иркутск. Ему не дали даже двух часов, чтобы приготовиться к отъезду, и я более ничего о нем не слышал. Едва позволили ему позвать портного и получить от него скроенные, но еще не сшитые платья. Без сомнения, губернатор получил самые точные и строгие о нем приказания; без этого, конечно, он внял бы голосу человеколюбия.

При посредстве новых приятелей и некоторых услужливых и честных торговцев, мне удалось отправить десять писем к моей жене, содержание которых я приведу ниже; из них половина дошла по назначению. Часы, в которые я беседовал с нею на бумаге, были единственными для меня отрадными; они

услаждали мое горе. Впрочем, к великому моему удивлению, здоровье мое было удовлетворительно и я вменял себе в обязанность развлекаться как можно более.

Щекотихин с первых же дней приезда оставил мою квартиру и переселился к какому-то новому другу. Я перекрестился, избавившись от него, и был вполне счастлив тем, что могу теперь предаваться без перерыва своему горю. Большую часть утра проводил я в том, что писал историю моих бедствий. Вместо обыкновенных чернил употреблял я китайские, которые здесь в изобилии и дешевы. Около полудня я гулял или отправлялся на окружавшие Тобольск скалы, омываемые водою и очень живописные. Отсюда смотрел я на громадную равнину вод, затоплявших окрестности и на густые темные леса, окаймлявшие горизонт со всех сторон; глаз мой останавливался на каждом парусе, а воображение представляло в каждом судне мое семейство. Я почти каждый день обедал у губернатора, иногда у Петерсона, и редко дома. Я не расставался с г. Кушелевым без утешения или без того, по крайней мере, чтобы он не облегчил мое горе. Его обходительность и чувствительность сумели найти доступ к моему сердцу и поддерживали разными способами мою надежду.

Сам он был также недоволен своим положением. Часто, сидя рядом в беседке, мы смотрели вдаль до громадных лесов, нас окружавших. Однажды, дав простор своим чувствам, он сказал мне, протягивая руку:

— Видите ли вы этот лес? Он тянется на тысячу сто верст до самого Ледовитого океана. Человеческая нога не проходила чрез него; там обитают лишь одни хищные звери. Моя губерния занимает большее пространство в квадратных милях, нежели Германия, Франция или Европейская Турция, взятые вместе, но какие же доставляет мне это выгоды? Не проходит дня, чтобы ко мне не привозили какого-нибудь несчастного или целую толпу их, которым я не могу, да и не должен, ничем помочь и стоны которых раздирают мою душу. Тяжелая ответственность лежит на мне: какая-нибудь случайность, которую невозможно предусмотреть, или тайный и коварный донос могут лишить меня моей должности, чести и свободы. И какое же вознаграждение имел я за все это? пустынную страну, суровый климат и столкновение с несчастными!

Он давно уже питал мысль просить об увольнении от должности, но не отваживался на это. Дай Бог, чтобы он никогда на это не решился. Что сделается с бедными ссыльными, если он, заменяющий им брата и друга, покинет их. Да поможет ему Бог

найти полное вознаграждение за все свои лишения в тех ощущениях, которые испытывает его собственное сердце. Когда человек этот предстанет на суд Божий, окруженный всеми несчастными и невинными, которым он облегчал страдания и к слезам которых присоединял свои, не имея возможности их прекратить, когда все они возвысят голос, чтобы благословить его, — Высший Судия назначит ему высшую награду.

По вечерам я имел обыкновение совершать прогулку по городу или по площади. Город довольно обширен, имеет прямые, широкие улицы, дома почти все деревянные, впрочем, встречаются и каменные, хорошо построенные, в новейшем вкусе. Церкви, число которых значительно, все массивны, неуклюжей архитектуры, улицы вымощены, или лучше сказать выстланы бревнами, распиленными надвое по длине; это гораздо чище и удобнее каменной мостовой. Город по всей длине его пересекается удобными для судоходства каналами, через которые устроены хорошие мосты. Рынок или базарная площадь очень обширная; тут кроме съестных припасов первой необходимости можно найти множество товаров китайских и европейских; товары эти чрезвычайно дороги, но зато съестные припасы очень дешевы. На площади постоянно толпятся люди всяких национальностей, в особенности же русские, татары, киргизы, калмыки. Рыбный рынок представил собою совершенно новое для меня зрелище; множество всякого рода рыб, которых я знал только по описаниям, были выставлены на продажу живыми и сонными, на земле, в бочках и в лодках: стерляди *(acipenser ruthenus),* царская рыба *(acipenser huso),* сомы *(silurus glanis)* и пр., всякого рода икра, всех цветов и сортов, свежая, паюсная, сушеная. Если бы не смрадный запах, я часто бы и на продолжительное время посещал бы этот рынок.

Любопытство завлекало меня иногда в театр. Зало довольно обширное, имеет один ярус лож, большая часть которых постоянно абонирована одними и теми же лицами; они украшают и меблируют ложи по своей прихоти, что представляет очень пестрый вид. Шелковые материи, иногда очень богатые, различных цветов, покрывают перила, внутри лож красуются люстры и зеркала; все вместе взятое имеет какой-то азиатский вкус, сильно поражающий с первого взгляда. Оркестр был отвратительный. Труппа была составлена из ссыльных; в ее составе находилась супруга моего Росси, уроженка Ревеля, сосланная в Сибирь за худое поведение; в лице Росси она нашла достойного себя мужа и исполняла в настоящее время на национальном театре в Тобольске роль почтенных жен и матерей.

Декорации, одежда, игра, пение — все это было ниже всякой критики. Однажды давали комическую оперу «Добрый Солдат» и еще другую пьесу, название которой я забыл. Оба раза я не мог просидеть в театре долее четверти часа. Цена за вход, впрочем, очень дешева, например, кресло первого ряда стоило всего тридцать копеек.

С большим успехом давали пьесы «Дитя любви», «Ненависть и Коварство» и некоторые другие моего сочинения. Разучивали даже «Деву Солнца», но декорации и костюмы требовали расходов, превышавших средства содержателя театра; предполагалось даже устроить на этот предмет подписку у более зажиточных жителей.

В Тобольске был также клуб, он назывался, кажется, «Казино»; содержателем его был какой-то итальянец с рваными ноздрями. Он совершил убийство и, выдержав благополучно наказание кнутом, добывал себе хлеб тем, что держал клуб; впрочем, я ни разу в нем не был.

Во время моего пребывания в Тобольске устраивались, раза два, бал и маскарад в честь прибывших сенаторов. Меня также приглашали, но, не желая выставлять на показ свою особу и свое бедствие, я отказался от приглашения, а потому не могу ничего сказать о прекрасных обывательницах Тобольска. За исключением прекрасного семейства Петерсона и красивой и любезной дочери полковника Крамера, мне не удалось видеть других дам высшего тобольского общества.

Я охотнее всего прогуливался по окрестностям города, но этому отдохновению полагала преграду нестерпимая жара днем, и еще более нестерпимые комары вечером. Не было дня, в который термометр Реомюра не показывал бы 26–28 градусов тепла; в течение дня постоянно, раз пять-шесть, была гроза, она как бы давала сражение и проливала на нас обильные потоки воды, которые, однако, очень мало и даже вовсе не освежали воздуха. Несмотря на такие жары, природа здесь очень скупа на свои блага и я не видел в этих местах ни одного фруктового дерева. В саду губернатора, бесспорно самом красивом и лучшем во всей области, виднелись изображения этих деревьев на дощатых заборах, окружавших сад. В действительности же в саду росли: береза, сибирская акация и крушина. Береза очень часто встречается в Сибири, но она не велика ростом; издали большой куст старой березы можно принять за куст молодых растений Европы. Крушина — любимое деревце обывателей Тобольска, ее сажают по улицам впереди домов и любят по причине душистых цветов и за неимением лучшего. Впрочем, в саду губернатора встречались кусты красной и белой смородины и крыжовника, а

на огороде капуста, довольно хилая и тонкая, и огурцы, которые еще только цвели и притом очень плохо. В окрестностях Тюмени попадаются яблони, плоды которых величиною с грецкий орех.

Природа, лишив эти страны фруктов, наградила их весьма щедро хлебом. Сибирская гречиха (polygonum tartaricum), известная и у нас, растет здесь без посева и требует только труда для ее уборки. Всякого рода хлеб произрастает здесь отлично. Трава густая и сочная; земля везде легкая и черноземная, не нуждающаяся в удобрении. Крестьяне, слишком ленивые, чтобы понемногу вывозить навоз из конюшен и хлевов, бывают вследствие этого иногда в очень затруднительном положении. Г. Петерсон уверял меня, что будучи обязан, как местный врач, часто ездить по губернии, он однажды приехал в деревню, жители которой разбирали свои дома и переносили их на другое место по той причине, что перевезти груды навоза, окружавшие их со всех сторон, представлялось им, по-видимому, более затруднительным.

Насколько летом невыносим жар, настолько же нестерпим холод зимою, когда термометр часто опускается ниже сорока градусов. Г. Петерсон рассказал мне об опыте, производимом им ежегодно и состоящем в том, что он замораживал ртуть и ножом вырезал из нее разные фигуры, которые посылал губернатору, завернув их снегом.

Впрочем, этот суровый климат очень здоров. Мой врач знал только две господствующие, но легко отвратимые болезни, это сифилис и лихорадки, происходящие от слишком быстрого изменения температуры воздуха после заката солнца.

В Сибири необходимо обладать только воздержанностью и тулупом, чтобы достигнуть глубокой и цветущей старости.

По вечерам я много читал. Мои приятели, Петерсон и Киньяков, снабдили меня хорошими книгами, которые в этой местности имели особую цену.

Я льстил себя надеждою, что могу остаться в Тобольске. Губернатор не вспоминал о моем отъезде; мои приятели предполагали, что он ожидает только отъезда сенаторов и Щекотихина, чтобы дать мне дозволение остаться здесь. Сенаторы действительно уехали в Иркутск, но Щекотихин не трогался с места. Впоследствии я узнал, что он оставался по неимению денег и ожидал отъезда из Тобольска одного купца, которого обещал довезти даром на почтовых лошадях по казенной подорожной, но с тем, чтобы купец принял бы взамен этого на себя все расходы по его содержанию в дороге. Трудно было отгадать в то время причину его пребывания в Тобольске, очень, впрочем, естественную; поэтому понятно, что я и губернатор считали

Щекотихина за шпиона.

Пятнадцать дней, данные мне для отдыха в Тобольске, истекали. В воскресенье утром я пришел к губернатору, так как было принято за правило, чтобы ссыльные третьего и четвертого разрядов по воскресеньям являлись к губернатору в мундирах, но без шпаг. Губернатор отвел меня в сторону и сообщил, что я должен приготовиться уехать завтра, так как, по известным ему причинам, он не может дозволить мне оставаться долее в Тобольске. Я был поражен этим, но не сделал ни малейшего возражения и ограничился тем, что просил его дозволить мне остаться еще два дня, чтобы закупить в это время некоторые необходимые для себя вещи, которые я, без сомнения, не нашел бы в Кургане, а преимущественно для того, чтобы продать свою карету, совершенно мне бесполезную; вырученные за нее деньги пополнили бы мои истощенные денежные средства.

Губернатор очень любезно согласился на мою просьбу, и я спешил приготовиться к отъезду, чтобы не злоупотреблять более его добротою.

Самый богатый купец в Тобольске, — я забыл его фамилию, — несколько дней перед этим предлагал мне сто пятьдесят рублей за карету, стоившую втрое. В то время я не согласился продать ее так дешево; принужденный теперь принять его скромное предложение, я хотел отдать ему карету за эту цену, но он имел бесстыдство и жестокость предложить мне двадцатью пятью рублями менее. Я должен был согласиться. Этот поступок возмутил не столько меня, сколько губернатора, выразившего в самых резких словах свое негодование; он просил меня написать по этому поводу маленькую комедию, которую обещал мне, в случае если она будет написана на французском языке, перевести на русский и поставить на сцену в Тобольске. Увы! я был очень мало расположен сочинять комедии.

Я купил себе сахару, чаю, кофе, бумаги, перьев и тому подобные вещи. Но чем я всего более дорожил — были книги. Каким образом мне бы проводить зиму без чтения? Добрый Петерсон дал мне все книги, какие только имел; но библиотека его состояла преимущественно из медицинских сочинений и нескольких путешествий, мною уже читанных. Я нашел возможность сообщить Киньякову о моем близком отъезде и моей нужде в книгах. Он написал мне, чтобы я ожидал его в полночь под окном, когда стража моя будет уже спать. Он аккуратно являлся на свидания и три ночи подряд носил мне лучшие сочинения из своей библиотеки, между прочими сочинения Сенеки, послужившие мне впоследствии источником утешения.

Я написал письмо жене моей, а также самым преданным друзьям моим в России и Германии, числом двенадцать; и сложил все эти письма в один пакет, который адресовал на имя старого и верного моего друга Грауманна, негоцианта в Петербурге, и поручил это все Александру Шульгину, курьеру, сказав ему, что если он доставит пакет по назначению, то получит от Грауманна пятьдесят рублей. Это казалось мне самым удобным способом доставить пакет по назначению, и последствия оправдали мое предположение.

Приготовления к отъезду были окончены, и я сообщил об этом губернатору. Зная, что меня должен сопровождать в Курган унтер-офицер, я просил г. Кушелева поручить эту обязанность честному Андрею Ивановичу, несмотря на его преклонные лета. Кушелев, по возможности, ни в чем мне не отказывавший, любезно согласился на мою просьбу. Он сделал еще более; он дал мне рекомендательные письма к самым главным жителям в Кургане, подарил мне при отъезде ящик отличного китайского чая и, что было мне особенно приятно, обещал присылать исправно каждую неделю Франкфуртскую газету, которую он сам читал. Он сдержал свое слово и, как я узнал впоследствии, мог подвергнуться за такую услужливость большой неприятности.

Кибитка моя, старая, подержанная, стоившая, однако, мне тридцать рублей, была нагружена моими вещами; я холодно простился с Щекотихиным, уезжавшим на другой день после меня; это тем более меня порадовало, что он должен был везти с собою мою записку к государю. Он уехал, впрочем, очень недовольный губернатором, который во все время его пребывания в Тобольске ни разу не пригласил его к обеду.

13-го июня, в два часа пополудни, с грустным чувством спустился я к перевозу, где уже стояла моя повозка. Дорогою случилось со мною забавное приключение. Русская женщина, порядочно одетая, подошла ко мне и стала расхваливать мои комедии. Это было очень неудобное время для подобного разговора; я хотел идти далее, ответив ей несколько слов; она остановила меня и объяснила, что принадлежит к составу труппы актеров в Тобольске, что ей назначили роль великой жрицы в моей пьесе «Дева Солнца», что она не знает в каком одеянии должна явиться, играя эту роль, и просит меня описать, какой она должна сшить себе костюм. Во всякое другое время я бы рассмеялся, но по случаю отъезда я был в слишком дурном расположении духа; я рассердился на нее, сказал ей, что, сосланный в Сибирь, не имею ни малейшей охоты заниматься разговорами о костюмах, в которых ходили жрецы в Перу, и ушел, посоветовав ей надеть такой костюм, какой ей вздумается.

Обыкновенная дорога из Тобольска в Курган проходит чрез маленький городок Ялуторовск (Jaluterski) и имеет всего 427 верст. Но, по случаю продолжавшегося еще разлития рек, мы принуждены были ехать сперва на Тюмень, находящийся у границы губернии, и оттуда уже пуститься на юг.

Мы провели ночь в Тюмени у одного регистратора, принявшего нас чрезвычайно гостеприимно. Если бы мне кто-либо сказал три недели ранее, что я так скоро увижу этот город снова, я бы счел его за своего избавителя, за своего ангела освободителя. Но теперь мне казалось, что мое освобождение отлагается еще на более продолжительное время.

Дорогою мы платили за почтовых лошадей по указу, т. е. по копейке с версты на пару лошадей, что составляет за одну немецкую милю ничтожную плату в шесть копеек.

Проехав несколько станций от Тюмени, я был свидетелем одного ботанического явления, о котором, по возвращении моем, сообщал многим ботаникам, но они не имели ни малейшего о нем понятия.

На пространстве около шестисот шагов виднелась масса красных цветков и на каждом из них лежал, по-видимому, комок снега. Это меня поразило: я приказал остановиться, собрал несколько цветков и вот что оказалось. На стебельке длиною дюймов пять, листья которого, сколько я помню, походили на ландыш, висел небольшой мешок, величиною в полтора квадратные дюйма, имевший на двух крайних своих кольцах маленькие ниточки как будто для того, чтобы его завязывать. Этот мешок, или ридикюль, внутренние стороны которого были так же видимы, как и наружные, с обеих сторон, прекрасного пурпурного цвета, был прикрыт сердцевидным листом такой же величины, верхняя сторона которого была белого, как снег, цвета, а нижняя такого же цвета, как мешок. Этот лист открывался и закрывался по желанию и служил как бы крышкою. Трудно описать, как прелестен был этот цветок, не имевший, впрочем, никакого запаха. Я опасаюсь, что сделал не довольно ясное описание, будучи крайне несведущ в ботанике, но уверяю, что цветок этот мог бы служить украшением любого сада. Обилие, в котором я его встретил, заставило меня предположить, что это растение очень обыкновенно в Сибири; почему я и не взял с собою ни одного экземпляра. Потом я очень сожалел об этом; при моем возвращении я тщетно искал этот цветок и никто не мог мне указать его.

Не доезжая до Кургана, мы ночевали у священника, у которого нашли небольшую комнату, снабженную всеми удобствами, хорошие постели и радушное гостеприимство и

который, к величайшему моему изумлению, на другой день ничего не взял с нас за ночлег. Оказалось, что вся деревня содержит на общественный счет эту комнату и устроила ее так хорошо для удобства проезжающих. Можно ли простирать гостеприимство далее этого? Ни один крестьянин не показался нам, и мы не могли даже поблагодарить жителей за это.

Около четырех часов вечера увидел я город Курган. Небольшая и притом единственная колокольня возвышалась среди разбросанных и небольших домов. Город расположен на противоположном, немного возвышенном берегу Тобола и окружен бесплодными равнинами, поросшими вереском, которые простираются во все стороны на несколько верст до холмов, покрытых лесом; равнину эту пересекают в разных местах озера, обросшие тростником. Дождливый день не делал этот вид занимательнее. Самое название Курган, означающее *могилу,* давно уже казалось мне зловещим. Со слезами на глазах и сжатым сердцем стоял я на рубеже моих страданий, прошедших и будущих. Разлитие реки заставляло нас приближаться к городу большими объездами; и я имел достаточно времени осмотреть со всех сторон эту могилу, в которой должен был похоронить себя живым.

Посередине деревянных одноэтажных лачуг возвышался один только каменный дом, довольно нарядно выстроенный; он казался дворцом в сравнении с остальными домами. Я осведомился о фамилии хозяина этого дома и узнал, что дом этот принадлежит некоему Розену или Розину (Rosen ou Rosin), бывшему пермскому вице-губернатору, владевшему значительными землями в здешних местах.

Странный вкус этого человека, побудивший его избрать этот угол местом своего жительства, не очень располагал меня к знакомству с ним. Впрочем, фамилия его была немецкая и я, по крайней мере, мог предполагать, что он происходит от немецкого семейства. Это имя было с давних пор очень дорого моему сердцу: оно напоминало мне искреннего и верного друга моего — старого барона Фридриха Розена и его несравненную супругу, которую я чтил как вторую мать; прекрасная пара, часто облегчавшая страдания моей жизни; теперь достаточно было одного их имени, чтобы внушить мне утешение и радость на неизмеримом от них расстоянии.

После множества поворотов, достигли мы наконец плавучего моста, состоявшего из связанных между собою бревен, концы которого были привязаны к обоим берегам Тобола; он качался вместе с движением волн; всякая проезжавшая по нем телега заставляла этот мост погружаться в воду, и надо было быть очень

внимательным, чтобы не потерять из виду его остававшуюся над водою часть, которая служила единственным руководителем при проезде по той части, которая была уже под водою.

Курган состоит из двух широких параллельных улиц. Мы остановились у дома, в котором помещался местный суд. Мой унтер-офицер пошел туда, но скоро вернулся, сообщив, что *городничий* или начальник полиции находится в отсутствии и что место его занимает судья. Надо было ехать к последнему. Мы сделали несколько сотен шагов и остановились у его квартиры; ему доложили о моем приезде, и он через несколько минут пригласил меня к себе.

Я встретил в нем старика с очень почтенным выражением лица, которому он счел необходимым придать в этом случае торжественный и внушительный вид. Он холодно поклонился мне, надел очки, развернул бумаги, до меня относящиеся, и прочел их все основательно, не обращая никакого на меня внимания. Я нашел нужным дать ему маленькое предостережение в том, как желал бы, чтобы со мною поступали, а потому взял стул и сел. Он искоса с изумлением посмотрел на меня и продолжал читать, не сказав ни слова.

В соседней комнате собралась толпа любопытных, состоявшая из довольно взрослых детей, очень хорошенькой женщины (второй супруги председателя), его старушки матери, почти слепой, и мужчины средних лет, одетого в польское платье. Все смотрели на меня в глубоком молчании, которое продолжалось все время, пока судья читал бумаги.

Окончив чтение, он обратился ко мне и с улыбкою протянул мне руку. Вероятно, губернатор особенно рекомендовал ему меня, а, быть может, в мою пользу говорило также его сердце, доброта которого не замедлила обнаружиться. Судья поздравил меня дружески с благополучным прибытием, представил своему семейству, а затем и поляку, которого поручил моей дружбе как товарища по несчастью. Я трогательно обнял последнего и мы сошлись во мнении, что одинаковость нашей судьбы сделает нас братьями и друзьями.

Фамилия судьи, или главного представителя юстиции в Кургане, была де Грави (de Gravi). Отец его, шведский офицер, был взят в плен под Полтавою и сослан в Сибирь вместе с другими товарищами по оружию. Он женился на местной обывательнице и умер в ссылке. Сын его служил в русской армии, участвовал в семилетней войне, возвратился на родину в Сибирь, перешел из военной службы в гражданскую и жил счастливо, вполне довольный своими небольшими доходами; я никогда не видел, чтобы он был чем-либо недоволен или скучен. Он был

только что произведен в надворные советники и, хотя не обладал пустым тщеславием, тем не менее этот чин немало льстил его самолюбию.

После первых приветствий, речь зашла об отводе мне помещения, которое, согласно полученным приказаниям, должно было быть одно из лучших. Но так как помещение это могло быть выбрано только из числа тех, которыми полиция имеет право располагать и которые домовладельцы обязаны по ее требованию уступать приезжим, то понятно, что каждый хозяин старался по возможности отклонить от себя эту неприятную тягость, а в случае невозможности отделаться от нее отводил приезжему самую жалкую из своих комнат.

Г. Грави, подумав некоторое время, назвал призванному им чиновнику, маленькому и горбатому, фамилию того, кто должен был меня приютить. Он приглашал меня отужинать с ним, но я просил уволить меня от этого, так как очень устал с дороги и желал устроиться в моем новом помещении.

Я последовал за моим проводником. Он привел меня в низенький дом, при входе в который я едва не сломал себе шею. Это начало не предвещало много хорошего; предназначавшиеся мне комнаты оказались очень плохи; это были какие-то темные чуланы, в которых едва можно было стоять; голые стены, стол и две деревянные скамейки, окна заклеенные бумагою, вот и все; постели не было. Я глубоко вздыхал; хозяйка дома точно так же вздыхала и с скрытым неудовольствием, молча, стала убирать из комнат пряжу, разные вещи и старое платье, которые тут лежали.

Впрочем, я скоро примирился с предстоявшими мне неудобствами и начал понемногу, насколько было возможно, устраиваться в этой комнате.

Едва прошло полчаса, как г. Грави прислал мне окорок, два хлеба, яиц, свежего масла и несколько других припасов, из которых расторопный Росси приготовил прекрасный ужин для меня и для себя. После этого я пытался заснуть на грязном полу, но насекомые и горе совершенно разогнали мой сон.

На другой день, рано утром, меня посетили главные обыватели города. Я назову их последовательно, чтобы дать читателю понятие о том, что в Кургане считается хорошим обществом.

Степан Осипович Мамнеев (Mamnejef), капитан-исправник, то есть лицо заведывавшее уездом в полицейском отношении, смотревшее за дорогами и мостами, собиравшее подати, разбиравшее и решавшее ссоры и споры крестьян и т. д. Он был честный, услужливый, веселый и развязный человек, проявлял иногда наклонность к роскоши, но к роскоши не всегда

совмещавшей вкус. Я например помню, что видел в одной из его комнат несколько маленьких, круглых столов и блюд, на которых были нарисованы прекрасные английские гравюры, покрытые лаком в Екатеринбурге. Это были очень дорогие вещи, но вместо того, чтобы исполнять назначение столов и блюд, они висели как картины на стенах; ножки от этих столов стояли в комнатах как простое украшение.

Иуда Никитич, заседатель суда (Judas Nikitisch, sedatel), брат приятельницы губернатора, которая дала мне к нему рекомендательное письмо. Это был очень ограниченный и совершенно незначущий человек.

Другой заседатель был еще более ничтожен.

Секретарь суда, порядочный человек, имевший высокое мнение о своих дарованиях, единственный житель Кургана, получавший «Московские Ведомости».

Врач — один из самых невежественных.

Таков был, за исключением городничего, находившегося в отсутствии, тесный кружок, в котором я должен был грустно проводить остаток моей жизни.

Самою занимательною личностью в городе был, без сомнения, поляк, о котором я выше упомянул, по имени *Иван Соколов* (Ivan Sokoloff), бывший землевладелец на новой русско-прусской границе. Он не служил и не участвовал, ни прямо, ни косвенно, в польском восстании. Один из его приятелей, имевший подозрительную переписку с лицами, жившими во вновь приобретенных Пруссиею польских местах, полагал, что будет получать с большею исправностью письма из-за границы, если они будут адресованы на имя Соколова, и, не предупредив последнего, указал своим друзьям этот путь сношений. Первое же письмо было перехвачено. Соколов решительно ничего об этом не знал. Он обедал у одного из своих соседей, генерала Виельгорского. Офицер, тщетно искавший его в собственном доме, последовал за ним туда и арестовал вместе с другими лицами, частью виновными, а частью невинными. Все они долго содержались как государственные преступники в какой-то крепости. Наконец дело это дошло до Петербурга; их простили, но велели сослать в Сибирь.

Соколов и его товарищи были посажены в кибитки и отправлены по назначению. Большая дорога проходила в нескольких верстах от его имения; напрасно просил он позволения взглянуть еще раз на свое семейство и захватить с собою белье и платье; ему было отказано. В этой самой кибитке довезли его до Тобольска. Тут он был разлучен со своими товарищами и отправлен в Курган, где около трех лет уже вел

самую печальную жизнь, не имея ни малейшего известия о своей жене и детях.

Он получал от казны всего около пятнадцати копеек в день и должен был лишать себя всяких удобств и всех удовольствий жизни, едва имея возможность удовлетворять самые насущные потребности. Зимою он жил в одной комнате с вечно пьяным хозяином, до чрезвычайности сварливою хозяйкою, с собаками, кошками, курами и свиньями; летом же, чтобы быть одному, он переселялся в хлев, где я его часто навещал. Голая кровать, маленький стол, стул, рукомойник и распятие — составляли всю меблировку его помещения и все его богатство.

Несмотря на крайнюю нужду, он отказывался принимать предлагаемые ему подарки, питался только молоком, хлебом и квасом и был всегда чисто одет. Весь город его очень любил и звал просто *Ванюша.* Он особенно хорошо был принять в доме г. Грави, потому что с редким добродушием соединял тон и манеры хорошего общества и умел в своем бедственном положении сохранять постоянно хорошее расположение духа, чему я часто удивлялся и даже иногда завидовал по той причине, что не мог никак достичь этого сам.

Только наедине со мною, когда мы в двадцатый раз пересказывали друг другу свои бедствия и называли имена наших детей, глаза его наполнялись слезами и он впадал в мрачную задумчивость.

К несчастью, он не говорил ни по-французски, ни по-латыни, что случается очень редко между поляками. Иногда мы с большим трудом понимали друг друга, потому что, хотя он и говорил по-русски лучше меня, но выучился этому языку только в Кургане и его польское произношение делало многие русские слова совершенно для меня непонятными. Но тем лучше понимали мы один другого сердцем. Среди несчастья два чужеземца чувствуют себя более сближенными, нежели два близнеца в утробе матери.

Кстати, расскажу о следующей замечательной черте этого благородного человека. Он был так добросовестен, что постоянно отклонял делаемые ему предложения доставить от него письма его семейству по той единственной причине, что это было запрещено и что он обещал губернатору не изыскивать никаких побочных путей для сношения со своим семейством.

Возвращаюсь, однако, к моему собственному рассказу. Никто из пришедших меня навестить на другой день моего приезда не явился с пустыми руками: каждый принес мне что-нибудь, или пищи, или питья; я не знал, куда все это сложить. Сам Грави лично пришел узнать, доволен ли я моим помещением. Я

признался ему, что оно мне крепко не по вкусу. Он тотчас же вызвался сопровождать меня по всему городу и показать все квартиры, которыми он мог располагать. Я с признательностью принял его предложение. Мы провели порядочную часть дня в осмотре квартир и нашли, что почти все они хуже той, которую я занимаю, и до того тесны, что мне пришлось бы спать в одной комнате с моим человеком, чего я терпеть не мог.

Наконец я попросил Грави позволить мне самому приискать себе помещение, желая испытать, не даст ли мне всемогущее средство, т. е. деньги, возможность найти дом с большими удобствами. Он мне позволил это, сказав, что я ничего не найду по своему вкусу. Я полагался на моего хитрого Росси, который с первого же дня знал уже всех в городе и, вероятно, уже надул кого-нибудь. Он пошел собирать сведения и скоро вернулся с известием, что от меня зависит занять одному небольшой, новый домик, если я готов жертвовать на это по пятнадцати рублей в месяц. Владелец дома был купец, который из корысти готов был уступить мне собственную квартиру и поместиться сам в небольшой избе, во дворе.

Я немедленно туда отправился, осмотрел дом и нашел его, действительно, до того удобным и даже великолепно убранным для Кургана, что это превзошло мои ожидания. Дом этот состоял из одной большой комнаты, другой — поменьше, теплой и просторной кухни, и комнаты, служившей для склада вещей, называемой по-русски *кладовая.* Стены, правда, состояли просто из бревен, не оклеенных обоями, но домохозяин украсил их масляными картинами и раскрашенными гравюрами, донельзя правда скверными, но возбуждавшими во мне воспоминания, которые заставляли меня забывать, где я нахожусь. Я видел на стенах многие изделия Нюренберга, мещанку Аугсбурга, служанку из Лейпцига, продавца кренделей из Вены, с немецкими подписями. Один вид нескольких слов на моем родном языке делал меня до того счастливым, что я не мог оторвать глаз от этих картин. Тут же висели плохие копии с портретов леди Гамильтон, с рисунков древностей, найденных в Геркулануме, с некоторых известных пейзажей и др. Масляные портреты были русского изделия и изображали русских царей, т. е. живописец намалевал какие-то лица с длинными бородами, украсил их царскими шапками, дал им державы в руки и написал внизу совершенно произвольное имя царя Алексея Михайловича, или какое-либо другое.

Мебель состояла из двух деревянных скамеек со спинками, называвшихся важно диванами, потому что на них положили по подушке, покрытой ситцем, и нескольких столов и стульев; тут же

стоял запертый стеклянный шкаф, наполненный фарфоровою посудою, которую хозяйка употребляла в исключительных случаях. Окна выходили на улицу; сзади находился большой двор, который простирался до Тобола и представлял хорошее место для прогулки. Все это вместе взятое побудило меня немедленно согласиться на непомерно высокую цену, спрошенную с меня, которая показалась бы значительною даже в Петербурге и совершенно противоречила плачевному состоянию моего кошелька. Я принял все меры, чтобы перебраться сюда в тот же день.

Но при осуществлении этого намерения совершенно неожиданно встретилось препятствие. Грави решительно не хотел согласиться, чтобы я тратил столько денег. Он ежеминутно говорил: «какая ужасная цена для такого городка, как Курган! Это неслыханно!» Он приказал позвать к себе купца и так с ним худо обошелся, что тот готов был отказаться от сдачи квартиры. Мне же он повторял раз двадцать русскую поговорку: *«береги деньгу на черный день»*. Он дошел до того, что хотел сообщить об этом губернатору, так как, по его словам, он был обязан наблюдать за мною и охранять меня. Короче сказать, мне стоило неимоверных усилий объяснить ему, что я в состоянии делать такой расход и что я всегда предпочитал хорошую квартиру хорошему столу. Наконец он согласился, но мой домохозяин предварительно обязан был дать ему обещание, что бесплатно будет снабжать меня дровами и квасом.

После всех этих переговоров, я поместился в новой квартире, но всякий раз при встрече с г. Грави вынужден был выслушивать его сетования о непомерно высокой цене моей квартиры.

Конечно, если бы надежды мои получить следуемые мне из Лифляндии деньги не осуществились, если бы все письма моей жены ко мне были бы перехвачены, если бы жена моя не могла или не смела ко мне приехать, — тогда я очутился бы по прошествии шести месяцев в большой крайности, потому что я не получал от казны ни гроша. Но я имел деньги в настоящем и надежду в будущем, поэтому ничто не могло удержать меня от облегчения хотя временного моих страданий, насколько это от меня зависело. Впрочем, в Кургане было очень дешево жить; потребности мои были очень незначительны, а случаи производить экстренные расходы до того редки, что деньги мои могли хватить мне почти на целый год, а сколько перемен могло совершиться в течение этого времени!

Привожу цены некоторых съестных припасов в Кургане, заметив при этом, что мой Росси, вероятно, не упускал случая постоянно обсчитывать меня вдвое. Фунт хлеба стоил около

полукопейки; за четыре копейки давали хлеб в шесть фунтов; фунт говядины обходился полторы копейки, курица стоила столько же; фунт масла — от 3-х до 4-х копеек, пара рябчиков, или куропаток, три копейки; зайцы без шкуры отдавались за безделицу или просто даром, потому что русские их не едят; блюдо рыбы обходилось в две копейки. Самый отчаянный питух не мог выпить кваса более как на пол копейки. Однажды в присутствии капитана-исправника я спросил Грави, во сколько обходится в год содержание пары лошадей. Он ответил мне, что для этого достаточно тридцати рублей.

— Что вы, — воскликнул капитан-исправник, — я берусь их прокормить и содержать как следует за двадцать пять.

По этим примерам можно судить, по какой низкой цене продавались в Кургане все жизненные припасы; беда состояла лишь в том, что не всегда можно было их получить. В городе не было ни булочной, ни мясной лавки. Раз в семь дней, именно по воскресеньям, после обедни, открывалось нечто вроде базара, где и надо было запасаться хлебом, говядиной и всем необходимым из съестных припасов на всю неделю; случалось, впрочем, иногда, что и в этот день нельзя было достать говядины.

Прочие же предметы, особенно предметы роскоши, продавались по неимоверным ценам. Так, фунт сахара стоил рубль; фунт кофе — полтора рубля, кружка так называемой французской водки — два рубля с полтиною; фунт хорошего чая китайского — три рубля, полдюжины игорных карт очень грубых — семь рублей; десть голландской бумаги — столько же.

Но все это были такие предметы, без которых можно было обойтись, и в конце первой недели оказалось, что я истратил всего рубля два, считая кроме моего содержания еще освещение и стирку белья. Правда, что стол мой был до крайности скромный. Самым лакомым блюдом для меня было свежее масло и белый хлеб, который присылал мне два раза в неделю милейший Грави; это была большая редкость в Кургане. Я нигде не ел такого хорошего и вкусного масла как здесь, что очень естественно, так как коровы свободно пасутся на самых лучших и тучных лугах. Кроме хлеба и масла я ел иногда курицу с рисом, или голубя, или утку, которых сам убивал на охоте; вместо десерта подавался стакан кваса. Я вставал из-за стола всегда довольный, но редко насыщенный, и этому обстоятельству обязан я по моему мнению тем, что пользовался в Кургане постоянно хорошим здоровьем, которое все более и более поправлялось.

Вот обычный образ жизни, который я вел. Я вставал в шесть часов утра, заучивал в продолжение часа наизусть русские слова, потому что мне было необходимо усовершенствоваться в этом

языке, так как в Кургане никто не говорил на каком-либо другом. Потом я завтракал и в продолжение нескольких часов занимался составлением истории моих бедствий. После этого занятия, вскоре обратившегося в удовольствие, я, обыкновенно, отправлялся гулять в течение часа вдоль берегов Тобола, в халате и туфлях. Я аккуратно отмерил себе пространство в две версты, которые составляли ежедневную мою прогулку; я мог дойти до Тобол а, как выше сказано, чрез ворота моего двора, никем не замеченный. По возвращении с прогулки я читал Сенеку, затем садился за мой простой обед и после часового отдыха читал Палласа или Гмелина до тех пор, пока не приходил за мною Соколов, чтобы идти на охоту. По возвращении с охоты он оставался у меня пить чай; мы повторяли друг другу историю наших бедствий, поверяли один другому свои надежды или опровергали свои опасения. По уходе Соколова, я читал еще около часа Сенеку, съедал хлеб с маслом и после этого ужина раскладывал один гран-пасьянс и отправлялся спать более или менее грустный, смотря по тому — стыжусь признаваться в этом — выходил или нет пасьянс.

Кто прошел сам горнило скорби, тот, без сомнения, заметил, что никогда не испытываешь столько наклонности к суеверию как в то время, когда сознаешь себя несчастливым. Что при другом положении не имело бы решительно никакого значения, приобретает в несчастье важность, делается как бы веткою спасения, и хотя бываешь твердо убежден, что эта ветка не в состоянии сдержать комара, тем не менее хочешь за нее ухватиться и очень досадуешь, когда ее не поймаешь. Признаюсь, что в Кургане не проходило вечера, чтобы я, раскладывая пасьянс, не задавал себе вопрос: увижу ли я свое семейство или нет? Я не скажу, чтобы приходил в восторг или преисполнялся надеждой, когда пасьянс удавался, но это доставляло мне удовольствие; точно так же в случае неудачи мое горе и уныние не усиливались, но все же я был очень недоволен.

Улыбайтесь, смейтесь надо мною, я позволяю вам это, счастливые смертные, жизнь которых текла всегда как светлый ручей среди берегов, усеянных цветами, смейтесь над несчастным, который на обломках своего корабля, видя себя игрушкой бурного моря, готов ухватиться за всякую водоросль.

Так протекали мои дни. Впрочем, я был свободен и никто не наблюдал за мною. Мой добрый унтер-офицер, Андрей Иванович, отправился обратно в Тобольск на другой день по прибытии моем в Курган; заменить его кем-нибудь не нашли нужным, хотя Соколов в первое время своей ссылки в Кургане находился под постоянным надзором. Всякая стража была совершенно излишня.

Наша охота, правда, заводила нас далеко от города; но куда могли мы бежать? Курган некогда находился на самой границе Киргизских земель, но несколько лет назад граница была отодвинута на тридцать верст, и для охраны ее построено небольшое укрепление. Если бы даже граница эта прилегала к городской черте, какая могла быть от этого польза людям, лишенным всяких средств к бегству, не говорившим по-русски, а тем менее на языке киргизов. Даже и в этом последнем случае попытка бежать была бы средством самым отчаянным, потому что жители Кургана вспоминают и теперь еще с ужасом о том времени, когда они не могли выйти за город, не подвергаясь опасности попасть в плен к киргизам, бродившим по окрестностям. Киргизы привязывали их к хвостам лошадей и заставляли не отставать от всадников, скакавших довольно скоро, и не только не обращавших внимания на их крики и стоны, но даже не оглядывавшихся. Приехав домой, они осматривали, живы ли их пленники или нет. В первом случае они делали их своими невольниками или, что было всего чаще, продавали бухарцам, которые угоняли их Бог весть куда. Мы должны благодарить небо, что можем ходить свободно на охоту, не опасаясь подобных варваров.

Развлечение, доставляемое охотою, было очень для меня полезно, несмотря на скудные наши к тому средства. Мы имели только пару жалких ружей, которые давали раза четыре или пять осечку, прежде нежели происходил выстрел. Во всем городе не было ни одной охотничьей собаки, не было даже пуделя, который бы ходил в воду и приносил дичь; окрестности были покрыты множеством болотистых озер, и наша охота по преимуществу заключалась в стрельбе бекасов и диких уток. Мы сами должны были исполнять должность собаки и входить нередко по пояс в воду, чтобы искать добычу. Мой поляк был гораздо более меня привычен к этим трудностям; он входил смело в самую глубокую воду, проводил там часы, гонял птиц по тростникам, преследовал и брал то, что мне удавалось подстрелить, и заменял самую лучшую охотничью собаку, которая, впрочем, была даже не нужна здесь, по причине значительного количества дичи. Я не видал никогда в Европе таких многочисленных стай галок, сколько видел здесь уток различных видов. Встречались утки очень маленькие, с длинным, коротким, плоским или круглым клювом, с длинными или короткими ногами, серые, темные, черные с желтыми носами, а иногда, впрочем очень редко, попадалась красивая персидская утка, розового цвета с черным клювом и хохолком на голове, которая при каждом выстреле пронзительно кричала, даже если в нее и не попадали.

Различные породы бекасов были столь же многочисленны и столь же разнообразны. Между прочими встречалась одна порода темно-желтого цвета, на высоких ногах, величиною с голубя, с воротником из перьев около горла. Она вила гнезда в тростниках, с криком поднималась и кружилась над охотником, которому не трудно было убить эту птицу, но мясо ее было невкусно. Раза два видел я птиц с длинными ногами и длинным клювом, белых как снег и величиною с гуся, которые, всегда в числе пяти, искали пищу вдоль озера, но были столь дики и осторожны, что не допускали к себе близко и отлетали, едва охотник приближался к ним на двести шагов. Я не мог узнать, что это за птицы.

Кроме уток и бекасов, попадались еще вяхири в значительном количестве и черные дрозды, летавшие огромными стаями; когда они садились на дерево, то совершенно его покрывали; мясо их было отличного вкуса; но при незначительном количестве пороха, бывшем в нашем распоряжении, мы должны были очень беречь выстрелы и не стрелять таких маленьких птиц.

Мой поляк сообщил мне, что в исходе осени дичи появляется страшное множество и что тогда в изобилии попадаются рябчики, зайцы и пр. Он подтвердил слышанное мною еще в Тобольске, будто в этих местах попадаются дикие индейские петухи, называемые по-русски драхва (drachwa). Медведи не встречаются вовсе около Кургана, а волки редки, потому что местность слишком открытая. Соболя редки, но горностаи встречаются в большем количестве. Коршуны большие и малые наполняют воздух и так мало боятся присутствия людей, что их можно бы стрелять из окон в городе.

С самых ранних лет пристрастясь к охоте, я имел очень приятное развлечение, получив разрешение охотиться. Присоедините к этому то, что окрестности были усеяны самыми красивыми цветами, между которыми красовалась особенно прекрасная *spiraea filipendula,* что попадались целые равнины, покрытые душистыми растениями, например Божьим деревом (artemisia abrotanum), что всюду виднелись многочисленные стада рогатого скота и лошадей, бродившие без пастухов, и что, наконец, во все время моего пребывания здесь стояла отличная погода. В то время как в Лифляндии лето стояло холодное и дождливое, в Азии оно было одно из самых теплых и сухих. Всякий день были грозы, но они скоро проходили и освежали воздух, не охлаждая его.

Другим развлечением служили мне долгие и частые прогулки по берегам Тобола. У берегов этой реки были особенные места, к которым собирались молодые девушки из города купаться и мыть белье. Это купанье представляло собою настоящие

гимнастические прелестные упражнения. Купальщицы то переплывали весь Тобол без малейшего усилия, то ложились на спины и неслись по течению, то резвились, преследовали одна другую, ныряли, опрокидывали и хватали друг друга, словом проявляли такую смелость, что неопытный зритель должен был ежеминутно опасаться, что которая-нибудь из них непременно сейчас утонет. Все это делалось, однако, очень прилично. Из воды виднелись одни только головы и трудно было бы различить пол купающихся, если бы, по временам, они не обнаруживали свои груди, что их нисколько, по-видимому, не стесняло. Прежде нежели выходить из воды после купанья, они просили любопытных удалиться; если им в этом отказывали, то женщины, стоявшие на берегу, составляли тесный круг около той, которая выходила из воды, и каждая давала ей что-либо из ее одежды, так что она быстро появлялась совершенно одетою.

Я всегда встречал этих девушек веселыми, улыбающимися и в хорошем расположении духа. Капитан-исправник, большой поклонник прекрасного пола, часто приходил по вечерам ко мне в то время, когда красавицы Кургана отправлялись за водою, садился у моего окна и наблюдал за проходившими. Он называл многих из них по имени, хвастался благосклонностью некоторых из них, и полудружественный и полустыдливый вид, с которым некоторые из них кланялись ему, проходя мимо, доказывал, что он говорил правду.

Частые посещения жителей Кургана сделались мне наконец в тягость, хотя я и не мог не видеть в этом доброго их ко мне расположения.

Регистратор или что-то вроде этого, живший против меня, видя что я курю по временам трубку у окна, сам большой любитель курения, объявил мне, что будет приходить всякое утро курить и проводить со мной время. Я должен был употребить все усилия, чтобы отклонить его от этого намерения, так как ни он, ни другие обыватели Кургана не могли понять, как могу я сидеть дома постоянно один и любить уединение; они не подозревали, что, имея в руках сочинения Сенеки и образ милой супруги в сердце, не бываешь один.

Сочинениям Сенеки обязан я многим, даже всем; не думаю, чтобы в продолжение восемнадцати веков нашелся бы человек столько его благословлявший и столько уважавший его память, как я. Часто, когда отчаяние проникало в мое сердце, я протягивал руки к этому другу, доставлявшему всякий день душе моей утешение, порождаемое терпением и мужеством. Сходство судеб наших делало мне его еще милее. Он был также изгнан из родины, был также невинен и томился восемь лет на пустынных

скалах Корсики. Описание его положения, сделанное им самим, чрезвычайно напоминало мне мое собственное; он жалуется на суровый климат, на дикие нравы жителей, на грубый и чуждый для него язык; все это совершенно подходило к моему положению. Но в особенности приводили меня в восторг сильные и энергические места в его сочинении, его прекрасные изречения по поводу страха смерти. Я тщательно собрал их, освоил с ними мой ум и сердце и носил их всегда с собою, как Фридрих Великий тот благотворный яд, которым предполагал воспользоваться, когда убедился бы, что все потеряно. Я не в силах лучше описать состояние души моей и доставить каждому несчастливцу, который прочтет эти страницы, более действительного утешения, как познакомив его с некоторыми из этих изречений, которые мне удалось постоянным их повторением запечатлеть не только в моей памяти, но и в моем сердце. Вот они:

> Самое последнее из страданий может ли быть большим злом? Неужели трудно привыкнуть презирать смерть? Не случается ли рисковать ею всякий день, из пустяков, например из корысти? Раб, чтобы избегнуть гнева своего господина, кидается вниз с крыши; беглец, опасаясь быть пойманным, закалывает себя. Почему же мужество не могло бы вызвать тех же последствий, что страх?
>
> Потеря жизни есть единственная вещь, о которой нельзя сожалеть впоследствии.

> Ты попадаешь в руки врага, он тебя уводит… куда? Без него ты шел бы тою же дорогою, какою следовал со дня твоего рождения. Разве только с сегодняшнего дня замечаешь ты меч, висящий над твоею головою? Смотри поэтому спокойно на приближение твоего последнего часа для того, чтобы страх, внушаемый им, не отравил бы все остальные часы…

> Долгая жизнь — вот цель всех людей; они мало заботятся о том, чтобы она была честною и благоразумною, между тем от воли твоей зависит украсить жизнь добродетелью, но ты не властен ее продлить.
>
> Смерть есть порог жилища спокойствия, а ты между тем дрожишь, переступая оный.
>
> Мы все — большие дети, которые страшатся смерти точно так же, как страшатся маленькие дети самых

близких своих родственников, когда они надевают на лицо маски. Кто может быть нам ближе смерти? Сорви с нее мужественно личину, отними у нее топор, веревку, лиши ее спутников, докторов, священников и всех погребальных принадлежностей; и что же останется? ничего кроме смерти.

Стоны и рыдания да не смущают тебя; это не смерть; это только боль. Всякий человек, одержимый подагрою, всякий истощенный распутник, всякая женщина при родах испытывают боль. Чем боль сильнее, тем она короче.

Я умру, то есть я перестану страдать; я освобожусь от оков, я перестану тосковать об участи моей жены, моих детей; я перестану быть рабом даже самой смерти.

Смерть освобождает тебя от всех страданий, даже от страха, ею внушаемого…

Не умираем ли мы всякий день? Ребенок растет, но жизнь его уменьшается. Мы разделяем со смертью каждый наш день. Мы осушаем чашу не при последней капле; умереть ничто иное, как завершить смерть.

Пока живешь — учись умирать, хотя ты только один раз всего будешь в состоянии применить к делу то, чему выучишься. Научаться умереть — это разучаться быть рабом.

Дети и безумцы не страшатся смерти. Как унизительно для разума не дать нам того, что доставляет безумие.

Опять становиться тем, чем были, — вот что значит умереть. Светоч после того, как он погас, неужели несчастливее, чем он был до того, как зажгли его. Не представляем ли мы собою светочи, которые гасит и зажигает пламенное дыхание природы. Ветер часто, правда, колышет огонь, но до дуновения и после него царствует глубокая тишина.

Думать, что смерть только следует за жизнью, есть заблуждение: она ей также предшествует. Кончить или не начать существовать, — это одно и то же.

Смерть — цель нашего странствования, или просто место отдохновения, в котором мы меняем одежду; в последнем случае тем лучше для нас; мы выигрываем

потому, что одежда наша стесняла нас со всех сторон. Но если смерть есть цель нашего странствования, то не стоило и предпринимать его: однако утомленные, мы засыпаем и не боимся сна.

Мы только плавали вдоль берегов жизни. Детство, отрочество, зрелый возраст проносятся быстро мимо наших взоров, как города и села мимо глаз мореходцев. Наконец мы замечаем гавань и принимаем ее, безумцы, за подводный камень.

Рабство тяжко; но кто же принуждает тебя быть рабом? Тысячи путей ведут к свободе, — пути легкие и короткие. Благодари Богов, не принуждающих никого жить насильно.

Чтобы быть счастливым, не надо жить долго, надо жить весело. Поэтому мудрец живет не сколько может, но сколько хочет. Если несчастие нарушает его спокойствие, он избавляет себя от бремени. Ему решительно безразлично ожидать смерти или идти ей навстречу, осушать чашу по каплям или одним залпом. Кто избавляется от опасности жить несчастливо, тот живет хорошо.

Телесфор, обыватель Родоса, был трус; заключенный в клетку тираном, его притеснявшим, и получая пищу как дикий зверь, он говорил: «Пока живу — надеюсь». Неужели можно приобретать жизнь всякою ценою? Вы говорите, судьба может сделать все для существа, которое живет, а я утверждаю, что она не может ничего сделать человеку, умеющему умереть.

Сколько раз открывают себе жилы, чтобы уменьшить головную боль, а вы будете колебаться открыть себе жилы, чтобы уменьшить скорби несчастной жизни?

Встречаются защитники добродетели, утверждающие, что самоубийство — преступление, точно так же как встречаются собаки, которые лают на вас, когда вы приближаетесь к дверям свободы. Творец был более сострадателен. Одна дорога ведет к жизни, но тысячи ведут к выходу из нее.

Я могу выбрать дом, в котором буду жить, и корабль, на котором поеду; неужели я не властен выбрать себе тот род смерти, который должен привести меня за пределы

гроба?

> Долгая жизнь не всегда бывает самое худшее. Поэтому смерть должна повиноваться нашей воле. Мы должны дать другим отчет в нашей жизни; в смерти же нашей мы обязаны отчетом только самим себе.

Не стану отрицать, что в числе этих изречений есть довольно мишурные; но кто же может упрекать меня, если в моем положении я уклонялся от тщательного рассмотрения их прежде нежели усваивал их себе. Я видел, что чрез несколько месяцев исчезнет последняя моя надежда; я представлял себе, что жена моя сделалась жертвою печали и могилы; что Обольянинов (генерал-прокурор Павла I), для нас более страшный чем смерть, препятствует ей соединиться со мною; что мои денежные средства истощатся к лету; что я буду принужден работать как простой чернорабочий при тридцати градусах для добывания себе куска хлеба и стакана кваса; я представлял себе такую жестокую будущность; что же оставалось мне кроме смерти?

Мое намерение было зрело обдумано и план составлен. Если бы моей жене удалось приехать ко мне, я придумал последний и единственный способ для моего бегства. Мое предположение основывалось на том, что можно было проехать Россию из конца в конец, не подвергаясь никакому осмотру. План мой состоял поэтому в следующем:

Я приказал бы сделать в моей большой комнате дощатую перегородку и поставил бы в одном из углов большой шкаф с платьями. После этого я бы жил с моим семейством спокойно и видимо довольный месяца два. К концу этого времени я стал бы выказывать постоянно увеличивающееся ослабление здоровья и наконец расстройство ума. Это продолжалось бы тоже месяца два. Наконец, однажды вечером, в темноте положил бы я на берегу Тобола, около проруби, из которой берут зимою воду, мою шубу и меховую шапку; сделав это, я бы пробрался тайно к себе домой и спрятался бы в шкафу, в котором была бы заранее сделана отдушина.

Жена моя объявляет всем, что я исчез. Меня повсюду ищут и находят только мою одежду. Все признают, что я кинулся в воду; найденное собственноручное письмо мое извещает о моем намерении лишить себя жизни. Жена моя в отчаянии. Она лежит по целым дням в постели, а по ночам снабжает меня пищею. Об этом происшествии доносят в Тобольск и в Петербург. Там кладут это донесение в сторону и меня позабывают. Некоторое время спустя жена моя понемногу поправляется и просит себе паспорт

на проезд в Лифляндии), в чем ей не могут отказать. Она покупает большие крытые сани, в которых человек мог бы лежать во всю длину своего роста; это единственный экипаж, способный к исполнению такого предприятия. Я ложусь на дно саней, меня прикрывают подушками и разными вещами. Жена моя, помещающаяся на сиденьи, дает мне воздуху по мере надобности. Если силы не покинут меня дорогою, я могу быть уверен, что беспрепятственно доеду до дверей моего дома в Фридентале, потому что, как я сказал выше, внутри России никого не осматривают дорогою. Можно проехать от Полангена до Чукотского Носа без того, чтобы кто-либо полюбопытствовал узнать, что вы с собою везете.

Главное условие успеха заключалось в том, чтобы придать вероятие моей смерти; но это было тем легче сделать в Кургане, что обыватели были все люди простые, не подозрительные и не способные проследить всю нить столь хитро задуманного плана.

Приехав в Фриденталь, мне было бы легко прожить некоторое время вдали от всех. Кроме того, в Эстляндии я имел много друзей, на которых мог положиться так же, как на свою жену. Кнорринг и Гук доставили бы меня таким же способом в Ревель, а великодушный Унгерн-Штернберг переправил бы оттуда в свое имение, около Гапсаля, а потом водою на остров Даго; там я сел бы на рыбачью лодку и переехал бы в Швецию, на что при попутном ветре требовалось всего часов двенадцать. Повторяю, все зависело от моего здоровья, т. е. позволило ли бы оно мне выдержать трудности такого переезда, потому что для человека, имевшего счастье обладать такою женою как моя и преданными друзьями, план этот представлялся удобоисполнимым.

План бегства, задуманный мною в Лифляндии, — о чем теперь я могу смело говорить — имел те же самые основания. Я хотел распространить молву, что утонул в Двине, а сам скрылся бы в развалинах Кокенгузена. Лёвенштерн для видимости заставил бы искать мой труп в этой реке. После всех поисков, оказавшихся тщетными, Щекотихину послали бы удостоверение о моей смерти; обо мне скоро забыли бы в Петербурге, и мои друзья могли бы легко спасти меня вышеизложенным способом.

Но выполнение моего плана казалось несравненно легче в Кургане. Не трудно понять, что тело, попавшее под лед в Тоболе, не могло быть отыскано, между тем как бесплодные поиски в Двине, не покрытой льдом, могли бы возбудить подозрение. К тому же в Сибири не редкость, что несчастные оканчивают свои страдания самоубийством.

Мысль моего друга Киньякова состояла в том, чтобы я, хорошо переодевшись, присоединился бы к одному из караванов,

возвращающихся из Китая. Он сам бы попытался спастись этим путем, но этот благородный человек опасался ухудшить положение своих братьев. Для меня же это предприятие было неисполнимо; необходимо было быть природным русским, или по крайней мере знать русский язык настолько хорошо, чтобы иметь возможность выдать себя за русского ямщика. Поэтому я остался при своем плане и написал немедленно жене моей, чтобы она привезла с собою все необходимые для этого вещи и в каждом письме намекал ей о своем намерении словами: «если ты ко мне приедешь, то ты будешь для меня дороже, нежели Лодоиска для своего Лувэ». В Кургане нашел я доброго человека, вызвавшегося доставлять мои письма жене моей без всякой о том просьбы с моей стороны; он доставил ей одно из них гораздо скорее, нежели шли письма обыкновенным путем. Если я не называю его имени, то причину этого угадать не трудно; сердце мое несметное число раз произносит его имя за молитвою.

Как жалею я несчастных желчных философов, приписывающих природе человека врожденную, первобытную испорченность. Мои страдания подтвердили мое мнение, что человек может доверяться человеку. Как мало встречал я людей жестоких и нечувствительных во время моих бедствий; как мало людей, похожих на сурового Щекотихина, или на сладкого Простениуса. Да, я говорю это с полным убеждением. Сделайся несчастлив, и везде найдутся друзья; в самых отдаленных местах, в самых пустынных странах ты найдешь всегда сердца и руки, готовые встретить тебя с объятиями.

К числу таких людей в особенности принадлежат честные и добрые обыватели Кургана. Они всегда приглашали меня на свои праздники, заставляли делить с ними каждое удовольствие, каждый лакомый кусок. При приезде моем они не знали, что я сочинитель, но одна статья московской газеты, в которой говорилось о лестном приеме, оказанном мне в Германии, сообщила им о моем литературном существовании и увеличила в глазах их мое значение. Добродушие и предупредительность, с которыми они старались рассеять меня и привлекать в свое общество, нередко тяготили меня, потому что с одной стороны я мало был расположен тогда к общественной жизни, а с другой — самое общество их представлялось мало привлекательным для европейца, как я, избалованного лучшим обществом.

Приведу пример. Заседатель, Иуда Никитич, праздновал день своего ангела, который в России, как известно, считается гораздо важнее дня рождения. Однажды утром он пришел ко мне и пригласил к себе к двенадцати часам. Я пришел и застал там всех именитых жителей Кургана. При моем входе меня

приветствовали радостным криком пять человек, называемых здесь певчими; они, стоя спиною к гостям и прикладывая правую руку к губам, чтобы усилить звук, орали во все горло в одном из углов комнаты. Так встречали каждого входящего. На громадном столе стояло блюд двадцать, но не было ни приборов, ни стульев вокруг. Это имело вид завтрака или закуски. Преимущественно тут находились пироги, приготовляемые обыкновенно с говядиною, но на этот раз с рыбою, по случаю поста. Кроме этого, стояло множество холодной рыбы и несколько пирожных. Хозяин с большою бутылкою водки в руках ходил по комнате и торопился угощать своих гостей, которые постоянно пили за его здоровье, но к величайшему моему изумлению не обнаруживали ни малейших признаков опьянения. Вина совсем не было и вообще во всей Сибири я нигде и ни у кого не пил вина, за исключением губернатора в Тобольске; это вино было довольно сносное, русское, которое он получил, если я не ошибаюсь, из Крыма. Вместо вина Иуда Никитич угостил нас другою редкостью, именно *медом,* напитком, который очень ценится в Сибири, так как в этой стране нет пчел; однако все гости, кроме меня, предпочитали водку.

Я ждал каждую минуту, что отворят дверь в другую комнату и попросят садиться за стол; но нет: гости понемногу, друг за другом разошлись; надо было и мне последовать их примеру.

— Что же, это конец? — спросил я Грави, шедшего со мною.

— О нет, — отвечал он, — каждый уходит домой спать, а в пять часов снова все соберутся.

К назначенному часу я опять явился. Сцена несколько изменилась; большой стол по-прежнему стоял посреди комнаты, но вместо пирогов, рыбы и водки на нем красовались во множестве сладкие пироги, миндаль, изюм и китайские варенья, отменного вкуса; из числа их особенно выдавался род желе или компота из яблок, нарезанных ломтиками.

Теперь появилась хозяйка дома, молодая и привлекательная особа, и вместе с нею вошли жены и дочери гостей. Подали чай с французскою водкою, пунш, в котором сок клюквы заменял лимон. Поставили карточные столы и составили бостон, тянувшийся до тех пор, пока спиртные напитки позволяли игрокам отличать карты. После ужина все наконец разошлись.

Не трудно поверить, что с моей стороны требовалось необычайное усилие для участия в подобных развлечениях. Как счастлив был я, когда мог вернуться домой, вздохнуть свободно в своей комнате, или с ружьем на плече гулять вместе с благородным Соколовым.

Так протекали дни мои в Кургане. Я пользовался постоянно

хорошим здоровьем, что после многих лет, проведенных в болезнях, немало способствовало без сомнения тому, что ум мой просветлел. Я надеялся. Я представлял себе в воображении мое семейство, собравшееся вокруг меня. Вместе мы не могли быть несчастливыми даже в Кургане. Это было мое убеждение, и я знал, что жена моя разделяла этот взгляд.

Кроме того, это была не единственная и последняя моя надежда. Не представил ли я мою докладную записку государю? государю, без сомнения, любившему оказывать справедливость и не красневшему исправить порыв увлечения или подозрения, вызванный в нем клеветой, государю, который, сам отец семейства, позволял правдивому голосу проникать в свое сердце, несмотря на все к тому преграды, воздвигаемые генерал-прокурором. С каким удовольствием желал я благополучного путешествия Щекотихину, сколько раз рассчитывал я дни и недели, необходимые для достижения Петербурга, дни и недели, необходимые для доставления известия о моей судьбе с устьев Невы до берегов Тобола. В конце августа, если все мои расчеты оказались бы основательными, я мог ожидать получения окончательного обо мне приговора.

Но я худо рассчитал! Слава Богу! я худо рассчитал!

КОНЕЦ ПЕРВОЙ ЧАСТИ

Содержание

Введение. — Письмо русского посланника к автору.

— Путешествие из Веймара в Берлин. — Совет русского посланника в Берлине. — Последний совет старика в Заневе, городе Померании. — Прибытие к границе России. — Арестование. — Отъезд в Митаву. — Событие в доме курляндского губернатора. — Надворный советник Щекотихин. — Приказание отправиться в Петербург и приготовления к этой поездке. — Сенатский курьер Александр Шульгин. — Горестная разлука с женою и детьми. — Открытие, что цель поездки Сибирь. — Намерение бежать и приготовления к этому. — Ночное бегство. — Скитание в лесах Лифляндии. — Надежда найти убежище в Штокманнсгофе. — Приключение в этом замке. — Господин Порстениус портит все дело. — Вторичное арестование. — Щедрость госпожи Лёвенштерн и ее семейства. — Отъезд из Штокманнсгофа. — Меры предосторожности, принятые против автора. — Редкое гостеприимство г. Коха. — Утешение надворного советника и курьера. — Гостеприимство русских крестьян. — Меры предосторожности, принятые против отчаяния

ссылаемых. — Полоцк. — Рапорт Щекотихина. — Смоленск. — Варварское обхождение. — Москва. — Возмутительный обман. — Неустрашимость, единственное достоинство Щекотихина. — Опасность погибнуть в Суре около Васильска. — Спутник в несчастий. — Старик 130-ти лет. — Генерал Мертенс. — Казань. — Гостеприимство, оказанное автору. — Собрание материалов для докладной записки государю. — Молодая татарка. — Последнее жестокое разочарование. — Поездка по пермским лесам. — Пермь. — Гроза. — Сибирские крестьяне. — Екатеринбург. — Открытие секретного письма. — Граница Тобольска. — Бедный сумасшедший старик. — Приезд в Тобольск. — Первое объяснение с губернатором. — Помещение в Тобольске. — Автор сдается полицейскому чиновнику. — Г. Киньяков. — Барон Соммаруга. — Удивительное поведение его жены. — Граф Салтыков. — Купец Беккер. — Психологическое явление. — Советник Петерсон. — Краткое содержание докладной записки государю. — Великодушие губернатора. — Дозволение нанять лакея. — Итальянец Русс, или Росси. — Внезапное ограничение свободы. — Нежная сострадательность тобольских купцов. — Описание различных разрядов ссыльных и обращение с ними. — Участь майора из Рязани. — Образ жизни автора в Тобольске. — Несчастное положение губернатора. — Описание Тобольска. — Рыбный рынок. — Театр. — Богатство. — Произведения земли. — Болезни. — Приказание оставить Тобольск. — Автор продает карету; обман. — Приготовления к отъезду. — Великая жрица Солнца. — История г. Грави. — Поляк Соколов. — Первая квартира. — Описание некоторых жителей города. — История поляка. — Помещение, нанятое автором; описание этого помещения. — Цена съестных припасов. — Скромный стол. — Образ жизни автора и его суеверие. — Соседние киргизы. — Охота. — Прогулки по берегам Тобола; женщины и девушки в Кургане. — Сенека. — Намерение бежать. — Описание празднества. — Заключение.

ЧАСТЬ II

Настало 7 июля. Утро было прекрасное. Я по обыкновению занимался составлением истории моих бедствий. Около десяти часов вошел ко мне г. Грави и после незначительного разговора схватил, по своей привычке, колоду карт и начал раскладывать гран-пасьянс. Этим он нередко выводил меня совершенно из терпения, потому что нужно было целые часы оставаться свидетелем столь бесцельного занятия. Этот хороший человек не подозревал, чтобы в Кургане кто-либо мог дорожить временем, и тем более ссыльный. Он занимался раскладыванием пасьянса до одиннадцати часов. В глубоком молчании и с сдержанным неудовольствием я ходил взад и вперед по комнате, ожидая, когда он кончит. Вдруг Грави спросил меня, не хочу ли я что-нибудь загадать на карты? Я с жаром отвечал ему: «Спросите оракула, скоро ли я увижу мою жену?» Ответ получился благоприятный. Грави, смеясь, чистосердечно радовался тому, что Христина Карловна в скором времени приедет ко мне.

Наконец он вспомнил, что имеет еще кое-какие дела и удалился, а я снова сел за мой стол и начал писать. Через несколько времени в комнату вошел мой лакей Росси и прервал меня среди фразы, сказав: «Вот еще какая-то новость».

Я едва обратил внимание на его слова, полагая, что он хочет угостить меня каким-нибудь рассказом о новом любовном похождении (со времени нашего приезда сюда он имел их уже более двадцати) и, не оставляя пера, слегка обернулся и спросил его:

— Что же такое?

— Сейчас приехал драгун, — ответил он, — чтобы вас взять!

Испуганный этим известием, я вскочил со стула и устремил вопросительный взгляд на Росси, не будучи в силах промолвить слова.

— Да, да, — продолжал он, — мы, быть может, еще сегодня же уедем в Тобольск.

— Как?.. вот все, что я мог выговорить.

Вместо ответа Росси ввел человека, который видел драгуна, слышал его рассказ о данном ему поручении, сопровождал его до г. Грави и затем поспешил ко мне, чтобы первым сообщить эту новость. Впрочем, он сам не знал подробно содержания депеш, привезенных драгуном.

Чего же должен был я ожидать? свободы? Увы, нет; потому что зачем в таком случае везти меня обратно в Тобольск? Самая ближайшая дорога шла через Екатеринбург; зачем делать объезд

в пятьсот верст? К тому же ответ государя на мою докладную записку не мог последовать так скоро. Следовательно, мне предстоял только дальнейший путь из Тобольска в глубь страны, быть может в рудники, быть может в Камчатку? Я долго дрожал и был вне себя, пока, сделав над собою усилие, немного успокоился. Я поспешил взять тетрадь, в которой писал мои записки, и вместе с оставшимися у меня деньгами засунул ее под жилет. В продолжение десяти минут я ожидал в страшном волнении моего ареста. Эти десять минут принадлежат к числу самых ужасных, когда-либо мною пережитых.

Наконец я увидел из окна Грави, идущего по улице в сопровождении толпы народа. В толпе я заметил драгуна с пером на шляпе. Они были слишком далеко, чтобы я мог разглядеть выражение их лиц. Я был ни жив ни мертв.

Шатаясь, прошел я по комнате и, снова приблизившись к окну, увидел черты лица Грави, показавшиеся мне очень радостными. Луч надежды промелькнул в душе моей; впрочем, я все еще находился в величайшем беспокойстве.

Наконец все вошли во двор. Грави, заглянув в окно и заметив меня, сделал мне веселый дружеский знак. Сердце мое облегчилось. Я хочу выбежать ему навстречу, но не в силах этого сделать. Я остаюсь недвижим, с глазами, устремленными на дверь моей комнаты. Она отворяется. Я хочу говорить, спрашивать: не могу и молчу.

— Поздравляю, вы свободны! — говорит Грави, бросается мне на шею и заливается слезами радости.

Я ничего не вижу и не слышу, чувствую только его слезы, а сам не проливаю их. Все вокруг громко меня поздравляют; всякий старается первый обнять и поцеловать меня. Росси прижимает меня к своей груди. Я позволяю им делать со мною все, что они хотят, смотрю на них в молчаливом изумлении и не могу ни благодарить их, ни вымолвить ни слова.

Драгун вручает мне письмо от губернатора. У меня достало силы распечатать конверт и прочесть следующее:

> «Милостивый Государь!
>
> Радуйтесь, но умерьте ваши восторги, этого требует слабость вашего здоровья. Предсказание мое сбылось. Я имею приятное удовольствие сообщить вам, что наш всемилостивейший монарх желает вашего возвращения. Требуйте все, что вам нужно; вам все доставят, о чем уже сделано распоряжение. Спешите и примите мой привет.
>
> Ваш покорнейший слуга Д. Кушелев».

Каждая строка этого письма на французском языке глубоко

врезалась в мое сердце. Губернатор прислал мне в то же время кипу газет и небольшое поздравительное письмо от купца Беккера, присутствовавшего случайно при отправке драгуна; Беккер предлагал мне остановиться у него на квартире по приезде в Тобольск.

Грави вынул из кармана приказ, полученный им, и прочел мне его. В приказе говорилось, чтобы меня снабдили всем необходимым и даже деньгами и немедленно бы отправили.

Я все еще не мог владеть языком; но поток слез облегчил меня, я плакал долго и сильно. Большая часть присутствующих плакала вместе со мною.

Вдруг Соколов кинулся ко мне на шею, обнял меня крепко руками и разразился горькими рыданиями.

— Вот я опять один и покинут всеми, — воскликнул он с живым умилением, — но что же делать? Богу известно, что я искренно радуюсь вашему освобождению.

Все почетные обыватели Кургана собрались в моей квартире; комната едва вмещала их; каждый хотел выразить свою радость и сказать мне что-нибудь ласковое. Благородный Грави, полагая, что такое множество посетителей, быть может, меня стесняет в такую минуту, понемногу удалил их и пригласил меня к себе обедать; но я отказался, потому что не мог ни есть, ни пить от радости.

— Когда предполагаете вы уехать? — спросил он меня.

Я ответил, что часа через два.

— Что же вам нужно?

— Лошадей.

Он ушел, улыбаясь, и я остался один. Не буду пытаться описывать состояние моей души. Ноги мои дрожали, а между тем я решительно не мог сесть; я ходил беспрестанно взад и вперед по моей комнате; у меня не было никаких мыслей; я испытывал только внешние ощущения, и лишь какие-то неопределенные образы мелькали в моей голове.

Мне представлялось, что моя жена и дети летают вокруг меня в каком-то облаке. Я скоро почувствовал, что начинаю бредить; я был совершенно истомлен. Я хотел принудить себя последовательно о чем-нибудь думать, размышлять, или наконец прочесть газеты, чтение которых мне всегда нравилось; но это было тщетно. По временам слезы навертывались на моих глазах и все, что я мог произнести, заключалось в восклицании: Боже мой! Боже мой!

Наконец, несколько овладев собою, я заметил, что в чашу меду, поднесенного к губам моим, примешано несколько капель дегтю. Драгун, которому я в первых порывах радости сделал

подарок, далеко превышавший мои средства, сообщил мне между прочим, что из Петербурга приехал сенатский курьер, чтобы везти меня обратно, но, получив приказание ехать только до Тобольска, курьер этот отказался направиться за мною далее и что поэтому губернатор не мог избавить меня от объезда. Это разъяснило мое недоумение; но драгун не мог дать ответа на другой гораздо более важный для меня вопрос, а именно: привез ли курьер мне письмо от жены или, по крайней мере, какие-нибудь о ней известия? Он этого не знал, и мне казалось очень вероятным, что курьер не имел никаких для меня писем, так как известное мне человеколюбие губернатора побудило бы его справиться об этом у курьера и сообщить мне в своем письме. Разве он не знал, до какой степени был я привязан к моему семейству? Не видал он разве, какие я проливал слезы? Не присоединял разве он часто к моим слезам и свои? А между тем он хранил молчание: без сомнения он скрывал от меня что-нибудь ужасное.

Я был изобретателен на муки для самого себя. К счастью, приготовления к отъезду развлекали меня. Мною овладевало детское нетерпение. Все было положено кое-как в дорожный мешок и брошено в кибитку. Я спешил исполнить мою последнюю обязанность в Кургане — проститься с моими хорошими приятелями. Следует ли говорить, что я не оставался ни у кого из них долее нескольких минут. Я пробыл более продолжительное время лишь у милейшего Грави, он потребовал от меня пожертвования, казавшегося мне очень тяжким, но в котором я не в силах был отказать его настойчивым просьбам.

Седьмого июля был церковный праздник, истинное значение и смысл которого я никогда не мог постигнуть. Он состоял в том, что образ святого переносили из соседней деревни в город. Из города выходили навстречу также с образом и затем сопровождали первый образ в городскую церковь, читали и пели там разные молитвы, а вечером уносили его обратно в деревню. Все городские жители с пением сопровождали этот образ во время шествия. Добрый Грави считал своею обязанностью идти во главе процессии и принудил меня, вопреки моему желанию, принять в ней участие. Он уверял меня, что это продолжится не более получаса — и я отправился.

Мы встретили деревенский образ около городской черты; его несли шесть деревенских девушек, очень красивых, со священником впереди; все пели и крестились. Образа двух святых преклонили один перед другим; мы все пошли обратно в город и поставили деревенский образ в городскую церковь. После этого я побежал домой, чтобы окончить приготовления к отъезду.

У дома я встретил Соколова очень грустного: он в

задумчивости ходил по двору. Еще накануне говорили мы друг другу, что ежели один из нас получит свободу, то другой сделается вдвое несчастнее. На другой день это и случилось; но мы, однако; не упоминали об этом. Я подарил ему мое ружье, охотничью сумку, все мои снаряды и все, что было мне излишним теперь. Он принял все это молча, но в глазах его, подернутых слезами, я читал слова: «я предпочел бы, чтобы ты остался».

Я умолял его дать мне письма к его семейству и обещал, что буду считать священной своей обязанностью доставить их; но совесть его, до крайности строгая, не дозволила ему на это решиться. Он не хотел ни в чем нарушать строгого приказания, ему данного, и старался все переносить, не допуская себе ни малейшего нарушения.

Мысль, что этот достойный человек был бы в Кургане счастливее, если бы не встретил во мне товарища по несчастию, отравила на время радость, которую я ощущал, будучи освобожден. Действительно, я был причиною того, что он вернулся к забытым им привычкам и привязанностям; он начал посещать вместе со мною общество, развлекаться; он мог поверять мне свое горе, я всегда готов был слушать его и сочувствовать ему; внезапный мой отъезд повергал его в прежнее одиночество. Я предполагал извлечь его из мрачного жилища и взять на зиму к себе; мой отъезд принуждал его по-прежнему жить в лачуге. Я плакал, крепко прижимая его к моей груди; он вышел из комнаты со слезами. Я не видал его более, потому что при отъезде, когда все жители собрались на дворе, Соколова не было между ними.

Нужно было еще целый час ждать лошадей. Никогда я не испытывал такого сильного нетерпения. Я едва был в состоянии благодарить жителей Кургана за выказываемое ими мне расположение. Один потчевал пуншем, другой нагружал кибитку съестными припасами, третий давал мне горшки с огурцами и т. п. Мне бы пришлось идти пешком около кибитки, если бы я взял с собою все предлагаемые мне подарки. Да благословит вас Бог, добрые жители! Я не увижу вас более, но воспоминание о вашем гостеприимстве навсегда останется в моем признательном сердце.

Наконец заложили лошадей. Все по очереди меня расцеловали и усадили в кибитку. Добрый старик Грави сел возле меня, желая во что бы то ни стало проводить меня за черту города. Пожелания и благословения сопровождали меня со всех сторон. Я плавал в море наслаждений.

Проехав около двух верст, Грави приказал остановить лошадей, обнял меня, крепко поцеловал, пожал руку, со слезами

на глазах вышел из кибитки и направился к городу; но снова вернулся, опять пожал руку и, сказав: «с Богом!», направился в город. Я обернулся, следил за ним глазами и осматривал с умилением место моей ссылки. Отбросив все грустные грезы о моем несчастий, я приказал ямщику ехать скорее.

На этот раз я мог миновать Тюмень, так как воды, большею частью, уже спали. Снабженный покрывалом от комаров, защищавшим мою голову, я мог свободно ехать всю ночь; без такого покрывала решительно нельзя путешествовать по Сибири летом. Здешние комары ничем не отличаются от наших, за исключением цвета; но они гораздо беспокойнее и более алчны к крови, нежели европейские.

Под утро я заснул; после легкого сна пробуждение было для меня новым наслаждением. Я вспомнил все, что произошло со мною в последний день, и та минута, когда мысль о моей свободе представилась мне с полною ясностью, была божественна.

Около полудня проехали мы небольшой город Ялуторовск. Тут жило множество сосланных и в числе их князь Сибирский (prince Simbirsi), бывший генерал-аншеф, отправленный в ссылку за допущенные им при поставке сукон злоупотребления, в которых он сам не был виноват, но которым, однако, потворствовал. Нельзя предположить, чтобы он заслуживал то строгое наказание, которому подвергся, и тем более способ, каким оно было приведено в исполнение. В кандалах и оковах его привез в Сибирь провожатый, втрое более суровый нежели мой Щекотихин; несмотря на слабое здоровье и тяжесть оков, князь должен был уступать ему свое место в телеге и идти пешком. Кроме того, он подвергся самым унизительным оскорблениям со стороны своего спутника, обращавшегося с ним всю дорогу крайне скверно и дерзко. Впоследствии дело его было пересмотрено, он был оправдан, и все чины и почести были ему возвращены.

Однако ж негостеприимные берега Тобола доставили ему счастливую минуту, усладившую его страдания и возбудившую во мне зависть.

Во время переезда из Тобольска в Ялуторовск, назначенный ему местом ссылки, он был принужден, как и я, по случаю разлития вод, сделать большой объезд в несколько сот верст. В то самое время, как он собирался переезжать Тобол, он увидел на противоположном берегу лодку с несколькими людьми, нагруженную вещами.

Представьте себе его радость, когда он узнал в этих путниках свою жену и детей.

Он громко закричал; ему ответили с того берега знакомые,

дорогие его сердцу голоса; к нему протягивались руки; он бросился в воду и вплавь достиг лодки, где его ожидали горячие объятия. Боже, какая минута! Мне это рассказывали с умилением крестьяне, бывшие свидетелями этой трогательной встречи.

Во время проезда моего через Ялуторовск, князь лежал больной, но, по крайней мере, находился среди своей семьи и был предметом самой нежной заботливости.

Нигде не встречал я таких тучных пастбищ, как здесь. Их косит кто хочет, и большая часть лугов остается не скошенною за недостатком рабочих рук в летнюю пору и по неимению того количества скота, которое бы съело все это сено зимою.

Не могу умолчать о феномене, встреченном мною в одной деревне близ Ялуторовска. Это был мальчик лет восемнадцати, совершенно слабоумный, ходивший на руках и на ногах как медвежонок; он мог бы служить подтверждением предположения, что человек первоначально создан был с такого рода походкою. Он не только ходил довольно скоро, когда хотел, но и держал при этом голову, как все люди, т. е. совершенно прямо, вертикально; должно быть, шейные мускулы его очень привыкли к такому положению. Впрочем, он очень редко становился прямо на ноги, как все люди, и предпочитал ходить на четвереньках подобно медвежонку.

Дорогою между Ялуторовском и Тобольском встречается множество деревень, населенных татарами. Народ этот, по моему мнению, не заслуживает вовсе того презрения, с которым обращаются с ним русские, покорившие его. Неожиданно сломавшаяся в пути ось у моей телеги дала мне возможность несколько познакомиться с этим народом.

Эта дорожная неприятность случилась со мною вечером и довольно поздно. Немедленно несколько татар прибежали помогать нам; один из них был нечто вроде плотника. Я приказал остановиться перед его домом и, узнав, что поправка будет продолжаться, по крайней мере, часа три, приказал человеку моему приготовить самовар.

Внутренность татарских изб была очень грязная; я предпочел провести прекрасный летний вечер на воздухе, приказал принести себе стол и стул и открыл дорожный ящик, чтобы вынуть все необходимое для приготовления и питья чая. Любопытство привлекло ко мне всех жителей деревни, по-видимому, совершенно не знавших тех вещей и принадлежностей, которые могут быть причислены к предметам роскоши.

Старый шелковый халат, надетый на мне и до того поношенный, что моя жена не раз намеревалась его бросить, привлек их внимание до такой степени, что каждый непременно

хотел ощупать халат руками.

Но что привело их в совершенный восторг — это зеркало, находившееся на внутренней стороне крышки моего дорожного ящика. Я вынул зеркало и дал его прежде всего хорошенькой жене плотника, которая сперва гляделась в него украдкой, но понемногу свыклась и стала любоваться собою с большим удовольствием, так как была очень красива.

Мне показалось вообще, что татарские женщины здесь не так тщательно скрывают свои лица как в Казани; по крайней мере, все те, которых я видел, были без покрывала.

Когда чай был готов, я закурил трубку и сел на бревна против дома хозяина. Ночная картина была очень живописна: человек двадцать татар сидели вокруг меня на различных уступах, образуемых бревнами; у ног моих был разведен огонь, около которого работал плотник; через дорогу, близ дома, стояли татарские женщины, девушки и дети, слишком робкие, чтобы перейти на мою сторону. Между мною и ближайшими моими соседями завязался очень оригинальный разговор. Узнав, что я не русский, татары сделались смелее, доверчивее и принялись расспрашивать меня: кто я такой, куда я еду, где моя родина, как там живут и пр. и пр. Мы одинаково худо говорили по-русски, и нам стоило неимоверных усилий понимать друг друга. Услыхав от меня, что я родом саксонец, они долго шептались между собою по-татарски и наконец спросили меня, не находится ли Саксония на берегу Каспийского моря? Я не знал, как им дать понятие о географическом положении этой страны; они не знали никаких составных частей Германии. Одна Пруссия была им известна, но и о ней они имели самые смутные понятия. Они никогда ничего не слыхали о Франции, о ее войнах и о совершившейся в ней революции. Счастливый народ!

Молодая женщина, приручennая немного зеркалом, подошла между тем поближе, желая принять участие в разговоре. Я не замедлил спросить ее, сильно ли распространено между татарами многоженство? Оказалось, что во всей деревне только два человека имеют нескольких жен, и одним из них был мой хозяин.

В свою очередь они также предложили мне вопрос: не нахожу ли я более приятным иметь несколько спутников? Каждый из присутствовавших старался доказать мне пользу и выгоды многоженства. Когда женщина становится старою, говорил один, к ней присоединяют другую, более молодую. Когда одна ворчит, прибавил другой, другая смеется и резвится.

— Очень хорошо, — ответил я, — но приходится ли такой порядок по вкусу вашим женам?

Сказав это, я обратил свой взгляд на мою красивую хозяйку.

Ей перевели и объяснили мои слова, так как она очень мало понимала по-русски.

Она улыбнулась и два или три раза покачала головою, как бы желая сказать: вы имеете основание сомневаться. Потом она боязливо повернула голову к стороне дверей дома, у которых сидела женщина лет сорока противной наружности и, по-видимому, ее товарка, сожительница. Я следил за ее взорами, и мне живо представилась ее внутренняя домашняя жизнь в этом доме.

Я, видимо, приобрел благосклонность этой молодой женщины участием моим к судьбе ее пола, потому что немного погодя она принесла без всякой о том просьбы с моей стороны горшок, наполненный яйцами, поставила его на огонь, разложенный у моих ног, и села около него таким образом, что пламя ярко-красным цветом освещало ее лицо. Сварив яйца, она положила их на деревянную тарелку и подала мне.

Я никогда не имел такого удобного случая, как теперь, убедиться в глубокой, закоренелой ненависти татар к русским. Мой драгун прилег и заснул; я и мой человек были иностранцы; татары могли выражаться свободно — и без малейшей осторожности начали всячески бранить русских в лице драгуна.

Татары, насколько я мог изучить их характер, по моему мнению, откровенны, честолюбивы, понятливы, восприимчивы, раздражительны и мстительны. Мужчины большею частью красивы, сильны, большого роста.

При таких нравственных и физических качествах невозможно, чтобы обращение с ними русских не возбуждало бы в них ненависти. С ними обходятся точно так же, как с некоторыми проклятыми финскими племенами. Слово *татарин* в здешних местах такое же бранное, как и слово *чухонец* для несчастных обитателей северных берегов Балтийского моря. С татарами обращаются самым жестоким и унизительным образом. Если с русским случится какое-либо приключение дорогою, он требует содействия от первого попавшегося ему навстречу татарина, как от раба, не заикаясь о какой-либо плате или благодарности за это; напротив того, он смеется перед татарами над Магометом; в то самое время, как они работают для него, он остается равнодушным зрителем их усилий. Однажды я видел, с каким едва сдержанным негодованием татарин переносил насмешки курьера Шульгина; когда последний издевался над Магометом, он бледнел от злости.

Я несколько утешил их, сообщив, что некоторые из мурз пользуются большим уважением в Петербурге. Я назвал

Державина, одинаково знаменитого как писателя и как государственного человека, к которому они могли бы в случае надобности обратиться.

Мой разговор доставлял им, по-видимому, такое же удовольствие, какое доставили мне их откровенное обхождение и доверчивость; но они все так близко столпились вокруг меня, что атмосфера наконец сделалась не совсем для меня приятною.

Впрочем, было уже время расстаться, потому что кибитка моя была готова. Плотник взял безделицу за работу и решительно отказался что-нибудь получить за свое гостеприимство. Мы расстались добрыми приятелями, и хотя эта маленькая остановка не особенно была мне по вкусу, так как я очень торопился ехать, но тем не менее я не мог не быть довольным проведенным здесь временем.

Я продолжал свой путь без всяких приключений и приехал утром девятого числа на последнюю станцию перед Тобольском.

Река находилась здесь еще в полном разливе, и я был принужден последние четыре мили проехать, как и в первый раз, на плохой лодке. Но погода была такая же превосходная, как и во время первого моего проезда, а расположение моего духа столь же ясное, как небо. Я снова видел те же самые предметы, но с совершенно различными ощущениями, и моя душа на этот раз походила на ту гладкую поверхность, по которой я тихо плыл.

В десять часов я прибыл в Тобольск. Хотя купец Беккер предлагал мне остановиться у него, но я колебался отправиться прямо к нему, не зная, как посмотрит на это губернатор. В моем положении я принужден был более всякого другого избегать по возможности всяких поводов навлечь на себя неприятность или ответственность.

Поэтому я предпочел отправиться в прежнее мое помещение; меня очень радушно встретили и поместили в тех же самых комнатах, которые я занимал прежде и в которых после меня жил уже другой несчастный. Я приказал драгуну предупредить о моем приезде губернатора и начал переодеваться, чтобы немедленно к нему явиться.

Приехавший за мною из Петербурга курьер, по фамилии Карпов (Carpow), жил в этом же самом доме, где я остановился, но он куда-то вышел, и я не мог обратиться к нему с животрепещущими и интересными для меня расспросами о моем семействе. Я пошел к губернатору и застал его, как и в первый раз, в саду. Он крепко обнял меня; лицо его сияло от радости.

Первый мой вопрос был о моем семействе. Увы! он ничего не знал и старался всячески меня успокоить. Он показал указ обо мне, содержавший в немногих строках повеление, писанное

рукою самого генерал-прокурора, о том, чтобы немедленно освободить некоего Коцебу, вверенного его надзору, и отправить обратно в Петербург, снабдив на казенный счет всем для него необходимым и желательным.

Курьеру, кроме того, предписывалось платить из казенных денег все расходы во время моей поездки.

В силу этого приказания губернатор просил меня сказать ему все, что мне нужно. Я имел еще сотню рублей и конечно не спросил бы ничего, если бы не опасался показаться гордым и раздражить государя, отвергнув как бы с пренебрежением его великодушные предложения. С другой же стороны, я боялся просить слишком многого; мне необходимо было одинаково избегать подозрения как в наглости, так и в заносчивости. Губернатор понял мое затруднение. Я просил его дать мне совет; он полагал, что, попросив триста рублей, я буду, так сказать, держаться золотой середины. Я последовал этому совету и желал только одного, чтобы меня отправили далее через два часа. Тщетно губернатор убеждал меня пробыть несколько времени в Тобольске; я ответил ему несколько резко, — что считаю как бы воровством у моей жены всякий час, замедляющий наше свидание. Он согласился с этим и, обратясь к своей подруге, с чувством объяснил ей по-русски сказанное мною. Он обещал дать все необходимые приказания, чтобы ускорить мой отъезд, и вызвался сделать распоряжение о возврате мне моей кареты. Я поблагодарил и отказался от этого, предпочитая скорее ехать в неспокойной телеге, нежели останавливаться на каждой станции для беспрестанных починок кареты.

Впрочем, я не мог выехать так скоро, как предполагал. Выдача мне трехсот рублей, от которых я охотно отказался бы, требовала некоторых формальностей. Необходимо было, чтобы канцелярия губернатора написала об этом казенной палате, которая собиралась в присутствие только до двенадцати часов. Теперь же оказалось уже слишком поздно, и я должен поневоле ночевать в Тобольске.

Я обедал у губернатора, а потом навестил своих хороших приятелей: Киньякова, Беккера и любезного Петерсона; они приняли меня со знаками самой искренней дружбы. Наконец, возвратясь домой, я увидел курьера, который, однако ж, ничего не мог сообщить мне о моем семействе. Особенная инструкция, ему данная и показанная им мне, доказывала, очевидно, что в Петербурге совершенно убеждены в моей невинности, так как предписывалось иметь всевозможное ко мне внимание дорогою и обходиться со мною *со всяким для меня удовольствием* (wsakie udowolstwie). Впрочем, для достижения этой цели сделали худой

выбор. Карпов был самый невоспитанный и неприятный молодой человек, до крайности ленивый, заботившийся только о своем удобстве; он ничем не стеснялся; ему было решительно все равно, ехали ли мы скоро или шагом; он не обладал даже способностью, свойственною подобным ему лицам, подгонять ямщиков и станционных смотрителей угрозами, бранью и напускной важностью. Видно было сейчас, что это пустой человек, и его невозмутимое спокойствие не раз доводило мое терпение до крайности. Впрочем, он был добрый малый, когда-то аптекарский ученик, очень способный исполнять кухмистерскую должность и есть пироги. Он был очень недоволен тем, что не мог остаться и понежиться в Тобольске еще несколько дней. При всем том он был очень жаден к деньгам; при первой же встрече я подарил ему сто рублей, но он остался недоволен, по-видимому, ожидая от меня более.

Весь вечер моя комната была наполнена разными лицами, приходившими меня поздравить; одних я знал ранее, другие же были мне совершенно незнакомы. Губернатор также посетил меня, и весь город торопился оказать мне подобную вежливость.

Первый раз в Сибири спал я сладким и спокойным сном. Я проснулся рано с приятною надеждою уехать около девяти часов; я нанял даже лодку к этому времени, но, увы, должен был ожидать до самого вечера, пока малозначащее для меня дело о выдаче трехсот рублей было решено, подписано и окончено. Я, быть может, должен считать счастьем такую задержку, потому что в течение всего дня была сильнейшая буря, которая могла быть пагубной для меня во время плавания. Я извлек из этой остановки еще другую выгоду. Я согласился из любезности взять с собою до Петербурга сына немецкого портного в качестве своего лакея; от меня скрыли, что этот мальчик страдает падучею болезнью, что было бы крайним для меня стеснением в дороге. Благодаря задержке в Тобольске, я успел узнать об этом и отделаться от такого спутника.

Впрочем, я с досадою остался обедать и ужинать в обществе моих приятелей в Тобольске. Вечером все было готово к отъезду, но ветер и дождь принудили меня остаться еще на несколько часов. Я отложил отъезд до трех часов утра и лег на кровать совсем одетый.

Я встал раньше всех, или, лучше сказать, я не смыкал глаз всю ночь. С рассветом я был уже на ногах и приказал разбудить моего ленивого спутника. Буря скорее усилилась, нежели утихла; тем не менее я решился ехать. В четыре часа достигли мы берегов Иртыша, и я с восторгом смотрел, как ставили кибитку на колыхавшуюся лодку. Я спросил одного из гребцов: опасен ли

переезд?

— Не очень, — ответил он.

Это *не очень* не было особенно утешительно, но желание ехать одержало верх над страхом и, несмотря на возражения моих спутников, я приказал переправляться.

Мой итальянец Росси провожал меня до берега. Он старался казаться тронутым расставанием со мною, но выказываемое им волнение было лишь притворством; оно проистекало единственно от невозможности долее меня обкрадывать. Хотя, кроме жалования, я подарил ему перед отъездом немало денег, тем не менее, осматривая свой дорожный мешок, я заметил, что он по-христиански поделился со мною моими пожитками. Я употребляю слово *поделился* в буквальном смысле, так как он оставил мне ровно половину того, что я имел и даже разрезал пополам единственную простыню, которая была у меня. Желаю ему наслаждаться на ней сладким и тихим спокойствием, в чем и не сомневаюсь, потому что совесть была ему неизвестна.

Наконец мы отвалили от берега; радость, которую я ощущал при виде воды, отделявшей меня от города, была неописанная. Я пристально смотрел на удалявшийся из глаз моих город, на массу домов, постепенно терявшихся вдали, и предавался бы этому прекрасному и трогательному виду, вероятно, довольно долго, если бы постоянно усиливающаяся буря, сильные удары волны, жестокая качка лодки, крики гребцов и кормчего не пробудили меня от моих грез.

Пока мы плыли по затопленным берегам и могли придерживаться леса, стоявшего в воде, — все шло благополучно, но опасность делалась очевидною, когда мы должны были пуститься в открытое море (прошу извинения за это смелое выражение) и переплывать место впадения Иртыша в Тобол. Лодку нашу страшно качало, волны ежеминутно заливали ее, необходимо было постоянно отливать воду. Никто не мог стоять в лодке, не подвергаясь опасности упасть немедленно в воду, и я видел момент, когда лодка наша, пересекая Тобол, стала поперек волн и готова была опрокинуться. Подобный случай был накануне. Мы все кинулись на противоположную сторону лодки, чем удержали ее равновесие и спаслись от гибели.

У противоположного берега находилось много до того мелких мест, что виднелась трава затопленных лугов; лодка наша часто садилась на мель.

Тогда гребцы должны были входить по пояс в воду, чтобы сдвинуть лодку с места, на что требовалось и много времени, и много труда.

Наконец, после семичасового переезда мы благополучно

достигли противоположного берега; с этой минуты все затруднения на воде были уже преодолены, потому что все реки, которые предстояло мне переезжать и которые причинили мне столько беспокойства во время поездки в Сибирь, уже вступили в свои берега. Мрачная Сура, прекрасная Кама, величественная Волга, быстрая Вятка, словом сказать, все реки вошли снова в свои пределы, как бы не желая противопоставлять препятствий моему быстрому возвращению на родину.

Впрочем, перед приездом в Тюмень я подвергся новой опасности. Я сделался болен и даже очень болен. Не могу себе объяснить причину моей болезни; признаки ее были совершенно для меня новы. Я ощущал такое сильное волнение, что должны были ехать совсем шагом даже по совершенно ровной и гладкой дороге. К сожалению, я не имел с собою никакого лекарства, кроме лимонада в порошке. Мой друг Петерсон, правда, предлагал дать мне на дорогу разных лекарств, но, полагая, что нельзя захворать во время такого чудного путешествия, я отказался от его предложения. К тому же, я не знал бы, которое из них должен принять, так как я совершенно не мог понять, что у меня за болезнь. Мне оставалось только вооружиться терпением, но мучившая меня мысль, что, быть может, я умру, находясь так близко от цели, не обняв своих, не располагала к терпению.

Меня дотащили до Тюмени к двенадцати часам дня. Курьер мой советовал мне остаться здесь необходимое для моего выздоровления время и начать лечиться, но я отказался от всякого промедления в дороге. Как лечиться в Тюмени? Какого медицинского пособия мог я ожидать в городе, где не было врача и где какой-нибудь невежественный фельдшер стал бы лечить меня? Я предпочитал поэтому продолжать путь. Не достигал ли я уже границ Сибири? Мне хотелось умереть не в стране моей ссылки.

Мы отправились далее, но боли мои в скором времени усилились до того, что на следующей станции, не имея возможности выносить езды в кибитке, я должен был остановиться в жалкой деревне. Это было вечером. Я приказал устроить себе постель в кибитке и пытался заснуть, но не мог. Боли мои препятствовали этому, но это был их последний приступ, и я одержал над ними верх. Перелом болезни был весьма сильный и продолжительный: я обязан ему, быть может, хорошим здоровьем, которым пользовался прошлую зиму, проведенную мною лучше, чем остальные за последние десять лет.

На следующее утро я, хотя еще чувствовал большую слабость, был в состоянии продолжать путь и в десять часов утра увидел

среди леса пограничные столбы Тобольской губернии, на которые при моем въезде я смотрел с замиранием сердца.

При отправлении моем из Москвы мне позволено было купить несколько бутылок вина для подкрепления моих слабых сил. Я выбрал бургонское вино, стоившее *сорок рублей* бутылка. Денежные мои средства не позволяли мне купить его много, а потому я ограничился только тремя бутылками и пил их исключительно в видах здоровья.

До приезда в Тобольск я уже выпил две бутылки, а третья последовала за мною в Курган. Я тщательно сохранял ее как сокровище, предназначая отпраздновать ею день приезда в Сибирь моей жены. Теперь же, в виду этого пограничного столба, я откупорил ее штопором, подаренным мне моею матерью к Рождеству, которым еще я ни разу не пользовался, и выпил несколько рюмок, проливая слезы радости; я угостил также этим вином курьера и ямщика, а пустую бутылку разбил о столб. После этого, как бы ничего более уже не опасаясь, я закричал ямщику: «пошел! пошел!»

По мере выздоровления и укрепления сил, я становился бодрее и веселее духом и спешил ехать далее. Я встретил при этом два препятствия.

Прежде всего, кибитка моя находилась в отчаянном положении. Я купил ее подержанною, и она сделала со мною около четырехсот миль, считая в том числе поездку в Курган и обратно. Она разваливалась с каждым часом и угрожала совершенным разрушением. Я принужден был останавливаться раз двадцать дорогою, чтобы чинить ее, и ожидал с минуты на минуту, что мне придется ее бросить. Я решился на первой же станции ее оставить и пересесть в почтовую кибитку, хотя из всех возможных экипажей это, бесспорно, самый плохой и самый неудобный. Кибитка эта ничто иное, как простая телега, не всегда покрытая, и слишком короткая, чтобы можно было в ней лечь; ее меняют вместе с лошадьми на каждой станции, при чем, разумеется, приходится перекладывать вещи.

Бывало, в свежие ночи едва успеешь, завернувшись в одеяло, сколько-нибудь согреться, как снова приходится вылезать из телеги, несмотря ни на какую погоду; если же шел дождь, то одеяло делалось мокрым и, вместо того чтобы на станции согревать тело, приходилось высушивать одежду. Нужно обладать железным сложением, чтобы выдержать путешествие в подобном экипаже.

Мой курьер представлял мне все эти неудобства и старался поколебать мое намерение, рассказывая об испытанных им страданиях во время езды на перекладных. Но я рассчитал, что

потеряю, пожалуй, день или более, если моя кибитка сломается. Возможность, что моя дорогая Христина лежит больная, и даже опасно; надежда, что мое прибытие возвратит ей здоровье и быть может самую жизнь, — все эти соображения одержали верх. На следующей станции я велел узнать, кто самый бедный человек в деревне, и подарил ему мою старую кибитку. Таким образом одно затруднение было благополучно отстранено; но устранение другого представляло много препятствий. Я не знал, каким образом придать энергии моему ленивому Карпову. Я делал ему подарки, упреки, угрозы, смеялся над ним, но все это было напрасно: его леность и беспечность были непобедимы. Он постоянно зевал или спал. Вероятно, за мои прегрешения выбрали мне самого ленивого, самого медлительного и самого нерасторопного из курьеров: он приводил меня в отчаяние.

К великому моему удовольствию, вскоре явился ко мне ангел-освободитель, в лице другого курьера, — Василий Сукин (Wassili Sukin). Он был послан императором прямо из дворца, с приказанием скакать во весь дух и привезти из Сибири одного купца, сосланного туда лет восемь всемогущим в то время князем Потемкиным. Этот курьер приехал в Тобольск до моего отъезда и ожидал своего пленника, содержавшегося, если я не ошибаюсь, в Пелыме, в расстоянии тысячи верст от Тобольска; он мог уехать только через несколько дней после меня. Купец этот приехал в Тобольск с опухшими ногами, покрытыми ранами, но, несмотря на столь жалкое положение и разрушенное свое здоровье, хотел немедленно ехать; нетерпение придавало ему крылья, и, благодаря лености моего Карпова, он догнал нас около Екатеринбурга.

С этой минуты я поехал гораздо скорее. Василий Сукин был молодой человек, живой и деятельный, услужливый и настойчивый; когда было нужно, он не задумывался брать кнут в руки и погонял им лошадей и ямщиков; Карпов избавился от всех хлопот и ему оставалось только следовать за Сукиным, но и это он исполнял неисправно, и мы всегда опаздывали приезжать на станцию, где, благодаря распорядительности Сукина, уже находили лошадей заложенными, так что нам оставалось лишь пересесть из одной телеги в другую. Без услуг, оказанных мне Сукиным, я приехал бы в Петербург восемью днями позже.

Скажу несколько слов о русском купце, ехавшем с Сукиным. Он был одним из *казенных подрядчиков,* занимавшихся поставкою в срок разных предметов для казны. Он нажил себе большое состояние и имел дома в Петербурге и в Москве. Раздраженный напрасными проволочками, разными притеснениями и отсрочками в платеже, происходившими по вине князя

Потемкина, он позволил себе громко высказать в передней этого вельможи несколько неумеренных слов, за что был в ту же минуту отправлен в Сибирь, лишенный всего — даже шубы. Он был, как говорилось, *забыт в Пелыме,* в глубине Сибири, где зарабатывал себе дневное пропитание трудами рук, как самый простой работник. Он полагал даже, что на основании какого-то рапорта его считают умершим; тем сильнее был его восторг при известии об освобождении; он совершенно не знал, как и через кого государь мог узнать об его существовании и невинности. Отправляя его в Сибирь, ему не позволили даже проститься с женою и детьми, и с этого времени он ничего не слыхал о них. Можно себе вообразить, как он торопился увидеться с ними. Хотя он был стар и слаб и принужден был на каждой станции перевязывать свои раны на ногах, тем не менее он постоянно торопился ехать далее.

15-го июля мы приехали в Екатеринбург и здесь немного отдохнули. Я купил на здешней гранильной фабрике несколько драгоценных камней по очень сходной цене. Я предназначал сделать моим дочерям из этих камней ожерелья, которые, переходя из рода в род, служили бы воспоминанием о самом несчастном и жалком годе жизни их отца.

Проезжая через несколько дней Кунгур, скверно вымощенный город, я едва не лишился жизни. Мы быстро спускались с горы, как вдруг лопнула ось; телега опрокинулась, а лошади продолжали бежать и тащили меня по мостовой. Шапка долго защищала мою голову, но наконец она свалилась, и я неизбежно разбил бы себе голову, если бы, к нашему счастью, мужикам, шедшим на базар, не удалось удержать испуганных лошадей. Еще несколько шагов и я бы погиб, но теперь отделался только довольно значительным ушибом. Ямщик пострадал гораздо более: он был весь в крови; Карпов же, сидевший на телеге, свесив ноги, просто упал в грязь.

18-го числа я приехал в Пермь и остановился у честного часовых дел мастера Розенберга. Здесь я спокойно отдыхал на том самом диване, на котором лежал в отчаянии два месяца тому назад.

От Перми до Казани мы проехали без всяких приключений. Веселое настроение моего духа часто прерывалось встречами с колодниками, которых гнали в Сибирь. Одни из них сидели в телегах и кибитках; другие же большею частью шли пешком, закованные попарно, в сопровождении вооруженных мужиков, которые сменялись в деревнях. На некоторых из ссыльных была надета деревянная колодка, охватывавшая шею, с рукояткою,

висевшею на груди; в этой рукоятке были проделаны два отверстия, в которые продевали руки несчастных и затем заковывали их. Это было ужасное зрелище! Все шедшие пешком просили милостыню; с какою радостью я давал им деньги, возвращаясь сам из ссылки в объятия моего семейства.

Я встречал также большие толпы поселенцев, отправляемых насильно в новый город, который по приказанию государя воздвигался на Китайской границе. Взрослые шли пешком, а дети торчали на телегах среди разных вещей, домашней утвари, собак, птиц. На лицах этих поселенцев я не приметил выражения радости или надежды.

22-го июля мы въехали в Казань и остановились в очень хорошем доме, где давались общественные праздники, у очень доброй и услужливой хозяйки. Я не позабыл посетить доброго Естифея Тимофеича в его домике, наполненном тараканами, и поблагодарить еще раз за оказанное мне прежде гостеприимство.

Следующее обстоятельство побудило меня остаться целый день в Казани. Здесь жила родственница моей жены; я хотел повидаться и поговорить с нею, зная, что она находится в переписке с родственниками в Эстляндии; я надеялся через нее получить известие о моей жене и успокоиться. Вхожу с трепетом в ее квартиру, она встречает меня с объятиями, но, увы! я не слышу ни одного слова утешения; судьба моей жены и детей совершенно ей неизвестна! Один из ее братьев, правда, писал недавно и сообщал разные новости, как например о том, что баронесса Деллинсгаузен, сестра моей жены, собирается ехать в Германию, но о моей доброй Христине ни слова! Если бы этот человек знал только, какое томительное и горькое мучение причинило мне его молчание, он конечно превозмог бы осторожность, доведенную до крайности и в нескольких словах, совершенно неприметно для постороннего, не упоминая вовсе моего ненавистного в то время имени, написал бы просто: наша кузина Христина там-то, делает то-то, здорова и т. д. По крайней мере, из такого письма я мог бы заключить, что моя жена жива.

В Казани я был очень приятно поражен. Многие знакомые и незнакомые немцы, французы, русские прибежали ко мне отчасти из любопытства, отчасти из участия и старались выказать мне свое расположение. Два месяца тому назад они знали, что меня провезут чрез их город и тогда еще старались повидаться со мною, но это им не удалось, так как Щекотихин принял против этого меры.

Казань — большой, населенный, хорошо обстроенный и по наружности веселый город. По величине построек и количеству товаров здешняя таможня мало уступает московской и

петербургской. Древняя крепость татарских ханов, разрушенная царем Иваном Васильевичем, представляет на вершинах скал величественные и живописные развалины. Она была очень обширна, часть этих развалин поправлена и служит жилищем для начальника города.

Иностранцы, живущие в Казани, весьма приветливы и любезны; они составляют очень хорошее общество. Я полагаю, что выбрал бы местом своего жительства Казань, если бы должен был жить внутри России.

При отъезде несколько карет и дрожек сопровождали меня до Волги, которая при первом моем проезде подходила к городским стенам, а теперь уже вступила в свои берега, отстоящие на семь верст от города. В Казани я купил себе кибитку, чтобы ехать с большим удобством.

За Волгою Карпов указал мне место, где он встретился с Щекотихиным и Ольгиным, очень изумившимися при известии о моем возвращении из ссылки. Щекотихин очень сожалел, что не предугадал такого благоприятного исхода моего дела. По-видимому, эти сожаления проистекали не из хорошего побуждения.

Между Казанью и Нижним Новгородом очень часто попадались мне по обеим сторонам дороги вооруженные люди, сидевшие около разложенных огней. Любопытство побудило меня наконец остановиться и спросить, что они здесь делают. Мне дали следующее не очень утешительное объяснение: в соседнем городе Маресьеве происходит ярмарка, которая привлекает множество воров и разбойников, и чтобы защитить по возможности дорогу от их разбоев, назначаются из жителей соседних деревень стражники. Что касается меня, то я не встретил ничего подозрительного во время дороги. Но, вообще говоря, при первой же встрече с почтой в здешних местах начинаешь убеждаться, что дороги не совсем безопасны. Телега, в которой сидит почтальон, всегда сопровождается несколькими конными мужиками, вооруженными саблями и ружьями и поспевающими с большим трудом за телегою. Эта мера предосторожности основана на указе императора Павла I, по которому губернатор отвечает за всякое разграбление почты, совершенное в пределах вверенной ему губернии. Очень естественно, что губернаторы, особенно в малонаселенных местностях, принимают все необходимые против этого меры; но мне кажется, что подобное приказание довольно строго в стране, где огромные леса служат для разбойников недосягаемым убежищем и все человеческое могущество оказывается недостаточным, чтобы предупредить нападение со стороны злодеев.

Приближаясь к Нижнему Новгороду, я был обрадован зрелищем, которого давно уже был лишен: я увидел в первый раз вишневые деревья и пчелиные улья. Известно, что в Сибири нет ни пчел, ни раков. Точно так же фруктовые деревья очень редки в этой стране; вот почему я чрезвычайно обрадовался, приметив моих старых знакомых. «Вот я и в Европе! — воскликнул я, — вблизи своей родины!»

Увлеченный этой мысли, я вздумал в Нижнем Новгороде пообедать по-европейски, но оказалось, что здесь не существует ни одной гостиницы, а есть только жалкие *кабаки,* в которых нечего есть. Я вернулся на почтовую станцию и расположился в своей кибитке пообедать черствым хлебом и сыром, между тем как Сукин торопил, чтобы скорее закладывали лошадей.

Через него на станции узнали, кто я такой, и несколько минут спустя явился лакей от супруги почтмейстера с приглашением пожаловать к ней обедать. Я долго отказывался, ссылаясь на мою небритую бороду, всклокоченные волосы, рваный халат и т. д., но все было тщетно: лакей приходил несколько раз звать меня к обеду и наконец сообщил, что я буду обедать один в комнате и никто меня не будет беспокоить.

Я не мог долее сопротивляться таким любезным настояниям, притом же и желудок мой, худо питавшийся несколько дней, побуждал меня принять приглашение. Я вышел из кибитки и явился в дом почти в таком же виде, как бедный Том в «Короле Лире». Меня ввели в нарядно убранную комнату, посередине которой стоял маленький стол с одним прибором. Я оставался несколько минут один, но вскоре вошла очень красивая, молодая дама, хозяйка дома, и на немецком языке извинилась в своей нескромности, проистекавшей из сильного желания познакомиться со мною.

Хотя я и принадлежал к поклонникам прекрасного пола, но, признаюсь, появление этой дамы чрезвычайно меня смутило. Я был перед нею точно Диоген перед Аспазиею. Вся ласковость ее обхождения не в состоянии была осилить ложного стыда, овладевшего мною. При взгляде на мой старый халат, а еще хуже на зеркало, я чувствовал себя как бы уничтоженным. Что же сделалось со мною, когда вскоре вся комната наполнилась мужчинами и женщинами, очень прилично одетыми, русскими и немцами, обращавшимися ко мне с большою любезностью! Я не переставал сидеть подобно испанскому королю и то конфузился от весьма лестных обо мне отзывов, то был тронут до слез живым участием ко мне собравшихся лиц, дошедших до того, что они взяли первый том моих сочинений и сравнивали приложенный к нему портрет мой с оригиналом в длинной бороде.

Хотя и мой желудок, и мое тщеславие нашли себе здесь обильную пищу в буквальном и переносном смысле, но признаюсь, что только по возвращении в кибитку я вполне оценил приятность времени, проведенного мною в доме почтмейстера. Воспоминание об этом случае, оригинальном и единственном в своем роде, на границах Азии, в стране, которая слывет дикою и необразованною, тронуло мое сердце и наполнило его отрадой. Можно ли было думать встретить в Нижнем Новгороде друзей моей музы, готовых меня утешить, мне услужить и оказать мне почет единственно потому, что они видели во мне старого знакомца и приятеля, с давнего времени уже снискавшего их расположение. Такого рода награду я предпочитаю всем фимиамам газет, тем более что этот фимиам, возжигаемый живым (смею это сказать) писателям, редко бывает чист, бескорыстен и непорочен.

Дорогою между Нижним и Москвою угрожала мне еще одна опасность, от которой, однако, я избавился, благодаря моей бдительности. Я не спал четыре ночи подряд и решился к вечеру, по случаю проливного дождя, остаться в деревне до рассвета. Я положительно приказал, чтобы лошади были заложены к четырем часам и чтобы меня немедленно разбудили. Это было исполнено; я встал, посмотрел в окно и, заметив, что уже светает, поскорее сел в кибитку и поехал. Сукин и купец отправились вперед; ямщиком у них был молодой парень, а у меня — человек пожилой, с черною бородою и свирепым взглядом.

Выехав из деревни, я убедился, что свет, принятый мною за зарю, происходил от луны; я вынул мои часы и увидел, что был только час пополуночи. Это меня поразило. Ямщики в России, как и в Европе, предпочитают всегда опаздывать; почему же вдруг меня заставили выехать тремя часами ранее? Я решился не спать всю дорогу. Пока обе наши повозки ехали близко одна от другой, я не мог ничего опасаться и потому, как только ямщик пытался под разными предлогами отставать от Сукина, я настойчиво погонял его.

Мой Карпов по своем похвальному обыкновению заснул, и я не хотел его будить, пока не понял, в чем дело. Ямщик постоянно оборачивался и посматривал на нас обоих; всякий раз, когда наши глаза встречались, я пристально глядел на него, как бы говоря: «я не сплю». Наконец мне пришла мысль посмотреть, что он будет делать, если убедится, что я сплю. Я закрыл глаза, но, конечно, при малейшем подозрительном движении ямщика немного открывал их. Эта предосторожность показалась мне еще более необходимой после того, как я приметил большой нож, висевший на поясе у ямщика; я увидел это страшное оружие в то

время, как он слезал, чтобы связать старую, оборвавшуюся постромку. Мы не имели оружия, и он мог, не слезая с козел, дать нам два хороших удара и отправить спящих на тот свет.

Едва я принялся опять за свою роль и притворился спящим, как ямщик обернулся и долго на меня смотрел. До сего времени, побуждаемый моими угрозами и бранью, он ехал очень близко от первой кибитки; теперь же он поехал тише и понемногу начал отставать. Чтобы убедиться еще более в его злых намерениях, я хотел дать возможность первому ямщику уехать вперед немного, но он вдруг остановился и принялся что-то поправлять у хомута лошади.

Мой ямщик тоже остановился и слез с козел под предлогом подвязать колокольчики на дуге. Начинало светать, и я хорошо видел, что колокольчик крепко привязан и что мой ямщик только возится для вида, чтобы удобнее наблюдать, сплю ли я или нет. Убедившись, что я сплю, он кликнул тихим голосом молодого ямщика и сказал ему несколько слов, которых я не понял. По ответу последнего я заключил, что он его спрашивал о том, что делают ехавшие с ним; он ему сказал одно слово: «спят».

После этого они повели между собою тихим голосом разговор, продолжавшийся довольно долго и весьма меня беспокоивший. Наконец я прервал эту беседу энергическим ругательством и сказал ямщику прямо, что он мошенник. Он стал оправдываться, но я резко утверждал, что понял их разговор. Я начал уверять, что везу с собою важные депеши, угрожая ему пистолетом, которого со мною не было, разбудил моего курьера, сообщил ему в чем дело, выскочил из кибитки и вызвал Сукина и купца. Все мы принялись бранить и стращать ямщика; он, ворча, сел на козлы и поехал, уже более не оборачиваясь.

Проехав версту от этого места, я увидел двух человек, по-видимому, нас ожидавших, так как они стояли неподвижно. Мой ямщик, как только заметил их, начал громко кричать и погонять лошадей, как бы давая этим знать, что мы не спим. Мы скоро проехали мимо этих подозрительных личностей; они пристально смотрели на нас, но не решились что-либо предпринять; мы благополучно доехали до станции.

Я глубоко убежден до настоящего времени, что существовал замысел убить нас или, по крайней мере, ограбить. Замысел был направлен против меня, и это объясняется очень просто. Купец ехал в открытой телеге; можно было разглядеть все его вещи, перекладывая их с одной телеги в другую: они не могли никого ввести в искушение. Между тем можно было предполагать, что я везу с собою сокровище в кибитке, купленной в Казани; накануне я отворял свой дорожный ящик и могли заметить мой серебряный

кофейник и другие вещи. Не требовалось быть хорошим физиономистом, чтобы заметить, что Карпов глупец, от которого легко избавиться. По-видимому, был составлен такой план: давши Сукину вместе с купцом уехать вперед, подвезти меня потихоньку к тому месту, где встретились две темные личности; тут нас бы ограбили, а быть может, и убили, и ямщик мог бы утверждать, что он ни в чем не виноват. Это предположение еще более подтверждается тем, что мой ямщик с самого начала говорил, что лошади очень замучены, едва везут, между тем, после того как замыслы его не удались и более не было надобности удерживать лошадей, он поехал гораздо шибче молодого ямщика.

Избегнув этой последней опасности, я, наконец, после столь продолжительного путешествия по пустынным местам увидел 28 июля в полдень необъятную Москву.

Я остановился на некоторое время на возвышении и наслаждался прекрасным видом; но вскоре, однако, поспешил ехать, надеясь получить здесь какие-нибудь сведения о моем семействе. Проехав множество улиц и переулков, я остановился в гостинице, принадлежавшей доброй старушке француженке. Беккер рекомендовал мне ее. После нескольких часов отдыха, крайне мне необходимого, я обчистился, привел с помощью гребня и бритвы в порядок мою наружность и направился к французскому книгопродавцу Куртенеру (Kourtener), которого Беккер мне очень хвалил. Описание, сделанное им, оправдало мои ожидания. Куртенер принял меня чрезвычайно радушно.

Прежде всего я, разумеется, спросил его о моем семействе. Он смутно припоминал, что слышал о том, будто бы император приказал потребовать мою жену в Петербург и принял ее самым любезным образом. В величайшем беспокойстве я прервал его, желая узнать, от кого и где он слышал эту новость. Он не мог ничего припомнить.

Я отправился вместе с ним к Карамзину, очень уважаемому писателю, известному даже в Германии по его «Письмам русского путешественника». Он принял меня дружественно и сообщил тот же самый слух. Он равным образом не мог указать мне источника этого слуха; но оба они обещали мне по возможности справиться.

Можно себе вообразить мое наслаждение, когда я снова очутился среди авторов и книгопродавцев, после того как прожил четыре месяца почти совсем без книг. Карамзин имел в своем кабинете собрание литографированных портретов важнейших немецких ученых; я мог беседовать с ним о Виланде, Шиллере, Гердере, Гете и моей родине, которую он очень любил.

Я провел в Москве этот и следующий день до вечера и посвятил это время осмотру городских достопримечательностей.

Надежды мои получить известия о моем семействе оказались тщетными; маловероятную новость о приеме, оказанном жене моей в Петербурге, я скоро стал считать ложным слухом.

Мне очень хотелось посетить в Твери генерала Мертенса, чтобы вспомнить грустный переезд чрез Волгу, совершенный вместе с ним; но он осматривал свое новое губернаторство.

В Вышнем Волочке я решился расстаться с моим любезным Василием Сукиным, который до сих пор сопровождал меня единственно из расположения, не желая покинуть меня совершенно на произвол моего ленивого спутника. Я хотел, чтобы Сукин скакал вперед и предварил бы мою жену о моем скором приезде в Петербург, если она там действительно уже находилась. Я дал ему к моей жене письмо, в котором просил ее выехать мне навстречу на первую станцию. Вместе с тем я дал ему адрес моего старого и верного друга Грауманна (Graumann), от которого он мог узнать, где живет в Петербурге моя жена.

Он уехал, напутствуемый моими искренними пожеланиями; я рассчитывал, что он может приехать в Петербург сутками ранее меня. Мне казалось, что такое выражение моей доверенности к Сукину кольнуло моего честолюбивого и неуклюжего Карпова. Он сделался несколько развязнее и живее. Мы проехали Новгород, известный по сношениям своим с Ганзейским союзом, — но не остановились в нем; справляясь о Сукине, я всякий раз узнавал, что он только что проехал.

На предпоследней станции его постигла маленькая неприятность: он забыл по неосторожности на столе подорожную, без которой не смел явиться в Петербург. В страшном беспокойстве он остался ожидать нас на последней станции, и мы отдали ему бумагу, которую, к счастью, захватили с собою. Было около четырех часов пополудни. Мы немного принарядились, и я сел в свою кибитку в большом волнении.

В Царском Селе, летней резиденции государя, нас три или четыре раза останавливали на разных пикетах и подвергали таким подробным расспросам, что я не раз вздыхал от нетерпения. Но мне суждено было вынести еще испытание: множество войск получили приказание отправиться в этот день в Гатчину, любимое местопребывание императора, на смотр. На расстоянии десяти или двенадцати верст от Петербурга мне попались навстречу шесть полков со всеми их обозами; и не было никакой возможности ехать далее и пришлось провести целый час в томительном ожидании. Можно вообразить мое отчаяние.

Кроме того, я едва не навлек на себя большой неприятности. Великий князь Александр ехал верхом впереди войск. Я совершенно не знал его в лицо, а если бы даже и знал, то мне был

неизвестен строгий приказ, при встрече с особами царской фамилии выходить из экипажа и кланяться. Мой беспечный Карпов также ничего этого не знал, — и мы остались в кибитке.

Меня неизбежно арестовали бы и посадили в тюрьму при полиции, если бы великодушный князь, заметивший нас, не показал себя выше той невольной ошибки, которую я сделал, не оказав ему заслуженного почтения.

К девяти часам вечера мы приехали к городской заставе и подверглись опять длинному и томительному допросу. Нам дали казака верхом для сопровождения к коменданту, жившему в императорском дворце. Курьеры наши побежали наверх, а я в невыразимом волнении остался ждать на площади, которую очень хорошо знал.

Прошло четверть часа пока нас позвали к графу Палену, генерал-губернатору города. Его не было дома, и нам разрешили не ожидать его возвращения. Я сгорал желанием поспеть еще в тот же вечер к моему другу Грауманну, как бы поздно ни было; но курьеры имели положительное предписание доставить меня и купца к генерал-прокурору. Нас повезли к нему. Оказалось, что он в Гатчине, а его помощник по управлению так называемой Секретной Экспедицией, статский советник Фукс (Fuchs), жил далеко от дворца. Что теперь делать? Курьеры оставили нас на улице под надзором многочисленной прислуги генерал-прокурора, столпившейся вокруг нас из любопытства, и побежали на квартиру Фукса.

Я стоял добрые полчаса, облокотясь на перила набережной Мойки, и смотрел на ее покойные волны, обуреваемый самыми разнородными ощущениями. Наконец курьеры возвратились, а за ними шел и статский советник Фукс. Он обошелся со мною очень вежливо и указал на маленькую комнатку, в которой я мог провести ночь. На просьбу мою дозволить навестить друга моего Грауманна он отвечал, что хотя я более и не числюсь государственным преступником, но он прежде всего должен донести обо мне рапортом в Гатчину и испросить дальнейших обо мне приказаний. Он обещал исполнить все это тотчас и послал рапорт с эстафетой. Ответ, конечно, мог последовать только завтра, а потому он предлагал мне как-нибудь устроиться на эту ночь.

Я спросил его о моей жене, но он не мог сообщить мне о ней никаких сведений. Таким образом рушилась надежда, которую я лелеял в душе во время всего пути от Москвы до Петербурга. Я попробовал узнать от него о причинах моей ссылки; он ответил мне только — что ссылка моя последовала по особому высочайшему повелению, и что государь в течение последних

дней неоднократно спрашивал, не возвратился ли я назад, что все мои бумаги находятся у генерал-прокурора и будут мне в целости возвращены.

После этого он пожелал мне покойной ночи и пошел отправлять эстафету.

Первая моя ночь в Петербурге прошла очень скучно; я не мог вовсе отдохнуть. Я видел, что обманулся более, нежели когда-либо, так как желание мое получить известие о моем семействе никогда не было до такой степени сильно. К этой неприятности присоединилось грустное и мрачное впечатление, производимое самим местом, где я находился. Это была узкая и низкая комната, в которую приводили без разбора всех попадавшихся в руки Тайной Экспедиции, или инквизиции. Кроме стола, стула, и кровати без матраца в ней ничего не было. Кровать кишела всякими насекомыми, что помешало мне даже попытаться заснуть. С какою радостью встретил я рассвет, с каким нетерпением ожидал возвращения эстафеты, которая должна была привезти мне свободу и дозволение навестить моего друга Грауманна.

Было около восьми часов, когда Фукс пришел ко мне. Ответа из Гатчины еще не было, но вообразите мой восторг, когда он мне сказал, что моя жена находится в Петербурге. Я почувствовал то, что ощущает человек, разбитый параличом, которому благотворное электричество возвращает действие членов. Я стоял как окаменелый; слезы текли из глаз моих. — «Где она?» — вот все, что я был в состоянии вымолвить. Он ничего не мог мне ответить на это. Он не смел даже освободить меня из-под того странного ареста, в котором я находился.

«Впрочем, — сказал он мне, — вам позволено пригласить к себе кого угодно».

Я тотчас же послал Сукина к Грауманну с маленькой запиской. Сукин скоро возвратился и рассказал мне, с каким восторгом его принял мой друг, сделавший ему прекрасный подарок, и принес мне ответ следующего содержания:

«Ваша жена и дети совершенно здоровы и живут невдалеке от меня; прежде нежели идти к ним, зайдите ко мне, чтобы я мог приготовить вашу жену к этому свиданию; внезапная радость может быть для нее пагубна».

Сукин опять отправился к нему с известием, что я еще не смею выходить из комнаты, но могу принимать у себя. Именем старой дружбы заклинал я его доставить мне возможность видеться с моим семейством.

Грауманн пришел ко мне. Я не стану говорить о нашем умилении и восторге. Это была первая ступень лестницы, по

которой я должен был в скором времени достичь семейного рая. Он сообщил мне, что моя жена здорова, но очень слаба после преждевременных родов и сильного кровотечения, причиною которых было постигшее меня несчастие. Он доказал мне необходимость постепенно и осторожно приготовить мою жену к свиданию со мною, несмотря на то, что она уже давно ждала меня. Я согласился с его доводами, основательность которых умерила пыл моего нетерпения; я предоставил ему действовать по своему усмотрению.

Прежде нежели прийти ко мне, Грауманн побывал у моей жены. Его улыбающееся лицо показалось ей хорошим предзнаменованием, и она встретила его вопросом: «Вы, верно, получили хорошие вести о моем муже?» Он отвечал утвердительно, прибавив, что я в самом скором времени должен приехать. После этого он показал ей записку, написанную моею рукою из Вышнего Волочка, в которой я просил мою жену приехать встретить меня на первой станции. Василий Сукин отдал эту записку Грауманну, так как она уже не имела значения после той, которую я написал ему из Тайной Экспедиции, и друг мой хорошо ею воспользовался. Моя добрая Христина, прочтя эту записку, была вне себя от радости и тотчас же послала за лошадьми, намереваясь немедленно ехать; она просила Грауманна сходить к генерал-губернатору и выхлопотать ей подорожную, без которой нельзя было выехать за черту города. Он принужден был для вида обещать ей это и под предлогом, что отправляется к генерал-губернатору, пришел ко мне.

Он увидел, что я также сгораю от нетерпения; я в одно и то же время благословлял и осуждал его благоразумную осторожность. Он скоро ушел от меня, обещая привести мою жену, как только это окажется возможным без опасности для нее.

Она встретила его у самого входа словами: «Где же подорожная?»

— Вам она не нужна более!

— Он приехал? — воскликнула она и кинулась ему на шею.

Тщетно он старался умерить ее радость. Она заставила его немедленно сесть с собою в карету, и единственное, что он мог от нее добиться, заключалось в обещании, что она подождет несколько минут в карете, пока он предупредит меня о ее приезде.

Я разговаривал с Фуксом, когда вошел Грауманн с сияющим лицом и сказал мне:

— Жена ваша приехала, я не мог долее ее удерживать.

Я вскрикнул от радости. Г. Фукс был настолько деликатен, что ушел, не желая присутствием своим смущать первые минуты

нашего свидания.

Грауманн пошел за женою. Я стоял, дрожа всем телом, у окна, находившегося над воротами дома, и увидел, как жена моя вышла из кареты и поднялась на лестницу. Шатаясь, двинулся я к ней навстречу; она кинулась в мои объятия и лишилась чувств.

Кто попытается описывать подобную сцену? Горе читателю, не сочувствующему мне. Да! в жизни бывают минуты, которые вознаграждают разом за целый ряд несчастных годов. Ни за что на свете не отдал бы я воспоминания о всех моих прошедших страданиях за эту минуту — так была она хороша!

С помощью друга я посадил жену на единственный стул, находившийся в комнате, опустился перед нею на колени и, приникнув к ней головой, плакал, как никогда в жизни, ожидая минуты, когда она придет в себя и откроет глаза. Наконец она очнулась, нежно склонилась ко мне и также залилась слезами. Мы долго не могли вымолвить ни слова. Друг мой тихо ходил по комнате, сильно взволнованный этой трогательной сценой. Прямая, честная, благородная душа! Этот час вознаградит тебя за все тобою сделанное для меня и моей семьи. Ты наслаждался зрелищем, устроенным твоей великодушной дружбой и редко встречающимся в мире.

После того как первые порывы нашего восторга немного улеглись, мысли и ощущения пришли в некоторый порядок, и мы были в состоянии говорить. Боже мой, сколько нашлось у нас вопросов, ответов, отрывочных рассказов; сколько раз останавливались мы, чтобы с улыбкой счастья поцеловать слезы, катившиеся из наших глаз. Как будто отверзлись наши могилы, и мы возносились на небо, чтобы наслаждаться лучшим союзом в прекраснейшем мире, бросая последний взгляд на прошедшие страдания нашего земного поприща.

Моя жена рассказала мне свою судьбу со времени нашей последней разлуки. Она сообщила о том, как очнулась после своего первого обморока, о гробовой тишине, окружавшей ее и прерываемой только рыданиями бедной Эмилии, которая сидя на земле, в углу, украдкой плакала.

Тщетно утешал я себя в своем несчастий надеждой, что курляндский губернатор и его семейство сжалятся над моей женой. Покинутая ими и всеми, она нашла себе утешение и сострадание только там, где не имела никакого права их ожидать, именно в гостинице, где мы остановились. Хозяин этой гостиницы и его жена — честные люди, по фамилии Радер, — обходились с нею чрезвычайно человеколюбиво и деликатно и доставили ей прекрасное доказательство, что иногда корысть молчит перед голосом чувства даже и при таких условиях, когда

принято и извинительно заботиться о ней. Вынужденная нашим общим бедствием и разлукою со мною, а также и необходимостью и благоразумием соблюдать строгую бережливость, моя жена отказывала детям в обычных лакомствах, но Радер доставляла их тайком и, кроме того, давала больной моей жене разные сладости, не ставя всего этого на счет.

Генерал Эссен, получивший начальство над войском в Голландии после несчастного сражения, в котором генерал Герман был взят в плен, и вскоре исключенный по интригам из службы, приходился нам родственником. Он, уже столько потерпевший от клеветы, навещал жену постоянно два раза в день, не обращая внимания на опасность, которой подвергал себя этим. Он сделал все что мог для утешения и развлечения моей жены; желаю от всей души, чтобы Бог вознаградил его за это.

Г. Вахтер, советник правления, и его жена, с которыми мы познакомились в Ревеле, но не были в близких дружественных отношениях, доказали также, что несчастье скрепляет общественные узы.

С какою радостью и признательностью привожу я здесь имена тех немногих великодушных лиц, которые всеми зависевшими от них мерами помогали моей жене сносить удручавшее ее горе.

Секретарь Вейтбрехт только один раз навестил мою жену и рассердился за ее слезы.

— Перестанете вы плакать, — кричал он ей, — к чему служат вам слезы?

Она настаивала на желании видеть губернатора.

— Губернатор, — отвечал он, — так же как и я не любит смотреть на плачущих.

— Ах! — возразила ему моя жена, — он должен отказаться от своей должности, если не желает смотреть на несчастных.

Наконец ей удалось увидеть губернатора. Дризен принял ее в халате, с трубкою во рту, наговорил ей множество любезностей, совершенно незначительных, но не предложил ей даже сесть и извинялся, что жена его не может ее принять по болезни. После нескольких минут неопределенного разговора, в котором он тщательно скрыл от нее мою судьбу, он прекратил свидание, простился с моей женой и ушел и затем уже более не заботился о ней все время. Моя жена ежеминутно ожидала моего возвращения из Петербурга: каждый стук кареты заставлял ее вздрагивать и бежать к окну. Все письма, которые она мне писала, должны были предъявляться губернатору; она не смела включать в них что-либо, относившееся до моего несчастия и ее бедственного положения. Лишь незначительное число этих писем отправлялось по назначению, причем со всех них снимали копии, которые и

посылали в Петербург. Только одно письмо дошло до моего друга Грауманна, так как честный Радер взялся сам отправить его по почте.

Слава Богу! можно без малейшей опасности открыто описать в этой истории все благородные и позорные поступки, которые очерчивают главнейших действующих лиц.

Наконец, после пятнадцати дней ожиданий и тревог, моя жена получила от государя дозволение отправиться к ее родственникам в Эстляндию. Она уехала из Митавы, но прибыв в Ригу, принуждена была по болезни остановиться в этом городе. Господин Лангвиц, хозяин Петербургской гостиницы, на вопрос ее, останавливался ли я у него, проезжая через Ригу, имел неосторожность сообщить ей, что меня провезли прямо в Тобольск.

Можно себе представить весь страх и ужас моей жены, не подозревавшей, что я могу быть сослан. Она не хотела верить этому известию. Мой друг Эккардт, советник правления, вместе с другими сострадательными и человеколюбивыми лицами, успели немного ободрить ее.

В числе этих последних лиц я должен назвать г. Рихтера, губернатора Риги. Он поспешил навестить мою жену, причем обошелся с нею самым деликатным и великодушным образом, чем заставил ее еще сильнее ощутить все неприятности, вынесенные ею в Митаве. Он не мог и не имел права сообщить ей о месте моего пребывания, но дал ей честное слово, что я не содержусь ни в Рижской крепости, ни в ее окрестностях, и что он имеет удовлетворительные известия о моем здоровье.

Я назову с признательностью еще двух лиц — графа Сиверса и его жену, которые по родственному чувству и из человеколюбия выказали моей всеми покинутой жене самое теплое участие.

Эта великодушная чета отыскала мою жену и обходилась с нею с величайшею заботливостью и нежностью.

Прочтя эти строки — да не сочтут они их мерою моей вечной признательности, пусть они убедятся только, что она не уступает их благородным чувствам.

Немного утешенная живым участием ко мне несравненного губернатора Риги и всего города, ободряемая нежным и родственным обхождением моего друга Эккардта и пользуясь советами такого искусного и бескорыстного врача, как Штоффреген, — моя жена тем не менее часто переживала минуты, в которые бремя ее страданий, по-видимому, одерживало верх. Наши бедные дети, например, часто играли перед крыльцом; прохожие, останавливаясь, спрашивали, чьи это дети, и, получив ответ, удалялись, восклицая со слезами на глазах:

«Бедные маленькие дети!» Это повторялось так часто, что в один день дети пришли к моей жене и спросили ее: почему все говорят, что мы бедные дети? Другой раз милая моя Эмилия подошла к матери и сказала ей: «Прикажи надеть на меня цепи; я буду носить их и сидеть совершенно тихо, но хочу быть с моим отцом». Можно себе представить, какое впечатление производили эти слова на мою жену при ее расстроенном здоровье.

Немного оправившись, жена продолжала свой путь и из Дерпта приехала в дорогой наш Фриденталь. Самые горькие чувства пробудились в ней, когда с вершины холма она завидела то место, в котором мы провели вместе несколько лет, наслаждаясь постоянным и искренним блаженством. Слишком взволнованная, она не решилась войти одна в нашу веселую обитель, в наши милые комнаты, в которых каждый угол, каждая вещь напоминали ей меня. Она отправилась к Коху, приходскому пастору, одному из самых достойных духовных лиц, когда-либо проповедовавших евангельские слова. Его супруга, француженка по происхождению, была некогда учительницею моей жены и первая обогатила ее ум знаниями, а сердце чувствами. Она не уступала достойному своему мужу ни образованием, ни умом, ни талантами. Они познакомились между собой в доме родителей моей жены, где он был гувернером, а она гувернанткою, скоро полюбили друг друга и вступили в брак. Кроме этого г. Кох был мой старый товарищ по университету, и мы находились постоянно в самых дружественных и близких отношениях. По всем этим основаниям, моя добрая Христина была принята этою достойною уважения четою как родная дочь; здесь ее утешали, ухаживали за нею и оказывали всевозможные ласки и нежности.

Нашлись, впрочем, услужливые лица, советовавшие этому благородному пастору отделаться от моей жены, чтобы не подвергнуться самому неприятностям.

— Нет, — отвечал г. Кох с твердостью, — я ее не оставлю; даже если бы мне пришлось идти за это в Сибирь.

Да благословит Бог это достойное семейство, которое в отдаленном уголке земли творит добро, без шума и хвастовства, и с честностью и прямодушием сельского обывателя соединяет образование и вежливость царедворца! Да благословит их Бог! Если со временем, рано или поздно, причуды судьбы или счастья разрушат благополучие кого-либо из их детей или внуков, да будут эти строки для меня и моих потомков священным формальным обязательством помогать им! Перед лицом всей Европы я заявляю, что пока мои дети будут чтить мою память и дорожить моим благословением, каждый находящийся в несчастий член нежно любимого мною семейства Коха будет

встречен мною и моими потомками с величайшим радушием.

Здесь, в этом тесном кругу достойных уважения друзей, жена моя получила наконец мою записку, написанную в Штоксманнсгофе, которая испытала разные злоключения, пока дошла по назначению. Молодой человек, которому я вручил эту записку вместе с двумя другими, вероятно не обладал достаточною храбростью или хитростью, чтобы доставить их по назначению. Господин Байер, а быть может и Простениус, вероятно, переслали ее к рижскому губернатору, который был обязан препроводить их к генерал-прокурору в Петербург.

Впрочем, письмо к Кобенцелю было немедленно уничтожено; это было столь же благоразумно, как и необходимо, приняв в соображение политический горизонт того времени, уже начинавший покрываться грозными тучами.

Генерал-прокурор представил все эти письма государю, который остался недоволен тем, что я называл графа Палена его *любимцем* и в силу этого просил его заступничества и покровительства. Это была одна из странностей государя; он не желал, чтобы говорили, что он имеет любимцев и чтобы кто-либо в мире мог гордиться тем, что имеет на него влияние. Кроме того, можно предположить, что генерал-прокурор, заклятый враг графа Палена, не упустил случая повредить ему в глазах государя, представив это обстоятельство в самом гнусном виде. Государь, хотя и видел графа ежедневно, приказал, однако, передать ему мое письмо через генерал-прокурора, но сам не сказал ему об этом ни слова и некоторое время на него сердился. Граф впоследствии намекнул мне, что моя записка едва не навлекла на него немилость государя.

Что же касается письма к моей жене, то хотя было бы деликатнее его уничтожить, так как я писал его в минуту страшного отчаяния, но по приказанию государя оно было отдано моей жене под расписку. Письмо было препровождено к эстляндскому губернатору, переславшему его в свою очередь судье Везенбергского округа, барону Розену, который наконец передал это письмо моей жене и потребовал, чтобы она дрожащею рукою написала ему расписку в получении.

Это злосчастное письмо произвело на мою жену самое пагубное впечатление, которого я опасался и которое, к сожалению, предвидел. Моя бедная жена, доведенная до крайности, преждевременно родила ребенка; это сопровождалось до того сильным кровотечением, что доктора сомневались в ее выздоровлении. Но невероятная внимательность и нежное попечение прекрасного семейства Кох избавили ее от смерти, а меня вместе с шестью сиротами от горести ее оплакивать. Какой

монарх, какие блага мира были бы в состоянии вознаградить меня за такую потерю или чем-либо заменить ее!

Моя жена была спасена. Немного оправившись, она воспользовалась приглашением моего близкого друга Кнорринга, жившего в Ревеле, и поехала туда посоветоваться с родными и друзьями, не о том, что она должна была делать — эта несравненная женщина готовилась ехать за мною в Сибирь, — но о том, как приступит к осуществлению этого намерения и как устроит наши домашние дела.

Некоторые из наших бывших друзей в Ревеле держали себя очень двусмысленно относительно моей жены. Я умалчиваю о них, чтобы воздать должную справедливость моим истинным друзьям: Кнорррингу, его супруге, Гуку и многим другим, руководившимся, без всякого страха и сомнения, влечением сердца. Некоторые малодушные тщетно советовали Кнорррингу не пускать к себе в дом мою жену. Он остался неизменным в своем расположении к нам и не изменил моей дружбе, хотя впоследствии и признался мне, что опасался через это навлечь на себя разные неприятности и даже необходимость совершить поездку в С.-Петербург для своего оправдания.

Мою жену занимала только одна мысль, всецело ее поглощавшая, а именно мысль о поездке в Сибирь. Она оставалась непоколебимою в своем намерении, несмотря на все представленные ей доводы, чтобы отклонить ее от такого путешествия. Когда ее утешали, говоря, что ссылка моя будет непродолжительна и, следовательно, поездка ее бесполезна, она с горячностью отвечала:

«Поеду, хотя бы это облегчило его судьбу только на несколько дней».

Ее горничная Катерина Тенгманн (она заслуживает, чтобы я назвал ее здесь: это выражение моей к ней признательности) вызвалась сопровождать ее, хотя имела семидесятилетнюю мать, с которой ей трудно было расстаться.

— Я разделяла ваше счастье, — говорила она, — справедливость требует, чтобы я разделила ваше бедствие.

Моя жена хотела взять с собою только одну Эмилию, оставив остальных детей в Ревеле. Она назначила значительное вознаграждение одному надежному человеку, который должен был ей сопутствовать, и решилась пуститься в дорогу первого июля.

Таково было положение дел 17 июня. Моя жена провела весь этот день в грустной задумчивости. После обеда она пошла к себе в комнату и прилегла на кровать, чтобы немного отдохнуть; Кнорринг же сидел на балконе. Вдруг он увидал, что по дороге

мчится во всю прыть верховый курьер; последний скоро остановился, о чем-то справился, въехал во двор и, держа в руках какой-то пакет, сошел с лошади и побежал к дверям. Кнорринг, полуживой, пошел к нему навстречу; все его семейство страшно перепугалось.

— Приятная новость, — воскликнул радостно курьер, входя в комнату и показывая письмо от графа Палена к моей жене.

Кнорринг хотел взять письмо, но курьер желал передать его моей жене собственноручно.

Мои друзья были вне себя от радости, сочтя, однако, необходимым принять при этом некоторые меры предосторожности. С одной стороны, они не хотели разбудить мою жену, с другой же — сгорали желанием сообщить ей приятную новость. Но жена моя не спала и видела, как отворилась дверь и радостные лица пытались рассмотреть, спит она или нет.

— Что случилось, — спросила она, приподнимаясь, — вам что-нибудь от меня надо?

— Ничего решительно, — ответили ей с притворным равнодушием, — мы хотели узнать, спите ли вы.

— Нет, нет, я вижу по вашим лицам, что вы имеете сообщить мне хорошую новость.

— Да, это верно: хорошие известия о вашем муже. Курьер от графа Палена ожидает вас с письмом.

Моя жена мигом вскочила с постели и очутилась перед курьером, ожидавшим ее в передней. Она взяла у него письмо из рук, распечатала и со слезами на глазах прочитала следующее:

«Милостивая Государыня,

Его Императорское Величество Государь Император разрешает вам приехать в Петербург и жить с вашим мужем. Спешу с величайшим удовольствием сообщить вам об этой особенной к вам благосклонности нашего всемилостивейшего Монарха для того, чтобы вы могли отправиться в Петербург, как только признаете это для себя удобным. Вместе с этим послан курьер и к вашему мужу с тем, чтобы он мог уже находиться в Петербурге к вашему приезду, или приехать вскоре после вас. Я поставил себе в особенное удовольствие приискать вам приличное помещение.

Примите, Милостивая Государыня, уверение в живом моем участии к этому событию и в совершенном уважении, с которым имею честь быть ваш преданный слуга

Граф Пален.
С.-Петербург. 15 июня 1800 года».

Рассказ моих друзей о впечатлении, произведенном на мою жену этим письмом, принадлежит к числу самых трогательных. Радость ее походила на безумие. Она, имевшая едва достаточные силы, чтобы пересесть с одного дивана на другой, прыгала как серна и не могла стоять на месте, ходила взад и вперед, искала тысячу вещей, которые ей казались нужными, плакала и смеялась в одно и то же время. Она подарила курьеру все бывшие при ней деньги. Она непременно хотела сейчас же собираться в дорогу и завтра же ехать, и положительно объявила, что будет считать своим врагом всякого, кто воспротивится этому намерению.

К счастью, мой друг, доктор Блум, которому немедленно сообщили обо всем случившемся, не побоялся подвергнуться немилости моей жены. Ему удалось объяснить ей, что возбужденное состояние, в котором она находилась, не доказывает вовсе, что она обладает физическими силами, необходимыми для поездки; по его настоянию, жена моя решилась отложить свою поездку еще на несколько дней.

Впрочем, скоро после курьера прибыл гонец от ревельского губернатора (он сам жил тогда в деревне); генерал-прокурор сообщал ему ту же самую новость и приказывал объявить ее моей жене, доставив ей все необходимое для поездки, и уведомить его о количестве израсходованных на это денег. Он сообщил ему вместе с тем о том, что петербургскому генерал-губернатору приказано приготовить для моей жены и для меня приличное помещение.

Моя дорогая Христина, при выраженной готовности государя избавить ее от издержек поездки, очутилась в том же самом затруднительном положении, в котором несколько недель позже я сам находился. Слишком гордая, чтобы просить много, и в то же время опасаясь прослыть надменною, отвергнув всякое пособие, она обратилась за советом к друзьям и, следуя их внушению, ограничилась тем, что попросила денег только на проезд до Петербурга, которые и были тотчас же ей выданы.

Участие, выказанное моей жене большинством жителей Ревеля в это время, обязывает меня навсегда живейшей признательностью к ним. Полученное известие необыкновенно быстро распространилось по всему городу. О нем говорили везде, и на улицах останавливали экипажи, чтобы сообщить проезжавшим, которые, в свою очередь, встречая своих знакомых, передавали им эту новость. — «Слышали вы?» — кричали еще издали, завидев знакомого. — «Да знаю», — был обыкновенный

ответ. Но ликовали не только мои друзья, все люди с сердцем принимали участие в этом радостном известии, и хороший город Ревель доказал, что он населен чувствительными и сострадательными жителями.

Через четыре дня моя жена была в состоянии отправиться в путь. Она проехала сто миль от Ревеля до Петербурга, не останавливаясь ни разу для отдыха, в предположении найти меня уже в Петербурге, так как письмо графа Палена давало основание этому предположению. Единственно добрая воля графа могла внушить ей эту мысль, потому что курьер был отправлен ко мне только 15-го июля и я не имел никакой возможности приехать в Петербург ранее шести недель; для того, чтобы приехать даже и в этот срок, необходимо было ехать (как я это и сделал) скорее почты, с простою корреспонденциею. Поэтому моя жена приехала в Петербург гораздо ранее меня и поместилась в гостинице, так как назначенное для нас помещение еще не было готово; оно и впоследствии не было приведено в порядок, так как избыток скромности моей жены не позволил ей напоминать об этом.

Я, конечно, не упомянул бы об этом обстоятельстве, если бы оно не представило случая выказаться в новом блеске благородной деликатности моего друга Грауманна. Заметив, что расходы по прожитию в гостинице с многочисленным семейством значительно превосходили наличные средства моей жены, он нанял в величайшем секрете квартиру, заплатил за нее за два месяца вперед, убрал ее самым лучшим образом и просил мою жену туда переехать. Представьте себе изумление моей жены, когда, взойдя в квартиру, она нашла пять очень удобных, хорошо меблированных комнат, с постелями, посудой, столовым бельем, со шкафами, наполненными сахаром, чаем, кофе, свечами и всякою провизиею; необходимая серебряная посуда была также не забыта, словом сказать, моя жена очутилась среди полного хозяйства. Этот великодушный человек, создавший все это как бы волшебством, не хотел никогда объявить нам, сколько он потратил денег на подобное выражение дружбы! О! самая горькая чаша злополучия вызывает слезы радости и признательности, когда, осушив ее, находишь на дне столь редкое изображение истинной дружбы.

Вот весь рассказ моей жены о ее судьбе. Часы незаметно мелькали для меня и для возвращенной мне супруги. Заключавшие нас в себе стены, слышавшие столько горьких стонов несчастных, оглашались теперь самыми сладкими восторгами и выражениями самой нежной любви и признательной дружбы.

Для полного моего блаженства недоставало только моих

детей. Моя жена отправилась за ними, ожидавшими этой минуты с величайшим нетерпением. Они приехали; я видел, как они вышли из кареты; вот они поднялись по лестнице и повисли у меня на шее. Надо быть отцом семейства, чтобы понять такую сцену.

Пробило двенадцать часов дня; мы не замечали времени; эстафета из Гатчины не возвращалась, и я не обращал на это внимания. Моя маленькая комната или, лучше сказать, моя тюрьма, не заключала ли в себе все для меня самое драгоценное, все то, что мое сердце желало иметь?

Событие, случившееся вечером, увеличило нашу радость и наше умиление. Я забыл сказать, что мой сибирский спутник, русский купец, надеялся по приезде в Москву получить известия о своей жене и дочери. С этой целью он отправился навестить одного из своих родственников и вернулся глубоко опечаленный. «Я был так рад ехать, говорил он мне с трогательною и прямодушною простотою, но Бог обратил мне радость в горе; жена моя и дочь умерли». С этого времени он ничего более не говорил о них дорогою и вообще молчал и плакал, сидя в кибитке; я часто видел, как катились слезы по его седой бороде. По прибытии в Петербург он должен был в одной комнате со мною ожидать дальнейших распоряжений. Он сидел молчаливый и печальный, в углу, когда пришла моя жена. Свидетель нашего блаженства, он только вздыхал и не говорил нам ни слова; угрюмая печаль изображалась на его лице.

Вечером прибежал к нам курьер Александр Сукин и закричал:

— Иван Семенович, твоя жена и дочь живы.

Купец точно очнулся от сна, вскочил со стула, побежал шатаясь к дверям и очутился в объятиях жены и дочери. Последовало повторение трогательной сцены, изображенной незадолго перед этим нами самими. Продолжительность разлуки увеличивала радость свидания. Он оставил свою жену молодою и стройною, а встретил ее уже пожилою и очень полною. Дочь его в минуту его ссылки имела только восемь лет, теперь же она была взрослая, красивая девица, шестнадцати лет. Он сам с трудом верил своему счастью и своим глазам; он брал по временам свечку в руки и при ее освещении осматривал дочь со всех сторон. Лицо его сделалось совершенно веселым и слезы катились по щекам. Он мог произносить только неопределенные звуки радости и удивления, ах! ох! более ничего.

Весь день прошел в этих отрадных ощущениях; ночь приближалась, и я, лишенный всяких удобств, утомленный, совершенно сонный, решился попросить дозволения отправиться на свою квартиру, дав подписку вернуться на другой же день

утром. Фукс был настолько добр, что разрешил мне это, приняв на себя всю ответственность за подобное позволение. С сердцем, упоенным счастьем и признательностью, я вошел в дом, устроенный любовью и дружбою, и мои верные слуги встретили меня с радостными приветствиями.

Спустя час, не более, я получил записку от Фукса, сообщавшего мне, что из Гатчины получено приказание о моем полном освобождении. После четырех месяцев это была первая ночь, когда я мог заснуть свободным, в объятиях моей жены, окруженный детьми.

Какой сладкий сон и какое еще более радостное пробуждение!

На другой день утром я по обязанности должен был явиться к графу Палену, петербургскому губернатору. Не одна, впрочем, обязанность заставляла меня это сделать; меня побуждала также и признательность, потому что, несмотря на все свои многочисленные занятия, граф нашел время сообщить о моем освобождении не только моей жене, но и моей доброй матери, в самых ласковых выражениях. Окружавшая его толпа разных лиц помешала мне сказать ему что-либо, кроме обычных приветствий, на которые он мне отвечал тем же.

13-го августа я получил копию с указа, которым государь жаловал мне принадлежавшее казне имение Воррокулль в Лифляндии, освободив его от всяких повинностей. Это имение, очень обширное, заключавшее более четырехсот душ, приносило мне до четырех тысяч рублей арендного дохода; кроме того, здесь находился хороший дом со всеми хозяйственными принадлежностями. Это был истинно царский подарок и самое красноречивое доказательство моей невинности.

Чтобы позабыть сновидение о моей ссылке, я желал возвратиться в Германию, но друзья мои очень основательными доводами убедили меня не просить об этом. Я последовал их совету, потому что они лучше меня знали характер государя. В моем благодарственном к нему письме я упомянул только о том, что собираюсь ехать в деревню, чтобы наслаждаться в тишине великодушными благодеяниями его величества.

Мое письмо произвело впечатление, которого я вовсе не ожидал. На другой же день я получил от Брискорна, секретаря государя, следующее письмо:

> «В начале чтения вашего письма государю императору я имел удовольствие получить приказание немедленно послать указ о назначении вас директором труппы немецких актеров с производством в чин

надворного советника и с содержанием по тысяче двести рублей в год. Когда я дочитал до того места, в котором вы выражаете намерение ехать в деревню, его величеству благоугодно было приказать спросить согласие ваше на вышеупомянутое назначение. Исполняя это приказание, покорнейше прошу сообщить мне в возможной скорости, изволите ли вы принять благосклонное назначение нашего всемилостивейшего монарха, — и остаюсь с совершенным уважением.

Брискорн».

При письме находилась следующая приписка:

«В качестве директора театра вы будете находиться под непосредственным начальством гофмаршала двора Нарышкина».

Затруднительное положение, в которое я был поставлен этим письмом, равнялось моему страху. Отказавшись в Вене заниматься таким неблагодарным ремеслом, несмотря на милость и благосклонность барона Брауна, я должен был теперь снова принять на себя заведование театром. Я не раз давал клятву моей жене и самому себе не допускать более, чтобы меня увлекли на этот тернистый путь; горьким опытом я знал, что величайшие артисты нередко бывают самые безнравственные и несговорчивые люди; что одно замечание, самое незначительное, сделанное самым негласным образом кому-либо из них, делает его вашим непримиримым врагом. Большинство драматических артистов, даже самые замечательные из них, любят *не искусство, а артиста*, т. е. самих себя. Как они восхищаются большою мимическою картиною, состоящей из карикатур и странных образов, лишь бы только дорогая им маленькая их фигурка выказывалась бы с блеском в этой картине. Вот к какому заключению приводит меня печальный и долгий двадцатилетний опыт. Читатель извинит мне это отступление, которое я оканчиваю перифразом известных слов Шекспира: «Тщеславие — это имя всех актеров!»

С таким настроением духа и с таким пагубным сокровищем опытности, приобретенной на стольких театрах, я должен был стать во главе труппы, которую содержатель (антрепренер) по фамилии Мире (Miré) составил из остатков различных странствующих трупп, подбавив несколько актеров из Германии, правда, порядочных, но еще весьма далеких от совершенства. До этого времени труппа содержалась на счет собранной петербургскими купцами по подписке суммы, которая приходила к концу. Император, по представлению графа Палена, приказал принять содержание театра на счет казны. К моему несчастью, возвращение мое из ссылки совпало с этим предположением и

император возымел мысль, довольно, впрочем, естественную, поручить мне заведование этим новым делом. Большая ко мне благосклонность с его стороны и желание сделать мне удовольствие, без сомнения, побудили его к такому назначению; тем менее я смел отклонить от себя милость, которую он предполагал оказать мне этим.

В моем ответе я старался самыми тонкими оборотами, какие только мог придумать, избавиться от этого назначения, изобразив самыми яркими чертами с одной стороны мою безграничную признательность к государю, с другой же — мое необходимое отвращение к такого рода обязанности. Все это оказалось бесполезным. Вместо ответа я получил копию с трех указов, из которых одним, на имя гофмаршала, я назначался директором придворного немецкого театра, другим, данным Сенату, я производился в надворные советники, а третьим производство назначенного мне содержания относилось на счет собственных сумм его величества. К этому содержанию, которое могло казаться незначительным, присоединили еще тысячу восемьсот рублей из театральных сумм на разъезды и, кроме того, большую и удобную квартиру с отоплением и освещением. В материальном отношении государь сделал все и даже более того, что я вправе был от него ожидать; в этом отношении моя признательность была безгранична. Я получал теперь, включая доход с пожалованного мне имения, по крайней мере, девять тысяч рублей в год, кроме полного сбора со второго представления каждой из моих новых пьес, что увеличивало мой доход еще несколькими тысячами рублями в год. Но нуждался ли я в подобного рода увеличении моего благосостояния? Спокойствие, тишина, здоровье, приобретаются ли они золотом? Не имел ли я дом, правда, менее прекрасный, но более веселый в Иене и Веймаре? Не обладал ли я и без этого доходом, правда менее значительным, но достаточным, чтобы жить? Не жил ли я постоянно во владениях государя, бесспорно менее могущественного, но совершенно свободно и вдали от всякого страха и опасности? Наконец, — и этот один довод был значительнее всех остальных, — не оставил ли я там добрую и нежную мать, которой я обязан всем моим образованием? Она ожидала моего возвращения с величайшим нетерпением и считала меня единственным утешением ее преклонных лет.

Между тем из Тайной Экспедиции мне возвратили все бумаги, отобранные у меня на границе. Все было в целости до малейшего листочка. Я должен упомянуть при этом о чрезвычайно замечательном обстоятельстве.

С самого первого дня арестования до окончания моей ссылки

я был вполне убежден, что во всем написанном мною не было строчки, которая могла бы дать правительству повод подвергнуть меня такой жестокой участи. Однако в моих бумагах, действительно, оказалась *одна строчка*, которая, если бы дошла до сведения государя, быть может, увеличила и, наверное, продолжила бы мое бедствие. Эта строчка находилась в дневнике, который я вел в Вене. При моем приезде в этот город, прежде нежели меня узнали, мне приписывали республиканские убеждения. Через несколько времени после моего водворения, я сообщил барону Брауну мои опасения по этому поводу.

— Будьте покойны, — ответил он мне, — если вы сами уверены в самом себе. Император справедлив и никого не осудит без самого строгого и беспристрастного рассмотрения дела.

Записывая эти слова в своем дневнике, я прибавил следующее размышление: «Теперь я спокоен. Я достиг многого. Имп. П… редко находит, чтобы стоило рассматривать дело».

Это несчастное замечание, эти слова поистине оскорбительные и дерзкие, я совершенно забыл. Можно вообразить себе страх, овладевший мною, когда, пробегая свои бумаги, я вспомнил эти строки. Но можно себе также представить мою необычайную радость и признательность, когда я увидел, что какая-то великодушная и благосклонная рука вычеркнула эти строки с таким усердием и тщанием, что даже я сам с большим трудом мог разобрать их содержание. Вот доказательство, что, несмотря на ужас, вообще внушаемый Тайною Экспедициею, лица, принадлежащие к ее составу, подчиняясь строгим приказаниям им данным, всегда, где только можно, повинуются самым нежным влечениям собственного сердца. Эта похвала и должная справедливость относятся в особенности к статскому советнику Макарову (Makaroff). Он часто проливал слезы вместе с несчастными, и сердце его обливалось кровью всякий раз, когда он был обязан предавать их в руки палачей. Не знаю, кто именно обязан был просматривать мои бумаги, Макаров или Фукс, или кто другой; несмотря на все мои старания, я никогда не мог узнать этого. Я должен ограничиться выражением моей глубокой признательности перед людьми и Богом лицу, мне неизвестному. Какое счастье для меня, что я попал в такие руки! Указание этой одной строки могло бы погубить меня навсегда!

Я нашел, кроме того, в моих бумагах некоторые незначительные выражения, подчеркнутые карандашом; это были мои простые заметки, разные статистические выписки, анекдоты, черты, которые, желая сохранить в памяти, я записал вместе с моими замечаниями и рассуждениями.

Мне отдали драму *«Густав Ваза»,* завернутую особо с

надписью *«не делать никакого из нее употребления».* Одно выражение навлекло на эту пьесу такое решительное осуждение, именно то, в котором говорилось, что если монарх повелевает совершить преступление, то всегда находит тысячи рук, готовых поразить жертву.

Без сомнения, любопытно знать, какому счастливому обстоятельству я обязан моим освобождением. Читатель уже знает, что этим я обязан не докладной моей записке, посланной из Тобольска. Из моего рассказа видно, что курьер, доставивший мне указ о моем освобождении, встретился около Казани с везшим мою записку государю. Я сообщаю здесь все, что узнал по этому поводу из самых достоверных источников.

Меня уверяли, что жестокий генерал-прокурор в течение целого месяца оставил все мои бумаги без движения, ни разу не вспомнив о несчастном, томившемся в ссылке. Наконец сам император осведомился об их содержании и данный ему отзыв о совершенной их безвредности был первою, по всей вероятности, причиною, которая произвела перемену во взгляде императора относительно меня. Я сомневаюсь, однако, чтобы одна моя невинность была причиной моего освобождения. Известно вообще, что сильным мира сего гораздо легче оставить без изменения сделанную ими несправедливость, нежели сознаться в ней и исправить. Это общее правило, из которого, однако, император Павел I и некоторые другие государи представляют редкое исключение. Мой добрый гений создал еще другое обстоятельство, явившееся как нельзя более кстати. Года четыре тому назад я написал небольшую драму под заглавием *«Старый кучер Петра III»,* внушенную мне увлечением одним великодушным поступком императора, и я, конечно, не воображал тогда, чтобы она могла когда-либо так сильно повлиять на мою судьбу. Эта драма была переведена на русский язык молодым человеком по фамилии Краснопольский (Krasnopolski). Желая посвятить свой перевод императору, он обращался с просьбою об этом ко многим высокопоставленным лицам, которые советовали ему не делать этого, или, по крайней мере, умолчать в переводе, что это мое произведение, так как достаточно было моего ненавистного имени, чтобы испортить все дело, тем более, что русские и немецкие актеры, давая мои пьесы, не отваживались обозначать на афишах мою фамилию.

Благородный молодой человек не решился, однако, на такое литературное похищение.

— Пьеса написана Коцебу, — говорил он, — я только переводчик; я не хочу быть вороною в павлиньих перьях; я должен оставить его фамилию в заглавии пьесы.

Встретив затруднения лично поднести государю свой перевод, он послал его по почте.

Эта посылка произвела необычайное впечатление на государя. Он прочел пьесу, она его тронула и ему понравилась. Он приказал наградить переводчика богатым перстнем и запретил в то же время напечатать эту рукопись. Спустя несколько часов он опять потребовал рукопись к себе, прочел ее снова и дозволил печатать с исключением некоторых выражений, как например (кто бы мог это подумать), *«Император поклонился мне; он кланяется всем порядочным людям»*. В продолжение дня он пожелал просмотреть рукопись в третий раз, снова прочел ее и разрешил печатать без всяких пропусков. В то же время он объявил, что поступил со мною нехорошо, должен поправить свою ошибку и считает своею обязанностью сделать мне подарок, равный полученному кучером от его отца (т. е. в двадцать тысяч рублей). В ту же минуту отправлен был за мною курьер в Тобольск.

Вскоре была получена моя докладная записка. Император прочел ее два раза, несмотря на то, что она была очень длинна. Тронутый ее содержанием, он приказал эстляндскому губернатору выбрать для меня отличное казенное имение, вблизи Фриденталя. Такое приказание одинаково делает честь ему и сердцу. Он не довольствовался сделать мне подарок, он хотел сделать его приятным для меня образом. Нельзя отрицать, что в подобном приказании обнаружилась большая деликатность и благородство. Впрочем, в окрестностях Фриденталя не оказалось такого имения, какое государь желал мне подарить.

Вот все, что мне удалось узнать достоверного о причинах моего освобождения. Я еще менее знаю о причинах моего арестования и ссылки и сомневаюсь, чтобы рука времени могла когда-либо приподнять завесу, покрывающую эту тайну.

Несмотря на столько видимых и красноречивых доказательств расположения ко мне государя, ужас до того овладел моею душою, что я не мог видеть без сильного волнения сенатского курьера или фельдъегеря. Я не отваживался ездить в Гатчину, не взяв с собою порядочного количества денег и не будучи готовым отправиться вторично в ссылку.

9-го октября я получил в первый раз приказание немедленно прибыть в Гатчину. Я отправился на рассвете. Курьер приехал за мною ночью, и я, дрожа всем телом, пошел прощаться с женою. Судя по быстроте, с которою сообщили мне это приказание, я полагал, что дело касается чего-нибудь чрезвычайно важного. Ничуть не бывало. Государь приказал мне иметь самый строгий надзор за выбором пьес и исключать все подозрительные места.

Он говорил еще накануне с приближенными о необходимости цензуры и хотел возложить ее на меня. Я хорошо понимал, что рано или поздно эта обязанность сделается для меня камнем преткновения, скалою гибели, о которую мой, только что спасшийся от бури, утлый челн может разбиться снова. Я вошел с представлением о назначении для меня особого цензора, указывая на то, что автор не может быть в то же время и цензором, что ослепленный самолюбием, он невольно может совершить что-нибудь противное воле государя. Мне стоило много труда добиться осуществления моей просьбы. Наконец мне это удалось; моя добросовестность даже понравилась государю, и он назначил моим цензором Аделунга, человека очень ученого, соединявшего с ученостью много хорошего вкуса, очень известного в Германии изданием сборника памятников древней германской литературы, найденными им после больших трудов и тщательных изысканий в Ватиканской библиотеке в Риме.

Невозможно составить себе понятия о той невероятной строгости, с которою этот достойный человек и я сам должны были цензуровать пьесы. Довольно привести несколько примеров, чтобы показать, какое сильное отвращение я должен был испытывать к возложенной на меня обязанности.

Слово *республика* не должно было встречаться в моей драме «*Октавия*». Антоний не смел говорить *умираю свободным римлянином.* В комедии «*Эпиграмма*» должно было из императора Японии сделать простого владельца этого острова. Равным образом необходимо было исключить вредную мысль, что *икра получается из России и что Россия страна отдаленная.* Не позволялось камергеру полагать, что он *хороший патриот,* потому что не соглашался вступить в брак с иностранкою. Равным образом не допускалось говорить, что камер-лакей *дерзок.* Надо было исключить фразу, в которой говорилось, что его величество *не болен и не ослеп.* Не позволялось, чтобы князь имел борзую собаку, чтобы советник чесал ей за ухом и чтобы пажи надевали на голову советника бумажный колпак. В пьесе *«Два Клингсберга» русский князь,* о котором мимоходом упоминает госпожа Вунчель, был обращен в *иностранного вельможу* и вместо *польской шапки* так же Вунчель должна была надеть *венгерскую.* Слово *крепость* заменялось словом тюрьма, слово *царедворец* — словом льстец (что конечно не очень лестно для царедворцев), выражение *мой дядя министр* — заменили выражением *мой всемогущий дядя.* Восклицание молодого Клингсберга о тетке и Амалии: *пожалуй, они сделаются принцессами,* показалось слишком оскорбительным и было исключено.

В пьесе «*Аббат Эпэ*» не позволено было, чтобы в Тулузе

обитали *граждане.* Франваль не смел говорить *горе моей родине;* он должен был сказать *горе моей стране,* потому что особым указом воспрещалось русским иметь *родину.* Аббат Эпэ, который как известно приезжает из Парижа, не смел прибывать оттуда и не смел упоминать ни *о лице* этого города, ни даже о Франции.

Познания в естественных науках Бюффона, *наука* д'Аламбера, *чувствительность* Руссо, *ум* Вольтера, все это было безжалостно исключено одним прочерком пера.

В пьесе под названием «Секретарь» необходимо было совершенно исключить всю роль заговорщика.

Хотя я привел только отдельные примеры, взятые наудачу, чтобы не входить в слишком большие подробности, но они дают достаточное понятие о крайней строгости, которую цензор вопреки своему желанию должен был соблюдать при исполнении своей обязанности. Сколько раз прежде я потешался глупостью цензора в Риге (Туманского), совершенно тупого человека, который, например, в моей пьесе «*Примирение*» вычеркнул следующие слова сапожника: *Я отправлюсь в Россию; говорят, там холоднее здешнего* (он сгорал безнадежною любовью) и заменил их следующими: *Я уезжаю в Россию, там только одни честные люди! Я* не предполагал тогда, что в Петербурге будут когда-либо из страха делать то же самое, что Туманский по глупости делал в Риге.

Мы были бы поставлены в немалое затруднение, если бы государь, по какому-нибудь случаю обратив внимание на подобные исключения и переделки, спросил бы нас, на каком основании это сделано? Например, из «Октавии» были исключены между прочим два места. В одном из них говорилось, что властелин награждает повара за отменно вкусное блюдо домом, который ему даже не принадлежит. — Разве я когда-либо сделал что-нибудь подобное? — мог спросить император, а если не делал, то почему же сочли вы это место для меня оскорбительным?.. В другом месте Цезарь говорит, что Антоний, как всем известно, находился под влиянием собственных рабов. Император мог также спросить, разве вы полагаете, что я нахожусь под влиянием и господством разных любимцев и камер-юнгфер? А если вы этого не предполагаете, то зачем же вычеркнули эти слова?

Эти два примера — а я мог привести их тысячу, — показывают, до чего должность цензора была опасна для лица, исполнявшего эту обязанность, и до чего цензура была стеснительна для меня, подвергавшегося ей постоянно. Аделунг, при самом лучшем желании, не мог облегчить бремя этой должности ни для меня, ни для себя.

Кроме этого стеснения существовала еще тысяча неприятностей, не замедливших внушить мне отвращение к моей должности. Я не упоминаю о бесконечных ссорах и дрязгах с актерами, об их упрямых характерах и безграничном самолюбии. Все это было обыкновенное. Одно обстоятельство, гораздо сильнейшее, препятствовало развитию немецкого театра — именно зависть французских актеров, или, точнее сказать, зависть госпожи Шевалье, которая была их главою, или вернее, их душою. Нельзя сказать, чтобы она опасалась превосходства немецкого драматического искусства над французскими талантами; она очень хорошо знала и посредственность нашей труппы, и то расположение, которое русские с незапамятных времен оказывают всему французскому, а потому и не могла предаваться таким ребяческим опасениям. Но она не хотела допустить, чтобы кто-либо кроме ее доставлял развлечение государю. Она добилась того, что итальянские и русские актеры не приглашались играть в Гатчине и в Эрмитаже; даже французской трагической актрисе, госпоже Вальвилль, она дозволяла играть очень редко. Очень могло случиться, что немецкая труппа, хотя бы только своею новизною, обратит на себя внимание государя, заслужит его одобрение и он привыкнет посещать немецкий театр, через что госпожа Шевалье одним разом в неделю менее будет показываться на сцене перед государем. Вот это именно она и желала по возможности отвратить.

Четыре раза император выражал желание видеть в своем дворце немецкое представление, четыре раза я получал приказание от гофмаршала приготовиться, и четыре раза госпожа Шевалье сумела этому воспрепятствовать.

Зная довольно хорошо вкус императора и, кроме того, получив точное приказание поставить на сцену одну из моих пьес, я выбрал для первого представления «Примирение», а для второго «Холостяки», сочинение Иффланда. Пьесы, назначавшиеся к представлению в присутствии императора, должны были быть не длинны и продолжаться не свыше полутора часа и ни коим образом более семи четвертей часа. Я принял на себя неблагодарную обязанность укоротить эти пьесы и применить их к назначенному времени. Все это оказалось напрасным трудом. Госпожа Шевалье сумела доказать, что хорошенькие султанши с вздернутыми носами, о которых говорит Мармонтель, еще не вымерли.

Что мне осталось делать? Конечно, я мог лично обратиться к государю и получил бы от него приказание, которое сделало бы бесплодным всякое возражение; но настроение двора мне было

очень хорошо известно, а потому я решился терпеливо переносить то, что не в силах был изменить. Госпожа Шевалье держала себя, впрочем, относительно меня прекрасно, желая этим вознаградить за те неприятности, которым подвергала немецкую труппу и ее директора. Я пользовался редкою исключительною милостью быть принятым в ее доме и присутствовать у нее на обедах. Она сделала мне честь исполнить роль Гурли в моей пьесе *«Индейцы в Англии»,* которую некий маркиз Кастельно по своей жестокой доброте обратил в комическую оперу, не лишенную интереса, потому что известный капельмейстер Сарти написал очень хорошую к ней музыку. Госпожа Шевалье простирала свое доверие к моим талантам до того, что просила меня написать для нее комическую оперу, притом французскую, и в моем вкусе. Сила обстоятельств заставила меня серьезно заняться этою просьбою.

Все ее вежливости, которые могли лишь обеспечить мое личное положение, не делали приятным мое общественное положение и это побудило меня при первом удобном случае просить об увольнении от должности. Нужно ли изобразить сильными, но верными красками состояние моей души, чтобы оправдать такое решение? Увы! я разделял опасение и беспокойство почти всех жителей Петербурга. Злодеи, злоупотребляя доверием монарха, по природе расположенного к добру, представляли ему во всем какие-то небывалые призраки, в существование которых они сами не верили, и достигли того, что в стране водворился террор. Каждый вечер я ложился с мрачными предчувствиями; ночью внезапно просыпался и вскакивал в смертельном ужасе при малейшем шуме, при стуке всякой проезжавшей по улице кареты. Каждое утро первою заботою было избегнуть возможных бедствий в течение дня. Выходя из дому, я еще издали искал глазами государя, чтобы вовремя выйти из экипажа; я наблюдал с большим беспокойством за цветом моей одежды, ее покроем и отделкою; я был принужден оказывать внимание женщинам сомнительной репутации и мужчинам ограниченного ума; я сносил дерзости мужа госпожи Шевалье, невежественного балетмейстера; при каждом представлении моей пьесы, дрожа всем телом, я ожидал, что постоянно зоркая и бдительная полиция или Тайная Экспедиция откроют в ней что-либо подозрительное или оскорбительное. Каждый раз, когда жена моя отправлялась с детьми гулять и не возвращалась долее обыкновенного, я дрожал, опасаясь, что она слишком поздно вышла из экипажа при встрече с государем и была отправлена за это в общую тюрьму, как это сделали с женою содержателя гостиницы г. Демута. Я редко смел поверять мои горести какому-

нибудь другу, потому что стены слушали и брат не мог положиться на брата. Я не имел возможности достать себе книг, чтобы чтением развлечься в такое смутное и бедственное время, — почти все книги были запрещены.

Я должен был отказаться от употребления пера, потому что возможно ли было что-либо доверить бумаге, которую во всякий час могли у меня отобрать. Я подвергал опасности свое здоровье всякий раз, когда должен был по делам своим проезжать мимо дворца, так как во всякое время года, несмотря ни на какую погоду, все обязаны были снимать шляпу, приближаясь к этой груде камней и удаляясь от нее. Самая невинная прогулка обращалась в мучение, потому что почти всегда можно было встретить несчастных, которых вели или в тюрьму, или для наказания кнутом.

Ссылаюсь на всех жителей Петербурга, если изображенная мною картина покажется слишком мрачною. О! если бы государь, искренно желавший счастья своих подданных, знал бы все это!..

Можно вообразить себе увеличение моего ужаса, когда среди этих беспрестанных тревог я получил 16 декабря утром, в восемь часов, приказание от графа Палена немедленно явиться к нему. Хотя он выбрал гонцом очень скромного и образованного молодого человека, из числа моих знакомых, и поручил ему предварить меня, что я не должен ничего пугаться, но, признаюсь, достаточно было одного его появления и первых его слов, чтобы страшно испугать как меня, так и мою жену, едва не упавшую в обморок.

Граф Пален сообщил мне, улыбаясь при моем появлении, что государь решился послать вызов или приглашение на турнир всем государям Европы и их министрам и указал на меня, как на человека, который мог написать это приглашение и напечатать его во всех газетах. Он прибавил к этому, что барон Тугут должен, по преимуществу, подвергнуться жестоким нападкам и сильному осмеянию и что генералы Кутузов и Пален должны быть секундантами императора (мысль о секундантах явилась в голове императора за полчаса до моего приезда, и он написал об этом Палену карандашом записку, которая и лежала на столе графа). Это странное приглашение надлежало составить в час времени, и мне было приказано лично представить его государю.

Я повиновался и через час с небольшим принес графу написанный мною вызов на поединок. Граф, знавший лучше меня намерения государя, нашел, что вызов не довольно язвителен. Он приказал мне сесть за его письменный стол, и я набросал другой проект вызова, который ему понравился гораздо более первого. Мы оба отправились во дворец. В первый раз в моей жизни я

должен был явиться пред человеком, который своею жестокостью и своими благодеяниями, причиненными мне ужасом и радостью, внушенными мне отвращением и признательностью, сделался для меня столь великим лицом. Я никогда не желал иметь подобной чести и сомневался, чтобы она была мне когда-либо оказана, потому что мой вид мог только быть неприятен государю и служить ему как бы упреком.

Мы ожидали довольно долго в приемной. Император поехал куда-то верхом и возвратился поздно. Граф вошел к нему с моею бумагою в кабинет и после довольно долгого там пребывания вышел не в духе и сказал мне, проходя мимо, только следующие слова:

— Приходите ко мне в два часа; вызов все еще не довольно резок.

Я вернулся домой, убежденный, что этот случай не доставит мне расположения государя. Не прошло получаса, как прибежал опрометью камер-лакей от государя с приказанием, чтобы я немедленно к нему явился. Я поспешил повиноваться.

При моем входе в кабинет государя, в котором никого не было кроме его и графа Палена, он встал из-за своего письменного стола, сделал два шага ко мне и, поклонившись с особенным благоволением, сказал:

— Господин Коцебу, я должен прежде всего помириться с вами.

Я был сильно поражен этим нежданным приемом. Цари имеют в своих руках в виде скипетра волшебную палочку, делающую их всемогущими: это *милосердие*! Всякое злопамятство исчезло из моего сердца при этих словах императора. Согласно с этикетом, я хотел стать на колени и поцеловать его руку; но он меня любезно поднял, поцеловал в лоб и на хорошем немецком языке сказал:

— Вы слишком хорошо знакомы со светом, чтобы не иметь сведений о современных политических событиях; вы знаете, какое участие я принимал в них. Я часто поступал неловко, — продолжал он смеясь, — справедливость требует, чтобы я был за это наказан; я сам определил уже себе наказание. Я желаю, чтобы это (он показал бумагу, бывшую в его руке) было напечатано в «Гамбургской Газете» и других журналах.

После этого он дружески взял меня под руку, подвел к окну и прочитал бумагу, написанную его рукою на французском языке. Вот ее содержание слово в слово;

> «Нам сообщают из Петербурга, что Российский император, видя, что европейские державы не могут

прийти к взаимному между собою соглашению, и желая положить конец войне, опустошающей Европу в продолжение одиннадцати лет, возымел мысль назначить место для поединка и пригласить всех прочих государей прибыть туда и сразиться между собою, имея при себе секундантами, оруженосцами и судьями поединка своих самых просвещенных министров и самых искусных генералов, как например, гг. Тугута, Питта, Бернсторфа, сам же он намеревался взять с собою генералов Палена и Кутузова. Неизвестно, насколько вероятен этот слух; во всяком случае, он не лишен, по-видимому, основания, так как в нем проявляется то, в чем часто обвиняли государя»[3].

При последних словах он чистосердечно засмеялся. Я также улыбнулся.

— Чему вы смеетесь? — спросил он меня два раза сряду и очень скоро, продолжая смеяться.

— Тому, что ваше императорское величество имеете такие подробные обо всем сведения.

— Возьмите это, — продолжал он, передавши мне бумагу, — и переведите на немецкий язык. Сохраните у себя подлинник, а мне принесите копию.

Я вышел и сел за работу. Последнее слово *taxé* меня затрудняло. Должен ли я был перевести его немецким словом, соответствующим *accusé,* или нет? Выражение это могло показаться государю слишком резким и оскорбительным. После долгих обсуждений я прибегнул к маленькой уловке и написал «к чему его часто считали способным» (dont on l'a souvent jugé capable).

В два часа я возвратился во дворец. Граф Кутайсов доложил государю о моем приходе, и меня немедленно ввели в кабинет, в котором он находился один.

— Сядьте, — сказал он мне ласково.

Из уважения я не решался на это, но он более строгим голосом сказал:

— Сядьте же, я вам говорю.

Я взял стул и сел против него за столом.

Он взял французский оригинал в руки и сказал:

— Прочтите мне ваш перевод.

Я начал медленно читать, посматривая по временам из-за бумаги на государя.

Он засмеялся, когда я дошел до слова *en champclos.* Впрочем, по временам он качал головою для выражения одобрения, пока я,

наконец, дошел до слова *taxé*.

— Считали способным? (*jugé capable*), — сказал он; — нет, это не то. Вы должны были передать слово *taxé*.

Я осмелился заметить, что на немецком языке *taxer* означает определять цену какого-либо предмета или поступка.

— Это очень хорошо, — возразил государь, — но слова *считать способным* не передают значения слова *taxer*.

Тогда я отважился сказать тихим голосом, что можно употребить выражение «обвиняют».

— Очень хорошо, это так: *обвиняют,* — повторил он раза три или четыре, и я исправил перевод по его приказанию.

Он дружески поблагодарил меня за мой труд и отпустил домой.

Я ушел, очарованный и тронутый лестным и любезным приемом, мне оказанным. Все лица, имевшие близкие с государем сношения, засвидетельствуют, что он умел быть чрезвычайно ласковым и привлекательным и что тогда было очень трудно и почти невозможно не поддаваться ему.

Я не счел возможным умолчать о малейших подробностях этого обстоятельства, наделавшего столько шума в мире. Вызов к государям был напечатан через два дня в русской газете, к величайшему изумлению всего города. Президент Академии наук, получивший рукопись для ее напечатания, не верил собственным глазам. Он лично отправился к графу Палену, чтобы удостовериться, нет ли тут какого-либо недоразумения. В Москве номер газеты с этим вызовом был задержан по распоряжению полиции, которая не могла допустить мысли, что это напечатано по воле государя. То же самое случилось и в Риге.

Император со своей стороны мог едва дождаться появления этого вызова в печати и в нетерпении справлялся об этом несколько раз.

На другой день он подарил мне прекрасную табакерку, украшенную бриллиантами, стоимостью около двух тысяч рублей. Я не думаю, чтобы перевод каких-нибудь двадцати строк был когда-либо оплачен с такою щедростью.

Государь сообщил потом императрице, что познакомился со мною.

— Теперь это один из самых лучших моих подданных, — сказал он ей про меня.

Мне сообщил это очевидец; я не знаю только на каком основании государь считал меня теперь лучшим русским подданным, нежели *до поездки* моей в Сибирь.

Некоторые лица негодовали на меня за то, что я не воспользовался этим прекрасным случаем испросить у государя

новых для себя милостей. Правда, он, по-видимому, ожидал подобной просьбы с моей стороны; его взгляд, преисполненный доброты и благосклонности, как бы поощрял меня к этому; но внутреннее чувство мое противилось этому, и я никогда не буду сожалеть, что, может быть, потерял, таким образом, многое.

Не приобрел ли я с другой стороны неоцененное благо, — *спокойствие,* которого был лишен столь долгое время?

После того как я имел счастье говорить с государем и узнать его благородное и великодушное сердце, большая часть моих опасений рассеялась; я любил государя более, нежели его боялся, и уверился, что честное, свободное, открытое обращение, без низости, без робкого унижения, ему очень приятно. Надо было только примениться к его небольшим странностям; но это было нетрудно. Совершенно верно, что, требуя строгого исполнения некоторых мелочей, он не обнаруживал великодушия; но следует также согласиться, что отвращение, выказываемое при исполнении этих формальностей, нисколько не нарушивших истинного счастья его подданных, было еще менее великодушно.

С этого времени я удостаивался множества мелких доказательств благосклонности ко мне императора. При всякой встрече со мною на улице он останавливал меня и говорил хотя бы несколько слов. Он не изменил своего ко мне расположения до самой смерти и был постоянно ко мне ласков и благосклонен. В эту самую минуту, когда я пишу эти строки, слезы текут из моих глаз; зачем мне стыдиться этого?

В январе месяце государь приказал французским актерам сыграть на сцене Эрмитажа «Ненависть и Раскаяние». Известно, что в этот тесный придворный круг имеют доступ, кроме гвардейских офицеров, только особы первых четырех классов. Государь удостоил сделать исключение для автора пьесы — и пригласил меня на это представление. С этого времени я получил свободный доступ на все представления, даваемые в Эрмитаже.

Можно себе представить, как сильно билось мое сердце в продолжение всего представления *«Ненависти и Раскаяния».* Глубоким впечатлением, произведенным этой пьесою на государя, я обязан, по преимуществу, прекрасной безукоризненной игре госпожи Вальвилль. Офрен (Aufresne) старик, имевший более семидесяти лет и пользовавшийся громадным успехом в Германии, играл роль старца. Государь сидел возле самого оркестра, что меня очень поразило. В продолжение всего представления позади его стула стоял кавалер Мальтийского ордена св. Иоанна Иерусалимского.

В это же время государь пожелал услышать исполнение на французском языке «Сотворения мира» Гайдна и просил меня

сделать перевод. Нельзя себе представить, что это был за труд; стоит только припомнить, как трудно делать перевод, применяя его в то же время к готовой музыке: чрезвычайная, доходившая почти до мелочности, аккуратность нашего доброго старика Сарти еще более затрудняла мою работу. Он должен был применять мои слова к музыке и постоянно толковал мне о длинных и коротких слогах, редко соблюдаемых во французском языке. Впрочем, работа моя приближалась к концу, и в течение поста предполагалось исполнить это произведение. Но государь не дожил до поста.

Я считал бы этот период моей жизни одним из самых счастливейших, если бы не получил полного отвращения к управлению театром, несмотря на особенную благосклонность, оказываемую мне моим начальником, гофмаршалом двора Нарышкиным, благородное обхождение которого со мною я не могу не хвалить с большою признательностью. Я составил круг избранных друзей; круг этот был немногочислен, но лица, его составлявшие, были мне дороги. В числе их я могу назвать советника Шторха (Storch), известного и уважаемого в Германии писателя, благородное и чувствительное сердце которого я имел счастье узнать; милейшего статского советника Сутгофа (Suthoff) и его любезную супругу; статского советника Вельцына (Welzien), человека без претензий и одаренного очень веселым характером. Мы распределили между собою известные дни, в которые собирались; проведенные мною в этом кругу друзей часы будут еще очень долгое время для меня приятным воспоминанием. Я уверен также, что названные мною друзья, со своей стороны, будут часто и долго меня вспоминать.

К этому времени я был неожиданно и самым приятным образом избавлен от тягостной обязанности управлять театром. Государь окончил постройку своего знаменитого Михайловского дворца и был восхищен этим волшебным замком, восставшим как бы чародейством из земли и стоившим около 15 или 18 миллионов рублей. Государь предпочитал его всем прочим дворцам и покинул свой так называемый Зимний дворец, удобный и поместительный, для того, чтобы запереться в толстых, сырых и вечно мокрых стенах этого нового дворца.

Его доктора неоднократно осматривали это новое здание и всякий раз предупреждали об опасности, которой живущие в нем могут подвергнуться от сырости; но их постоянно отсылали назад, чтобы они дали более благоприятный отзыв. Видя, что делать нечего, они и дали заключение, какое желали от них получить. Государь среди зимы переехал в это сырое помещение и был очень доволен. Он находил большое удовольствие водить по

всему дворцу своих гостей и показывать им массу мраморных и бронзовых вещей, выписанных им из Рима и Парижа. Восторженные и преувеличенные похвалы, само собою разумеется, расточаемые при этом каждой безделушке, и тысячу раз повторяемое восклицание: как это прелестно! как это божественно! и т. д. породили, наконец, в государе мысль приказать составить подробное описание этого восьмого чуда света. В самых лестных выражениях он возложил эту работу на меня. Не раз он мне говорил, что ожидает от меня чего-нибудь необыкновенного. Составив себе заранее такое высокое понятие о моем труде, он поставил меня в немалое затруднение. Он взял из своей библиотеки и передал мне «Описание Берлина и Потсдама», составленное Николаи (Nikolai), выразив желание, чтобы мое описание было бы, если возможно, еще более подробно.

Соображаясь с его приказаниями, я доложил ему, что не имею многих сведений, необходимых для составления такого описания, что я сам не в состоянии оценить по достоинству произведений искусств архитектуры, живописи и скульптуры, и что поэтому я осмеливаюсь просить о дозволении взять себе в помощь лиц, сведущих в этих искусствах. Это тотчас же мне было разрешено. Я предположил пригласить для скульптуры и древностей надворного советника *Колера,* заведовавшего тогда кабинетом редкостей при Эрмитаже, человека столь же сведущего, сколько и услужливого; для архитектуры я выбрал итальянского архитектора *Бренна,* а для живописи двух братьев *Кугельхен,* известных всем по своим талантам и обходительности.

Государь милостиво соизволил на это согласиться и разрешил мне доступ во дворец во всякое время. Гофмаршал, как главный управляющий дворцом, обошел со мною в первый раз все здание, и я принялся за работу.

Не было дня, большую часть которого я не проводил бы во дворце. Я находился там утром, после обеда и даже иногда поздно вечером и очень часто встречался с государем. В составляемый мною инвентарь я вносил все, что мне казалось достойным внимания. Государь всякий раз останавливался, говорил со мною ласково и убеждал ничего не описывать поверхностно, но входить везде и во всем в большие подробности.

Я воспользовался этим поручением, чтобы попросить увольнения от должности директора немецкого театра. Я подал письменное прошение об этом моему начальнику 8 февраля. Нарышкин был настолько добр, что сделал несколько лестных для меня возражений против этого намерения, но, видя мою настойчивость, отложил дело на неопределенное время. Спустя

несколько дней я опять явился к нему с тою же просьбою и не переставал повторять моих настояний и доводов, пока вполне не убедился, что этим не достигну желаемой цели. Чтобы, по крайней мере, облегчить лежавшее на мне тягостное бремя, я решился прибегнуть к следующему. Я представил, что вследствие моих постоянных и непрерывных занятий в Михайловском дворце я нахожусь в невозможности уделить необходимое время заведованию театром, а потому, если меня не желают уволить от этой должности, то мне не остается ничего другого, как просить о назначении мне помощника.

На эту последнюю просьбу согласились и предоставили мне самому выбрать себе помощника. Таким образом, в лице одного из своих друзей я выбрал себе режиссера, дав ему 1500 руб. жалования в год и один бенефис, и мог возложить на него большую часть забот и неприятностей, соединявшихся с моею должностью.

Здесь я должен на минуту остановиться и опровергнуть нелепое и необдуманное известие, напечатанное в одном немецком журнале «Для прекрасного Общества» (Fur die elegante Welt). Там сообщалось, во-первых, что я утомлял актеров, заставляя их постоянно учить роли. Вероятно, сообщивший это был ленивый актер, так как я назначал пятнадцать дней для выучки даже незначительной роли. Во-вторых, утверждалось, что игрались только пьесы моего сочинения. Какой смешной упрек! Конечно, большинство новых пьес были моего сочинения по той причине, что я не имел других. Вся Европа знает, что через границу не пропускали ни одной книги, ни одной рукописи, даже не пропускалась Библия! Каким же образом мог я добыть новых пьес? Я не имел другого репертуара, кроме оставленного мне антрепренером Мире, как-то: «*Воспоминание*» — сочинение Иффланда, «*Инкогнито*» — Циглера, и несколько других. Я назначал к представлению эти пьесы; но не мог не назначать и других. Ссылаясь на свидетельство самого Иффланда, он удостоверит, что я письменно просил его прислать мне новые его произведения, написав их на маленьких листках, мелким шрифтом, в форме писем. Это подвергало меня большой ответственности. Так как и этим путем я не добился ничего, то должен был играть только одни старые пьесы, потому что и мои все истощились. К чему же делать мне такой полный горечи упрек, неосновательность которого не могла не броситься в глаза корреспонденту, если он находился тогда в Петербурге.

Читатель извинит мне это отступление, вызванное жестоко оскорбленным самолюбием.

Описание Михайловского дворца приближалось к окончанию.

Но скоро государь скончался и большая часть драгоценных вещей, находившихся в этом дворце, была перевезена в другие места. Однако самый дворец, расположение в нем комнат — проливали свет не только на вкус, но и на характер умершего государя, а потому, исполняя положительно выраженное желание многих моих друзей, я полагаю удовлетворить любознательности многих читателей, поместив здесь краткое извлечение из длинного и утомительного описания этого дворца.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ИМПЕРАТОРСКОГО МИХАЙЛОВСКОГО ДВОРЦА

Михайловский дворец (ныне Инженерный замок) занимает место, на котором некогда стоял Летний дворец, построенный в 1711 году Петром Великим, при слиянии Мойки с Фонтанкою. Императрица Елизавета возобновила его впоследствии, но он оставался по-прежнему деревянным и угрожал падением. Теперь — это феникс, восставший из пепла.

Садовая улица доходит до главного входа (портала). Восемь дорических колонн из красноватого туземного мрамора поддерживают арматуры. Вензель императора на кресте ордена св. Иоанна Иерусалимского, орлы, короны, бронзовые вызолоченные гирлянды украшают трое решетчатых ворот. Средние ворота открываются только для царской фамилии. Все трое ворот ведут к тройной аллее лип и берез, посаженных императрицею Анною. Эта аллея тянется между экзерциргаузом (зданием для учения войска) с одной стороны, и конюшнями с другой, примыкает к двум павильонам или службам, в которых отводились помещения для служащих при императорском дворце. Экзерциргауз — громадное, продолговатое здание, которое нельзя достаточно натопить зимою, несмотря на находящиеся в нем двадцать четыре большие печи.

Подъемный мост через канал, шириною в пять сажен, берега которого обложены тесаным камнем, ведет к большой дворцовой площади, в 56 сажен длины и 60 ширины. Посередине ее на трех ступенях возвышается мраморный пьедестал (подножие), на котором стоит колоссальная конная статуя Петра Великого из бронзы. Конь ступает шагом, всадник одет в римское одеяние, чело его украшено лавровым венком. Итальянец Мартелли сделал еще в 1774 году, в царствование Елизаветы, модель этой статуи, но ее забросили и забыли в каком-то сарае. Благоговение правнука к прадеду извлекло эту статую из забвения. На передней части пьедестала находится лаконическая надпись: «Прадеду правнук». На правой и левой сторонах находятся два бронзовых барельефа, изображающие битву при Полтаве и взятие Шлиссельбургской крепости.

Мы стоим лицом к дворцу и притом совершенно близко от него. Это здание имеет форму правильного четырехугольника; каждая сторона его, за исключением выдающихся углов, имеет по 49 сажен. Дворец окружен со всех сторон канавами, снабженными водою из Фонтанки и обложенными гранитом; через них

перекинуто пять подъемных мостов. Фундамент дворца имеет девять футов глубины и состоит из свай, плотно вбитых одна возле другой с деревянною насадкою.

Подвалы и нижний этаж сложены из больших кусков тесаного гранита, а два верхних — из кирпича, обложенного большею частью мрамором. Остальное свободное место на стенах покрыто каким-то красноватым составом. Предание, не лишенное достоверности, приписывает появление этого цвета рыцарской вежливости государя. Придворная дама явилась однажды во дворец в перчатках красноватого цвета, и государь, взяв перчатку, послал ее как образец мастеру с тем, чтобы он составил такого же цвета смазку. Надо признаться, впрочем, что такой резкий красный цвет более приличен для перчаток, нежели для дворца. Многие петербургские жители воспользовались этим случаем, чтобы польстить государю, и окрасили свои дома в такой же цвет. Госпожа Шевалье довела эту тонкую любезность еще далее, она явилась в одежде такого же красного цвета в роли Ифигении, хотя не особенно любила драпироваться.

Я не стану описывать первого общего впечатления, производимого этою громадною массою красноватых камней, обнесенною рвами и подъемными мостами и окруженною двадцатью девятью медными пушками большого калибра.

Присоедините к этому еще впечатление, производимое поражающими взгляд украшениями, из которых некоторые прямо противоречат требованиям искусства. Так, например, при самом входе, у главного фасада, возвышаются два огромных обелиска серого мрамора, достигающие почти крыши здания, с изображением вензеля государя из бронзы и трофеями из белого мрамора, а рядом с этими обелисками в маленьких стенных углублениях (в нишах) стоят статуи белого мрамора, очень жалкие в сравнении с Дианою или Аполлоном Бельведерскими, а затем ряд ионических колонн поддерживает возвышающийся над ними простой, без украшений, портал, над которым поставлен фронтон белого паросского мрамора, работы братьев Стажи, изображающий историю в виде Молвы (la Renomèe), как это сделано на колонне Траяна. Еще выше, на аттике (верхнем ярусе), две богини славы поддерживают императорский герб, — а над всем этим железная крыша, окрашенная зеленым цветом, по краям которой стоит ряд статуй, изображающих богинь, увенчанных башнями и носящих на щитах гербы русских губерний. Затем на фризе из русского порфира сделана следующая надпись большими бронзовыми буквами: *«Дому твоему подобает Святыня Господня в долготу дней»,* и наконец над воротами, на черной мраморной доске надпись:

«*Воскресенские*». Вообразите себе это странное смешение предметов, из которых каждый взятый отдельно отличается большими красотами, но целое, сопоставленное таким образом, лишь поражает взгляд, но не пленяет. Архитектор Бренна, руководивший всей постройкой, говорил, что государь сам приказал сделать такие украшения и даже дал рисунки их; но многие сомневаются в этом.

Церковь выдается из второго фасада полукругом. Она облицована серым сибирским мрамором и барельефами, изображающими четырех евангелистов; по карнизам помещены ангельские головки, а в нишах две статуи — Веры и Религии. На аттике с обеих сторон креста стоят статуи апостолов св. Петра и св. Павла. Куполом церкви служит вызолоченная башня. Она окружена четырьмя канделябрами, также из вызолоченной бронзы. Над воротами, находящимися невдалеке от церкви, на черной мраморной доске надпись; «*Рождественские*».

Я тщетно пытался уяснить себе намерение государя при выборе подобных надписей на воротах. Одно важное лицо посоветовало мне не переводить этих надписей в моем описании.

Перехожу к третьему фасаду, обращенному к стороне Летнего сада. Круглая лестница из 26 ступеней сердобольского гранита ведет в обширную прихожую, поддерживаемую десятью колоннами дорического ордера из белого мрамора. С обеих сторон в нишах стоят две египетские статуи из *bardiglio di Carrara,* т. е. твердого камня, имеющего цвет базальта. На площадке лестницы с обеих сторон красуются прелестные статуи Геркулеса и Флоры Фарнезских, отлитые из меди под руководством Петербургской Академии художеств. Возле них стоят две медные вазы на гранитных подставках, точно скопированные художником Гастклу (Hastecloux) с двух ваз — Медицейской и Боргезской.

Над колоннадою возвышается большой балкон, украшенный десятью вазами и статуями четырех времен года из белого мрамора. Аттик поддерживается шестью кариатидами, между которыми французский художник Тибо поместил барельефы из белого мрамора. Над крышею, как и на главном фасаде, возвышаются статуи, изображающие русские области.

Четвертый фасад украшен статуями Геркулеса и Флоры Фарнезских из белого мрамора.

Главный вход (портал) поддерживается шестью дорическими колоннами из красного мрамора, над которыми возвышается аттик, окруженный балюстрадою и служащий бельведером. В двух нишах помещены статуи Силы и Осторожности. В павильоне, покрытом куполом, помещаются часы; когда государь пребывает во дворце, над маленькою башнею, составляющею часть

павильона, развевается императорский флаг.

Обойдя вокруг дворца, мы входим со стороны главного фасада через ворота в галерею (перистиль) со столбами, имеющую форму длинного четырехугольника. С каждой стороны проезда для карет, разделяющего надвое эту галерею, тянется колоннада из 24-х дорических колонн, каждая из цельного куска гранита; подножие колонн (цоколи) и капители (верхний карниз) из русскольского мрамора. Посреди колоннады, между колоннами, стоят снимки с ваз дворца Медицисов и Боргезе, из белого мрамора, а по сторонам в нишах две колоссальные статуи Геркулеса с палицею и Александра Великого.

Миновав перистиль, проникаем во внутренний двор, имеющий около тридцати трех сажен в поперечнике; он почти на три аршина выше местности, окружающей его. Въезжать в экипажах на этот двор дозволялось только членам императорского дома и посланникам.

Невозможно сосчитать несметное число императорских вензелей, украшавших внутренние и внешние стороны этого здания. Во внутреннем дворе ими были украшены все простенки окон. В восьми нишах стоят восемь статуй, самые жалкие, когда-либо выходившие из мастерской художника; они должны были изображать: Силу, Обилие, Победу, Славу и проч., но это уроды, страшилища, а не статуи; они служили примером резкого сочетания роскоши и безвкусия, которое всюду господствовало в этом дворце.

Четыре большие лестницы и две меньшие ведут со двора во внутренность дворца и запираются большими стеклянными дверями. Но, не входя во двор, можно было с левой стороны галереи войти в овальную залу, в которой постоянно стоял караул из тридцати человек солдат с офицером от гвардейского полка, шефом которого был сам император. Этот пост постоянно занимался солдатами только этого полка, тогда как прочие караулы занимались разными полками, по очереди. Место расположения этих тридцати солдат было выбрано с большою осмотрительностью: зала, которую они занимали, с одной стороны, прилегала к крайней стороне галереи, с другой — к большой парадной лестнице, так что никто не мог обыкновенным путем проникнуть к государю, не пройдя мимо этого караула.

Гранитные ступени парадной лестницы поднимаются между двумя балюстрадами из серого сибирского мрамора и пилястрами из полированной бронзы. Стены покрыты различного рода мрамором; оставленные пробелы должны были быть украшены фресками. На площадке лестницы обращала на себя особенное внимание известная *Клеопатра* из музея в Капитолии, отлично

скопированная, из белого мрамора. По сторонам, в нишах, виднелись статуи *Справедливости* и *Осторожности.* На верху лестницы стояли на часах два солдата.

Я довел читателя до прекрасных дверей из красного дерева, богато украшенных щитами, оружием, головами Медузы, из бронзы. Правые половины дверей отворяются — и вы входите в парадные комнаты императора.

Из овальной передней, в которой находится хороший бюст храброго шведского короля Густава Адольфа, а на потолке жалкая аллегорическая живопись работы русского маляра Смуглевича, проходим в большую залу, отделанную под желтый пятнистый мрамор. В этой первой зале висят шесть больших исторических картин, каждая аршин восемь длины и шесть ширины. Они изображают: 1) *Полтавскую битву* — работы Шебуева; картина написана с большим выражением и исполнена силы; 2) *Взятие Казани* царем Иваном Васильевичем, работы Угрюмова; хорошо сгруппированная картина; 3) *Коронование Михаила Федоровича Романова*, деда Петра Великого, — очень хорошая картина того же Угрюмова, заслуживающего занять одно из первых мест между историческими живописцами своего времени; 4) *Соединение русского флота с турецким* и проход их через Босфор, работы Кречетникова; событие весьма замечательное, но картина самая жалкая, — можно похвалить только одну воздушную перспективу; 5) *Победа князя Димитрия Донского* над татарами на Куликовом поле и 6) *Крещение великого князя Владимира*; обе картины писаны англичанином Аткинсоном; кисть его поражает зрителя, но рисунок часто неверен. Впоследствии в этой зале стоял погребальный катафалк государя.

Перехожу в следующую затем тронную залу, имеющую около двенадцати сажен длины и пять ширины. Она отлично убрана и вид ее внушает уважение. Я не стану говорить о прекрасном зеленом бархате, затканном золотом, покрывающем стены, о прекрасной меблировке и колоссальной печке в тринадцать аршин, сплошь покрытой бронзою, — я упомяну только о троне и о том, что его окружает. Он обит красным бархатом, богато расшитым золотом. На спинке помещен герб России, окруженный гербами царств: Казанского, Астраханского, Сибирского и Великой России. Против трона, в нишах, устроенных над дверьми, стояли античные бюсты: *Юлия Цезаря, Антонина, Луция, Вера* и другие. Выше представлялись глазам колоссальные фигуры: *Справедливости, Мира, Победы, Славы,* по всем стенам были размещены раскрашенные надлежащими цветами гербы всех земель и областей, подчиненных России, в числе шестидесяти шести, представляя таким образом эмблематически различные

народы, подвластные этой обширной державе. Надо признаться, что эти украшения, придуманные самим монархом, не могли быть выбраны лучше и с большим вкусом: в них, что бы ни говорили, выразился благородный и рыцарский характер его.

Среди прекрасной меблировки залы обращают на себя внимание: громадное зеркало, самое большое во всем дворце, из цельного куска, около шести аршин вышины и более трех ширины, отлитое в С.-Петербурге, а также три великолепных стола, из которых два зеленого порфира и третий из *verde antico.* Каждый из столов имеет более трех аршин длины и одного ширины, и укреплен на бронзовых или медных колоннах, или на бронзовых фигурах, изображающих гениев, вышиною в четыре фута. Громадная бронзовая люстра висела на потолке, украшенном двумя аллегорическими картинами художника Валериани, очень посредственной работы. Знамя Мальтийского ордена виднелось на обеих картинах.

Из тронной залы проходим в галерею арабесков между двух ионических, очень красивых, колонн из восточного порфира, привезенного в Петербург из Италии. На карнизе поставлены бюст Марка Аврелия и большие вазы из красного сибирского порфира. В пяти нишах стояли копии древних статуй в Риме, они изображали: *Венеру Медицейскую, Антиноя, Германика, Аполлона Фарнезского* и *Венеру Каллипигос.* Архитектура этой галереи является подражанием знаменитой ложе Рафаэля в Риме; здесь также все стены расписаны арабесками различных цветов художником Пиеттро Скоти, а фигуры — работы Виги; впрочем, здесь работа еще не была окончена.

Из этой галереи входим через большие, широкие зеркальные двери в галерею Лаокоона, названную так по имени стоявшей тут знаменитой группы, сделанной в Риме с древнего образца, из цельного куска белого мрамора без малейших пятен и жил. Эта группа была без всякого повреждения перевезена из Италии в Петербург.

Четыре прекрасных Гобеленовских ковра украшали стены; они были по шести квадратных аршин каждый и изображали: *Рыбную ловлю св. Петра; Изгнание торгашей из храма Иисусом Христом; Воскресение Лазаря; Марию Магдалину у ног Спасителя.* К этим изображениям, заимствованным из Священного Писания, не совсем подходили висевшие рядом две картины, а именно: *Диана и Эндимион,* и *Амур и Психея,* нарисованные г. Пасетт, со знаменитых оригиналов Кановы. В одно и то же время глаз видел тут Иисуса Христа и Эндимиона!

Над дверями висели две картины, нарисованные Даллером в Риме восковыми красками, именно, *Улисс, возвращающийся к*

Пенелопе, и *Гектор, прощающийся с Андромахою;* они уже пострадали от сырости стен. *Прощание Гектора* в особенности было повреждено большою трещиною.

Я не стану говорить о богатых столах из бреччии и цветного восточного алебастра, о прекрасных бархатных креслах, о различных бронзовых вещах из Парижа и пр.; я упомяну только о некоторых из бесчисленных столовых часов, находившихся во дворце. В этой зале, например, были часы в виде четырех времен года, из бронзы, стоявшие на колеснице, запряженной львами, которыми правил гений. Колесо служило циферблатом. Чтобы не портить впечатления, производимого прекрасными вещами, не надо было поднимать глаз кверху. Три большие плафонные картины безобразили залу; самой сносной была третья, изображавшая *Геркулеса между Добродетелью и Негою.* Направо была изображена *Храбрость, награждаемая Заслугою,* а налево — *Мир и Справедливость,* работы Смуглевича, отверженца муз и граций. Впрочем, надо заметить, что сам император придумал сюжеты для этих плафонов; он желал соединить справедливость с миром и храбрость с заслугою; жаль только, что он не поручил выполнение более искусному живописцу. Но так почти постоянно с ним случалось: чистая, как хрусталь, струя била из скалы его ума и сердца, но не всегда в чистые и опрятные сосуды.

Два унтер-офицера из лейб-гвардейцев, с эспонтонами, охраняли вход в овальную залу, где шестнадцать коринфских колонн поддерживали аттик, вершина которого покоилась на шестнадцати кариатидах, работы Альбани. Пять аллегорических барельефов, значение которых было бы затруднительно объяснить, наполняли промежутки. Зала была обита бархатом огненного цвета, с серебряными шнурками и кистями; это производило очень хороший эффект.

На потолке изображено было «*Собрание богов на Олимпе»,* написанное Виги гораздо лучше, нежели прочие плафоны. Юпитер, казалось, плавал в свете славы; все обличало хорошего художника.

Эта зала прилегала к большой мраморной, служившей кордегардиею для кавалеров Мальтийского ордена; она имела пятнадцать сажен длины, пять ширины и около семи вышины. Архитектура ее двойная; до аттика стены были разделены полями из *breccia coralina de Genova*, с инкрустацией из черного мрамора из Порто-Венеро.

Большие плоские бронзовые люстры на потолках производили очень хороший эффект на черном мраморе. На одном конце залы — возвышение для оркестра из белого мрамора с бронзовою полированною балюстрадой; тут стояли шесть

бронзовых канделябров. Потолок был еще не отделан, но тут предполагалось поместить изображение Парнаса, заказанное уже в Риме.

Большая ниша, поддерживаемая двумя прекрасными ионическими колоннами из сибирского камня, разделяла залу на две равные части. В этой нише устроен был камин из белого мрамора, поддерживаемый четырьмя столбами, обложенными ляпис-лазурью и сибирским агатом. Вдоль стены направо и налево находились такие же камины в четырех нишах, обложенных gipolino antico, столь же редким, как и странным на вид, совершенно похожим на свежее дерево, но только окаменелое. Этот вид мрамора не красив, но поражает на первый взгляд. В нишах стояли четыре статуи, сделанные в Риме по древним образцам, именно: *Бахус, Меркурий, Флора и Венера.* Я умалчиваю о прекрасных бронзовых вещах, как то: часах, люстрах, вазах, маленьких статуях и прочих украшениях.

В конце залы — большая ниша, образуемая большими колоннами ионического ордера; она вела в тронную круглую залу.

Шесть атлантов, колоссальных размеров, поддерживали круглый потолок. Стены были обиты красным бархатом, затканным золотом, и украшены позолоченной резьбой. Все окна были завешены занавесками из той же материи, за исключением одного из цельного стекла, вделанного в раму из чистого серебра. Стоявший здесь трон ничем не отличался от описанного уже нами; он имел только три ступеньки, тогда как первый имел их восемь. Большая люстра в четыре аршина с четвертью вышины и восемь других по три аршина с половиной, все из массивного матового и полированного серебра, отличной работы, были сделаны на фабрике искусного и талантливого Буха, советника в Дании. Плафон разрисован en camaieu, с золотом и арабесками, Карлом Скотти.

Император незадолго до кончины приказал сделать некоторые изменения в этой зале. Стены вместо красного бархата он хотел обить желтым с прекрасным серебряным шитьем, а в углах поместить большие розы из массивного серебра, медальоны и лавровые венки. Оба стола, подзеркальные часы — все это должно было быть из массивного серебра, и мастерам уже было выдано *сорок пудов* этого металла для работы.

Из этой залы дверь вела во внутренние покои императрицы. Первая комната была обита материей en haute-lice, на светло-голубом фоне которой были вытканы виды Павловска. В глубине комнаты находилась ниша, поддерживаемая двумя прекрасными порфировыми колоннами, ионического ордера; перед нишею

стояла группа, изображавшая *Аполлона к Дафну,* из каррарского мрамора, скопированная с *Бернини.* Часы, вазы, столы из агата, порфира, восточного цветного алебастра, из rosso antico, бронзы и пр. наполняли и украшали комнату. Над дверьми висели прекрасные картины, написанные Доллером восковыми красками. Плафон, так же как и большая часть последующих, разрисован был водяными на клею красками художником Каденаччи. Двери из красного, розового и кипарисного дерева, богато украшенные позолоченною скульптурою, с филенками из белого мрамора, проложенного малахитом, бронзою и ляпис-лазурью, вели в кабинет, столь богато украшенный, что глаза очень скоро утомлялись. Стены из серого сибирского мрамора; по ним сделаны поля из ляпис-лазури с бронзовыми притолоками, углы из сибирского агата, панель из *giallo* и *nero antico,* в карнизе бронзовые львиные головы на ляпис-лазури; над карнизом — барельефы по золотому полированному фону; диваны, табуретки, занавесы и пр. и пр. — из парчи; ниша, образуемая двумя коринфскими колоннами, из цельного куска восточного цветного алебастра, пьедесталы, украшенные ляпис-лазурью и vero antico; большая группа белого мрамора *«Кастор и Поллукс»,* работы Альбагини; в маленьких боковых нишах музы *Трагедия* и *Комедия.* Камин из vero antico, малахита и бронзы; столы, вазы, маленькие агатовые и бронзовые статуи и пр., и пр.; прекрасные фарфоровые вещи, во вкусе Рафаэля, разрисованные арабесками, — все это и множество других вещей находились в кабинете, имевшем не более трех квадратных сажен в длину и ширину.

Этот кабинет прилегал к парадной спальне, убранной не так богато, но с большим вкусом. Это очень большая комната, стены гладкие, по углам гирлянды из цветов по гладкому золотому фону.

Позади балюстрады из массивного серебра, длиною в тринадцать аршин, весом в четырнадцать пудов, стояла вызолоченная кровать с богатою резьбою, под балдахином из светлого голубого бархата, собранным серебряными шнурками и кистями. Коринфские колонны поддерживали справа и слева карниз, раскрашенный арабесками по гладкому золотому фону; между колоннами стояли диваны, обитые бархатом, и большие цельные зеркала. Камин из белого каррарского мрамора с карнизом, украшенным частью ляпис-лазурью, а частью мозаикой из Флоренции, которая вся состояла из мелких каменьев и чрезвычайно живо изображала разные плоды. Аллегорическое изображение на потолке, посредственной работы Валериани, не имело определенного и ясного смысла.

Зала, прилегающая к этой парадной спальне, очень проста и

служила то столовою, то концертною. Кроме двух каминов и нескольких ваз из сибирского порфира, она ничего не представляет замечательного. Мне она, однако, нравилась; я любил ее, так как в ней играли молодые великие князья, которых я встречал здесь не раз; они очень любезны и обходительны со всеми и чрезвычайно живы и веселы. Материнская нежность (известно, что государыня, мать их, только и живет своими детьми) приказала обить подушками стеклянные двери, выходящие на балкон, вышиною фута на четыре, во избежание могущего случиться несчастья.

Выходя из этой залы налево и оставляя вправо внутренние покои императрицы, мы проходим через невзрачную комнату в тронную залу. Трон величиной почти одинаков с троном государя, но стоит на одной ступеньке. Большая ниша, поддерживаемая колоссальными кариатидами, заключает в себе камин из белого мрамора, украшенный барельефом, изображающим девять муз. Роскошь в меблировке такая же, как и в других комнатах; я упомяну только о часах, изображавших *Феба на колеснице*, запряженной двумя конями, совершающего свое дневное течение. Циферблат помещается в колесе; все это прекрасной работы и может служить образцом искусства. На потолке нарисован *Суд Париса,* работы Меттенлейтера, не лишен достоинств; над дверями висят картины Бессонова, ученика Петербургской Академии художеств; они представляют *Живопись, Скульптуру* и *Архитектуру*.

Возле тронной залы находилась галерея Рафаэля, названная так потому, что великолепные тканые шпалеры покрывали почти всю длину одной из четырех стен, имевшую около двенадцати сажен длины; эти шпалеры — прекрасные копии со знаменитых, всем известных картин Рафаэля, находящихся в Ватикане; содержание их следующее: *Константин Великий* произносит перед своим войском речь перед сражением с Максентием; *Еллиодор,* изгоняемый из храма; знаменитая Афинская школа и не менее известный *Парнас,* на котором Аполлон играет на скрипке. Отсылаю читателей к прекрасному описанию этих картин, сделанному г. Рамдором; перед копиями я не раз проводил часы в полном забвении. Большая плафонная и две малые картины работы Меттенлейтера достойны внимания. Средняя изображает *Храм Минервы,* на ступенях которого лежат свободные искусства. Фигура грека, изображающего Архитектуру, — портрет архитектора Бренна, а в аллегорическом изображении Живописи Меттенлейтер нарисовал самого себя. Одна из малых картин изображает *Прометея, оживляющего человека,* а другая — *Прилежание и Леность.* Прекрасные бронзовые вещи, мраморные

камины и пр. украшают эту галерею, которая ведет к длинной четырехугольной зале. Тут стоит одна очень хорошая древняя статуя *Бахуса* и другая, новейшая, столь же прекрасная статуя Дианы, работы Гудона; вся зала наполнена бюстами, барельефами, саркофагами, древними вазами и пр. различных достоинств. Эта зала прилегает к прихожей, в которой постоянно стоит караул от конногвардейцев. Она украшена четырьмя ионическими колоннами, а потолок разрисован Смуглевичем. Он изобразил *Курциуса, кидающегося в пропасть,* но не совсем удачно.

Мы очутились опять на парадной лестнице, обойдя справа налево все парадные комнаты государя и государыни. 8 ноября 1800 г. государь праздновал с великим торжеством открытие дворца; он в первый раз тут обедал, а вечером дал большой бал-маскарад, в продолжение которого все описанные мною комнаты, освещенные тысячами огней, еще более увеличивавшими их блеск и великолепие, были открыты для публики, собравшейся во дворец в значительном количестве. Танцы происходили в большой мраморной зале и в галерее Рафаэля.

Читателю, без сомнения, любопытно будет ознакомиться с комнатами, в которых обыкновенно жили государь и государыня. Из галереи Рафаэля вела дверь во внутренние покои государя. Прихожая, весьма просто расписанная, была украшена только семью картинами Карла Ванлоо, изображавшими легенды из жизни Святого Григория.

Во второй комнате, белой с золотом, имелось несколько очень хороших видов самого дворца и несколько пейзажей. Большим украшением для нее служил плафон, работы Типоло; он изображал Марка Антония и Клеопатру, кидающую жемчужину в уксус. Полное невежество художника заставило его сделать смешные погрешности в их одежде.

Стены третьей комнаты были совершенно закрыты шестью картинами Мартынова, изображающими различные виды Гатчины и Павловска. В шести нарядных шкафах красного дерева, над которыми стояли двадцать прекрасных ваз из порфира, яшмы и пр., заключалась собственная библиотека государя. В этой комнате стояли на часах лейб-гусары. Потаенная дверь вела отсюда в отдельную кухню, в которой готовились кушанья исключительно для стола государя; тут находилась особая, специально им назначенная *немецкая кухарка,* которая одна готовила ему кушанья. Незадолго перед этим он приказал устроить подобную же кухню и в Зимнем дворце возле своих внутренних покоев. При таких предосторожностях, быть может необходимых, можно ли завидовать самому могущественному в

мире государю?

Другая потаенная дверь вела в очень маленькую комнату, предназначенную для караульных лейб-гусар и прилегавшую к винтовой лестнице, сделавшейся впоследствии столь известною; она вела во двор, и у дверей ее стоял на часах часовой.

Из библиотеки входим в спальню государя; здесь он обыкновенно пребывал и днем, тут же он и скончался. Эта большая комната имеет, если не ошибаюсь, от пяти до шести сажен в квадрате. На стенах, отделанных белым деревом, висело множество пейзажей, преимущественно работы Верне; некоторые же принадлежали кисти Вуверманна и Ван-дер-Мелена. Посередине стояла небольшая походная кровать, без занавеси, за ширмами; над кроватью висел ангел (но не ангел-хранитель), работы Гвидо Рени. В углу висел портрет старого рыцаря, работы Жан-ле-Дюка, которым государь очень дорожил.

Плохой портрет Фридриха II, на лошади, и известная гипсовая фигура этого государя, стоявшая на мраморном подножии, в углу, представляли странную противоположность с великолепными картинами.

Письменный стол государя был замечателен во многих отношениях. Он стоял на ионических колоннах из слоновой кости с бронзовыми подножиями и капителями. Решетка, отлично вырезанная из слоновой кости и украшенная вазами из той же кости, окружала стол. Два канделябра, с ветвями из слоновой кости, стоявшие на янтарных кубиках, поддерживались четырьмя фигурами, сделанными по рисунку Либерехта и изображавшими государя, государыню, двух великих князей и великую княгиню Елизавету. Этот стол и канделябры — работы императрицы; она покровительствует искусствам и сама занимается ими с успехом; она собственноручно выточила из кости канделябры и вылепила из массы фигуры.

На одной из стен висели рисунки всех военных мундиров русской армии. Я умалчиваю об остальной меблировке.

Очень часто говорили, что в спальне государя находилась опускная дверь в полу и несколько потаенных дверей в стенах. Я могу уверить, что это совершенно неосновательно. Прекрасный ковер, покрывавший в этой комнате пол, делал невозможным существование опускной двери вниз. Печь также стояла не на ножках, а прямо на полу, а потому под нею не могло быть пустого пространства. Правда, в комнате было двое дверей, скрытых обоями, но одна из них вела в известное место, а другая закрывала шкаф, в котором хранились шпаги арестованных офицеров. Двустворчатые двери вели из комнаты государя в комнаты государыни, но они были постоянно заперты

задвижками с обеих сторон.

Ход из библиотеки в спальню имел двойные двери и вследствие необычайной толщины стен между этими двойными дверями оставалось значительное свободное пространство, достаточное, чтобы в стенах направо и налево проделать потаенные двери. Такие двери действительно и были; одна из них, направо, запирала помещение для знамен, а другая, налево, вела к потайной лестнице, по которой можно было спуститься в комнаты государя, находившиеся в первом этаже.

Тут прежде всего встречалась большая комната, обшитая белым деревом со вставными в стену большими часами, сделанными в 1724 году Динглингером в Берлине. Три серебряных стрелки показывали, кроме времени, и перемены ветра и температуры! Эти часы находились некогда во дворце Петра Великого. Отсюда проходим в круглый кабинет, также обшитый деревом; здесь стояли две статуи из Италии: *Веста и Женщина, совершающая жертвоприношение*, далее *Аполлон,* сделанный в С.-Петербургской Академии художеств, прекрасные вазы севрского фарфора и драгоценный стол из rosso antico.

Смежная с нею комната, также обделанная деревом, заключала в себе вышитый необычайно искусно прекрасный портрет Петра Великого, несколько хороших севрских ваз и несколько ваз, вышиною в рост человека, сделанных в Петербурге.

Последняя комната, в которой государь обыкновенно работал, была отделана ореховым деревом с рамками под лак; в простенках были нарисованы по дереву разные божества, окруженные гирляндами, на которых качались птицы. Общий вид этой комнаты был очень приятен. Меблировка была превосходна; особенно выдавался шкаф знаменитого Рентгена из Нейвида. Маленький монумент, стоявший на столе с надписью «Мария. 21 апреля 1791 года» (это день рождения императрицы Екатерины II), был, вероятно, сработан самой государыней. Чайный сервиз, сделанный в С.-Петербурге, с разрисованными красками разными видами Михайловского дворца, служил также доказательством особенного пристрастия этого государя к его созданию.

Скажу еще несколько слов о комнатах, занимаемых императрицею, куда проходили из описанной мною выше столовой или концертной залы. Очень веселая, с большим вкусом и роскошью убранная комната вела в парадную комнату, стены которой были из серого сибирского мрамора, с отделкой из ляпис-лазури и порфира в простенках и с богатыми бронзовыми украшениями. В разных местах были расставлены древние

восточные бюсты на порфировом фоне; филенки были из *breccia.* Камин стоял на алебастровых колоннах. Меблировка соответствовала стенам. Прекрасная хрустальная люстра была куплена за двадцать тысяч рублей.

К этой парадной гостиной примыкала туалетная и рабочая комната императрицы, отделанная также деревом; шкафы для книг и комод были из самого лучшего красного дерева. Золотой туалет менее привлекал взор, чем четыре прекрасные картины, работы одна Марии Жерар и остальные три — Греза. В числе этих трех картин находилась изображающая молодую девушку, которую мать бранит за то, что, предавшись любовным мечтам, она забыла птицу, которая и умерла с голоду. Дидеро в своем «Рассуждении о живописи» сделал подробный разбор этой картины. Письменный стол находился посреди комнаты, на нем заметны были следы частого его употребления. Меня уверяли, что в последнее время императрица устроила здесь себе спальню, потому что в этой комнате не было сырости.

Наконец, последняя комната, уборная, или кабинет, была круглая и блистала великолепием. Бархат светло-голубого цвета с богатым шитьем, украшенный золотым бортом, покрывал стены. Всюду виднелись бронза, мрамор, ляпис-лазурь и другие дорогие каменья. Я особенно любовался очень большою вазою красного порфира на таком же подножии с малахитовым украшением; все это вместе взятое имело пять футов вышины. Ковер en haute lice покрывал пол.

Этот кабинет, находившийся в углу дворца, позади спальни государя и позади спальни государыни, делал эти обе комнаты смежными: они были разделены лишь стеною, но настолько толстою, что легко понять, почему императрица довольно поздно могла узнать о внезапной кончине государя.

Кроме императора и его супруги, в нижнем этаже жил еще великий князь Константин с супругою и статс-дама Протасова. Меня всегда поражали часы в комнате великой княгини Анны; на них была надпись: L'Amour réduit a la raison, т. е. Амур укрощенный разумом. Амур изображен в цепях, а Разум держал один конец цепи. Здесь на глазах красивой и любезной княжны такое наказание не может казаться суровым. В комнате ее супруга висели копии с *Гермафродита,* находящегося в вилле Боргезе, и *Венеры,* выходящей из купальни, — оригинал которой находился в картинной галерее во Флоренции.

В нижнем этаже, кроме неоконченного маленького театра, помещается только одна церковь. Четырнадцать цельных ионических колонн из сердобольского гранита, с карнизами и цоколями из полированной бронзы, поддерживают хоры. Алтарь

имеет вид восьмиугольника из белого и черного мрамора; в него ведут трое дверей. Царские двери из массивного серебра с просветами; в них шесть медальонов на меди, работы профессора Жиовенко (Giovenco). Над дверями блещет сияние из серебра с инкрустациею из бронзы и ляпис-лазури. Запрестольный образ изображает Тайную Вечерю, работы Акимова, профессора Академии. Направо и налево от царской двери возвышаются прекрасные порфировые колонны коринфского ордера, с карнизами и цоколем из бронзы: подножия украшены местами ляпис-лазурью. Пред образами висят серебряные паникадила, а посредине золотая лампада, украшенная бриллиантами. На самом верху, в углублении, виднеется изображение архангела Михаила (работы того же Смуглевича), покровителя церкви, низвергающего демонов в пропасть. Скромный художник, изобразивший эту группу in naturibus, прибегнул к странному приему, чтобы не оскорбить ни чьей стыдливости. Каждый демон прикрывает рукою или ногою, как бы случайно, те части тела своего соседа, которые художник хотел скрыть от глаз зрителей. Однако вместо того, чтобы сохранить приличие, этот прием только его нарушает. В куполе плафон работы Карла Скотти, изображающий Святую Троицу, окруженную головами ангелов. К счастью для художника, живопись до того пострадала от сырости, что сделалась неузнаваема. Четыре трибуны по обеим сторонам алтаря с балюстрадами из мрамора и бронзы предназначались для царского семейства.

Остальные комнаты нижнего этажа занимали великий князь Александр и его супруга, молодой великий князь Николай, обер-гофмаршал Нарышкин и граф Кутайсов, любимец государя. Чтобы не утомлять читателя, я ограничусь описанием комнат великого князя, преемника Павла I. Они не были так великолепны, но, признаюсь, нравились мне более, нежели парадные комнаты верхнего этажа. Я вспоминаю вместе с тем с признательностью о чрезвычайно любезном обхождении и удивительной предупредительности как самого великого князя, так и всех лиц, его окружавших. Доброта повелителя согрела сердца всех его служителей, и каждый из них с восторгом говорил о великодушной чете, при которой имел счастье состоять.

Уборная великой княгини Елизаветы, будущей императрицы, была обита прекрасной лионской шелковой материей. Две прекрасные ионические колонны из белого и красного олонецкого мрамора украшали нишу и поддерживали антабламент (большой карниз), на котором стояли античные бюсты. Возле ниши возвышались две статуи из каррарского мрамора, из которых одна изображала опечаленную женщину, поддерживающую

голову рукою, а другая — молодую девушку, играющую с голубем.

В этой же комнате обращали на себя внимание: стол, составленный из всех видов мрамора, встречающихся в России, и часы, изображавшие *Бахуса на бочке,* на дне которой помещен был циферблат.

Премилый кабинет, убранный зеркалами, примыкал к этой комнате. В нише, поддерживаемой двумя колоннами из французского мрамора, стоял диван, обитый, как и вся прочая мебель, гладким бархатом розового цвета, казавшимся покрытым тонкими кружевами. Невозможно передать приятное и нежное впечатление, производимое этим кабинетом и его меблировкою. Конторка, покрытая книгами, и фортепиано, работы Лонгмана и Бродерипа, показывали, что не одна муза находит здесь приют.

Спальня имела что-то величественное. Стены, обитые наполовину пурпуровым бархатом и золотою гладкою парчою, разделялись надвое вышитою золотом гирляндою, которая извивалась кругом всей комнаты. Над кроватью была точно такая же занавесь. Местами стояли мраморные и бронзовые статуи. Все было великолепно, не утомляло и не поражало резко глаз. Но невозможно было жить в этой спальне; чрезвычайная сырость много раз причиняла болезни великой княгине. Картины, писанные восковыми красками и висевшие над дверями, были неузнаваемы.

Спальня прилегала к античной зале, в которой находилось около пятидесяти статуй, бюстов, саркофагов и других памятников древности. Я опишу только некоторые:

1) Прекрасный колоссальный бюст *Юноны* в два с половиною фута, поставленный на саркофаге, имевшем с трех сторон барельефы и одну надпись. Первый барельеф изображал женщину в длинном платье, державшую что-то в приподнятых руках, у ног ее две маски. Точно такой же барельеф находился и на противоположной стороне; третий же изображал Бахуса, обвитого виноградными лозами; возле него с одной стороны стояла мистическая корзина, на которой сидел тигр; с другой же — змея.

2) Прекрасный бюст молодого *Аполлона* с длинными волосами.

3) Очень хороший *Силен,* около трех футов вышины, держащий в одной руке чашу, а в другой — кисть винограда.

4) Трехсторонний жертвенник с барельефами. Один из них очень замечателен; он изображает человека, держащего в одной руке меч, а в другой отрубленную голову; на голове у него надет венец с остроконечиями. Остальные два барельефа изображают сатира с петухом и вакханку с корзинкою плодов.

5) Саркофаг с козлиными головами и гирляндами плодов; на выдающемся угле покоятся два умерших ребенка и лебедь, собирающийся, по-видимому, умереть.

6) Круглое подножие, служившее, вероятно, подножием для погребальной урны. Вокруг него очень хорошо сделанный и прекрасно сохранившийся барельеф, фигуры которого почти все сильно выступают вперед. Он изображает охоту на кабана. С одной стороны — кабан, а у ног его умирающий охотник; спереди — охотничьи собаки, а сзади — два охотника в плащах. С другой противоположной стороны молодой человек — голый, но в шлеме, возле него собака, а сзади две человеческие фигуры. Г. Колер полагает, что это Кастор и Поллукс или — все вместе — намек на умершего; это последнее заключение, по моему мнению, наиболее вероятное. Быть может, один барельеф изображает молодого человека, идущего на охоту с двумя друзьями, а другой — того же юношу, растерзанного кабаном. Надпись я затерял в своих заметках, но помню только, что в ней нет ни слова об охоте.

7) Очень хороший бюст *Ахиллеса,* из паросского мрамора, привезенный из Греции, в три фута вышины.

8) *Бахус,* в три с половиною фута, отличной работы. В одной руке он держит кисть винограда, а в другой — чашу; он обвит плющом и покрыт козлиною шкурою.

9) *Муза* о чем-то думающая, прислонясь к скале; драпировка ее одежды очень хороша, она вышиною почти четыре фута.

10) Прекрасный торс *Геркулеса,* в три фута.

11) Двойной бюст *Аполлона* с бородою и *Ариадны.*

12) Прекрасный бюст *Марка Аврелия.*

Вот произведения, по преимуществу обращающие на себя внимание любителя древностей. Любитель живописи нашел бы здесь также картины, могущие удовлетворить его вкус. Восемь больших пейзажей, работы Щедрина, изображающие виды Павловска, Гатчины и Петергофа, и два прекрасных плафона Скотти, с изображениями Венеры, выходящей из морских волн, и *Кефала* и *Прокриды* — заслуживают большого внимания.

Жилые покои великого князя были малы и отличались не столько пышностью убранства, сколько некоторыми ценными оригиналами, между которыми особенно замечательны: 1) *Ахиллес,* найденный Улиссом среди женщин, работы Анжелики Кауфман; 2) *Плачущая над трупом женщина,* возле которой стоит ангел, указывающий перстом на небо, работы Карла Маратти; 3) *Юнона и Диана* — Пески и другие.

Эти комнаты примыкают к прелестной ванной, устроенной с большим вкусом для великой княгини. Стены и потолок ее обиты

были розовым сукном, покрытым кисеей, а пол — белым сукном. Посередине ванны был устроен фонтан, который бил, если повертывали серебряный кран. Над ванною висел особый балдахин, из которого, когда этого желали, капали духи. Из других кранов лилась горячая вода. Одна из стен этой комнаты была занята большим зеркалом, а в полусвете ниши стоял оттоман для отдыха. Рядом находилась теплая баня. Не знаю, привыкла ли к ней и пользовалась ли ею прекрасная великая княгиня; для меня же эти русские бани были настоящим адом; я никогда не решался в нее проникнуть.

Кроме этих жилых комнат, великий князь имел несколько парадных и одну залу, разделенную надвое аркою, упиравшеюся на ионические колонны из белого мрамора. В зале находилось много хороших оригинальных картин, между которыми одна Рубенса, именно *Фавн, обнимающий вакханку.* В конце залы находилась другая арка на четырех ионических колоннах, возле которых стояли две великолепные статуи Кавачеппи, именно *Фавн и Молодая вакханка.*

Эта зала вела в приемную или тронную залу великого князя, стены которой были обиты бархатом пурпурного цвета, затканным серебром. Великий князь давал аудиенции под балдахином, но стоя, и ковер, на котором он стоял, не отделялся ступеньками от пола.

Второй этаж занимали великие княжны Мария и Екатерина и их воспитательница графиня Ливен; комнаты их были отделаны попроще, но очень изящно.

На дворе находилась еще большая кордегардия для целой роты гвардейцев. Слух, одно время распространившийся и с разных сторон дошедший до меня, что число часовых и караулов было слишком незначительно в этом дворце, лишен всякого основания. Внутренность дворца была настоящим лабиринтом тайных лестниц и мрачных коридоров, в которых днем и ночью горел огонь. Мне нужно было более двух недель, чтобы привыкнуть ходить без проводника в этом сложном лабиринте.

Это здание было очень вредно для здоровья. Везде проявлялись следы разрушительной сырости, и в зале, в которой висели большие исторические картины, я видел, несмотря на постоянный огонь в двух больших каминах, лед, толщиною в дюйм, во всех четырех углах, снизу доверху. В комнатах государя и государыни старались отстранить влияние холода и сырости тем, что стены были все обшиты деревом; все же прочие жители дворца ужасно страдали от сырости и холода. Этот дворец был неудобен и для всех, кто приезжал в него по делам. Надо было постоянно проходить или через двор, или через перестал, или

через коридоры и подвергаться сквозному ветру. Немногие знатные особы имели позволение останавливаться у большой лестницы; почти все должны были выходить из экипажей у маленьких низких ворот и совершать длинную прогулку по лестницам, чтобы достигнуть места назначения.

Но император был до такой степени восхищен своим созданием, что самое незначительное замечание настолько же раздражало его, насколько льстила ему всякая, даже грубая похвала. Однажды он встретил на лестнице пожилую даму.

«Мне говорили, что лестницы дворца очень круты и неудобны, — сказала она государю, — я, однако, нахожу, что они очень хороши».

Государь был до того доволен таким отзывом, что поцеловал даму. Царедворцы сумели воспользоваться этой слабостью. Похвалы их были неисчерпаемы, а если случалось, что истощались выражения и восклицания похвал, тогда они становились на колени перед статуями и благоговели перед ними в немом восторге.

Император лично приказал мне, и часто передавал это приказание через других, чтобы я ничего не опускал при описании дворца и не терял бы из виду самой последней безделицы. Таким образом, все сказанное мною выше обратилось бы в несколько толстых томов, которые уморили бы скукою автора и читателя. Незадолго до смерти государя я представил ему образец моего описания, и он остался им очень доволен.

Быть может, есть дворцы, заключающие в себе большее количество драгоценных предметов, но, без сомнения, нет дворца, выстроенного в столь короткое время как Михайловский. Он был воздвигнут, отделан и населен всего в четыре года. Прекрасный столовый прибор из цельного золота и другой из фарфора с изображениями дворца не были еще готовы.

Вскоре после кончины государя все драгоценные вещи были вывезены и размещены по другим дворцам, чтобы предохранить их от сырости. В настоящее время никто в нем не живет, и он похож на мавзолей.

* * *

11-го марта, в первом часу, следовательно, за двадцать часов до кончины, я видел императора Павла и говорил с ним последний раз. Он возвращался с прогулки, верхом, вместе с графом Кутайсовым и, казалось, был в очень хорошем расположении духа. Я повстречался с ним на большой лестнице, возле статуи Клеопатры. Он, по обыкновению, остановился и заговорил со мною на этот раз о статуе, возле которой мы стояли. Он заметил, что это прекрасная копия, осмотрел различные виды мрамора, входившие в состав ее подножия, пожелал узнать их названия, а затем перешел к истории этой царицы Египта. Он восхищался ее геройской смертью и, по-видимому, согласился с моим замечанием, что она едва ли бы лишила себя жизни, если бы Август не пренебрег ее прелестями. Наконец он спросил меня, подвигается ли составляемое мною описание дворца. Я отвечал, что оно приближается к окончанию. После этого мы расстались, причем император благосклонно сказал мне:

— Радуюсь заранее удовольствию его прочитать.

Я следил за ним глазами, пока он поднимался по лестнице. Дойдя до самого верха, он обернулся в мою сторону, и мы оба никак не подозревали, что видим друг друга в последний раз. Статуя Клеопатры после этого разговора сделалась мне очень памятною; я часто с умилением останавливался перед ней после кончины государя.

12-го марта очень рано распространилось по городу известие о восшествии на престол молодого императора Александра. С восьми часов утра сановники государства принимали присягу в церкви Зимнего дворца. Народ предавался радости и надеждам; известные всем качества молодого государя давали полное к этому основание. Вечером город был иллюминован.

Первые действия императора, его манифест, его указы, еще более укрепили то доверие, с которым его счастливые подданные смотрели на его восшествие на родительский престол. Он торжественно обещал царствовать в духе своей знаменитой бабки императрицы Екатерины II, позволил каждому носить платье, какое он желает, освободил жителей столиц от тяжелой обязанности выходить из экипажей при встрече с членами царской фамилии, сменил генерал-прокурора Обольянинова, которого совершенно справедливо все ненавидели и не терпели, уничтожил Тайную Экспедицию, этот бич страны, возвратил сенату прежнюю его власть, освободил множество

государственных преступников, томившихся в крепостях. Какое трогательное и прекрасное зрелище представляли собою эти освобожденные от оков, эти несчастные, удивлявшиеся своей свободе, считавшие свое счастье сновидением и, шатаясь от изнурения и слабости, направлявшиеся к своим домам!

Я видел собственными глазами старого казацкого полковника с сыном, которых вели из крепости к графу Палену. История этого великодушного сына одна из самых трогательных. Года четыре тому назад его отец, не знаю по какой причине, был привезен из Черкасска в Петербург и заключен в крепость. Спустя несколько времени приехал его сын, красивый, высокий, молодой человек, очень храбрый, — он еще при Екатерине II заслужил Георгиевский и Владимирский кресты. Разного рода просьбами и ходатайствами он долго пытался освободить отца, но не достигнув этого, просил, как единственную и последнюю милость, дозволения разделить с отцом его заключение и несчастье. Эту просьбу исполнили — но только отчасти; его посадили в крепость, но не вместе с отцом; несчастный старик и не подозревал, что сын его сидит так близко. Но вдруг двери темниц отворились, сын кинулся к отцу в объятия, и в одно и то же время старик узнал о своем освобождении и о такой прекрасной жертве сыновней любви. Он один в состоянии решить, которое из этих известий доставило ему наилучшее наслаждение. Я видел его несколько раз в приемной зале графа Палена. Он носил длинную седую бороду, доходившую до пояса, и обыкновенно сидел у окна, опустив глаза, не обращая ни малейшего внимания на все его окружавшее. Его храбрый сын, прославленный этим доблестным поступком не менее чем своими воинскими подвигами, ходил по комнате и говорил со знакомыми.

Эта приемная зала представляла обширное поприще для наблюдателя и знатока человеческого сердца. Хотя я сам ничего не добивался и ни о чем не просил, однако проводил ежедневно в комнате несколько часов и не покидал наполнявшей ее толпы, не обогатив чем-нибудь собрание моих заметок. В противоположность сейчас описанному мною сообщу более веселый рассказ.

Дня через два после кончины государя, если я не ошибаюсь, зала была полна просителями; их было несколько сотен. Я грелся у печки, как вдруг послышался шепот, и находившиеся в зале, сперва по одному, потом десятками, а наконец и все, кинулись к окнам и смотрели вниз — словно небо сошло на землю; любопытство привлекло и меня. Я с большим трудом пробрался сквозь толпу, чтобы взглянуть, что там происходит. Наконец мне

это удалось — и что же я увидел? По улице проходила *первая круглая шляпа.* Она, по-видимому, произвела на толпу более приятное впечатление, нежели освобождение всех государственных преступников; все лица сияли радостью, все ликовали. О люди!..

Однако пора сообщить читателям о том, что я испытал, к величайшему удовольствию, в первые дни царствования Александра *Милосердого.* Составляя эти заметки, я часто бывал жертвою самых раздирающих душу воспоминаний. Теперь дохожу до одного воспоминания, доставляющего мне величайшую отраду. По приказанию молодого государя сенат напечатал списки лиц, некогда сосланных в Сибирь, которых теперь возвращали их семействам. Узнав об этом, я немедленно послал человека купить мне один экземпляр и с нетерпением стал его просматривать, пока не нашел имени Соколова; я залился слезами радости! Да! Он был освобожден; в эту минуту он в объятиях жены и детей. Дай Бог найти ему их всех невредимыми. Дай Бог, чтобы из всего тяжкого сновидения он сохранил бы воспоминание о своем товарище по несчастью и чувство дружбы, соединявшее нас в общем бедствии.

Имена Киньякова и его братьев, купца Беккера из Москвы и других моих знакомых находились также на этих листах жизни. Я упомяну еще о пасторе Зедере, одном из самых замечательных из числа сосланных. Он попал в коварные сети жестокого статского советника Туманского, цензора в Риге. Вероятно, он сам опишет свою историю, но я позволю себе, однако, сообщить здесь о нем несколько сведений, заимствованных мною из вполне достоверного источника[4].

Пастор Зедер, живший невдалеке от Дерпта, составил небольшую библиотеку для чтения, которой пользовались его прихожане. Туманский, назначенный цензором в этой губернии, желая выказать свою необычайную бдительность, потребовал от Зедера каталог его библиотеки. Напуганный признаками времени, Зедер сообщил ему, что он перестал держать библиотеку. Действительно, он имел это намерение и понемногу собирал все книги, бывшие в обращении, и более их не выдавал; но некоторые книги он не мог получить обратно, позабыв, кому они были даны. К числу этих последних книг принадлежал том сочинения Августа Лафонтэна — «Власть любви» (Le pouvoir de l'Amour). Не будучи в состоянии припомнить у кого эта книга и не желая ее лишиться, он прибегнул к самому обыкновенному способу, т. е. напечатал в Дерптской газете объявление, в котором просил, чтобы имеющий у себя эту *книгу, входящую в состав его библиотеки для чтения,* возвратил бы ее по принадлежности.

Это объявление, к несчастью, попалось на глаза Туманскому. Уверяют, что это чудовище желало не столько повредить пастору Зедеру, сколько навлечь замечание превосходному лифляндскому губернатору Нагелю, к которому он питал тайную злобу вследствие какой-то обиды. Он донес об этом своему покровителю и начальнику Обольянинову, присоединив еще разные неблагоприятные для пастора наветы; Обольянинов же донес об этом государю, также с добавлениями со своей стороны. Короче сказать, пастор Зедер был обвинен в том, что продолжал держать библиотеку для чтения, несмотря на воспрещение цензора, и старался распространять в кругу своих читателей вредные начала, давая читать запрещенные книги революционного содержания. Надо заметить, что списка запрещенных книг не было. Все это было представлено государю в таком ложном и гнусном виде, что он приказал немедленно арестовать пастора Зедера, посадить его в Петербургскую крепость и поручить Туманскому всенародно сжечь все его книги.

Перед отправлением Туманского для исполнения такого необыкновенного поручения, вся Рига умоляла его сделать все от него зависящее для спасения этого несчастного семейства; он, конечно, обещал, но, разумеется, не сдержал слова. Ночью солдаты под начальством благородного Туманского окружили дом пастора, спавшего самым мирным образом с женою и детьми. Можно себе представить, каково было их пробуждение. Все бумаги пастора описали и опечатали; все книги — даже Библию — сложили в груду и сожгли. Несчастного пастора посадили в телегу и отправили с полицейским чиновником в Петербург.

Утром, несколько очнувшись от первого ужаса, пастор просил своего спутника позволить ему написать несколько строк своей жене. Этот коварный человек изъявил согласие и сам вызвался отнести письмо на почту; но в действительности спрятал его и по приезде своем в Петербург представил генерал-прокурору Обольянинову. Это письмо, кроме очень естественных сетований, заключало в себе просьбу, *прежде всего, успокаивать крестьян до его возвращения.* Из этих слов заключили, что он уже взбунтовал крестьян, которые только ожидали его возвращения, чтобы явно восстать под его предводительством. Другие утверждали, что он просил жену сжечь его переписку с одним из друзей, в которой говорилось о французской революции, и что это дало повод послать фельдъегеря схватить этого друга, к счастью оказавшегося уже давно умершим.

Как бы то ни было, дело это было представлено государю генерал-прокурором в таких мрачных красках, что немедленно он приказал юстиц-коллегии назначить пастору телесное наказание

и сослать в рудники в Сибирь. Юстиц-коллегия очутилась в большом затруднении. Приговор, который должен являться результатом подробного рассмотрения дела, всех действий и личности обвиняемого, был уже ей предписан заранее; таким образом, юстиц-коллегия являлась здесь чисто исполнительным органом. Президент ее попытался сделать об этом представление генерал-прокурору, который сухо ответил ему:

— Вы можете на ваш страх делать что вам угодно, воля государя вам известна!

Однажды утром несчастному пастору, которого ни разу не вызывали в суд и не дали даже защитника, объявили в крепости, чтобы он надел пасторское облачение и в сопровождении г. Макарова явился бы в юстиц-коллегию для выслушания приговора.

Полный надежд, основанных, между прочим, и на том, что ему предписано было явиться в облачении, пастор Зедер отправился навстречу своей судьбе. В судебном зале его поставили к стене. Секретарь начал читать ему приговор. Когда он дошел до слов: пастор Зедер отрешается от должности, лишается сана, подвергается двадцати ударам кнута и ссылается закованным в рудники в Нерчинск на вечную каторжную работу, — несчастный Зедер лишился сознания. Судорожно повернув раза два голову, он упал на пол. Когда ему было оказано медицинское пособие и он очнулся, то на коленях умолял, чтобы удостоили его выслушать.

— Здесь не место, — ответил прокурор.

— Где же? — закричал несчастный страшным голосом, — где? там… там, на небе!

Его отвели в общую тюрьму. Весь Петербург принимал участие в его судьбе: за него просило все русское духовенство, — что делает последнему большую честь. Своими стараниями о спасении несчастного пастора граф Пален расположил к себе сердца всех жителей столицы. Все было тщетно. Обольянинов слишком крепко овладел своею жертвою. Пастора Зедера повезли на казнь, заставив его предварительно причаститься св. Тайн из рук пастора Рейнбота.

Уже руки его были привязаны к позорному столбу; его уже раздели, чтобы начать наказание кнутом, — как вдруг приехал офицер и сказал что-то на ухо палачу. Последний почтительно ответил: «слушаю», и потом двадцать раз поднял и опустил кнут над спиною несчастного, не коснувшись ее; — так ловко владел он кнутом. Очевидно, что сострадательная особа, которая не могла избавить этого невинного человека от позора, решилась, по крайней мере, своею властью избавить его от боли.

Пастора Зедера увезли обратно в тюрьму. Граф Пален под разными предлогами замедлял отправку его в рудники и имел по этому поводу довольно резкие объяснения с генерал-прокурором. Но государь так настаивал на точном исполнении приговора, что необходимо было, наконец, уступить; и несчастный пастор пешком дотащился в оковах до Нерчинска. Жена его хотела следовать за ним, но не могла добиться на это разрешения.

В эту минуту пастор Зедер также свободен. Когда я уезжал из Петербурга, его ожидали там со дня на день, и никто не сомневался, что молодой император, столь же справедливый, как и милосердый, возвратит ему честь и состояние.

Через несколько дней после кончины государя князь Зубов давал обед на сто человек, в гостинице, по двадцати пяти рублей с особы, без вина. При этом было выпито четыреста бутылок шампанского, по пяти рублей каждая. Я не стал бы упоминать об этом княжеском обеде, если бы он не ознаменовался княжеской щедростью. За обедом кто-то вспомнил о несчастном пасторе: немедленно была сделана в его пользу подписка, и, как говорят, собрано до десяти тысяч рублей.

Некоторые законоведы сомневаются в том, чтобы сообщенное юстиц-коллегии повеление подвергнуть пастора Зедера телесному наказанию обязывало ее, безусловно, приговорить несчастного к наказанию кнутом, самому тяжкому из всех телесных наказаний. Впрочем, читателям небезынтересно будет знать, что Туманский, бывший столько лет бичом Риги, окончил свое поприще самым печальным образом. Разгневанный до крайности выказываемым ему всюду презрением, он решился погубить всех жителей этого прекрасного города. С этой целью он выставил их всех перед государем якобинцами и послал при этом длинный список главнейших обывателей и должностных лиц города, во главе которых поместил старого и достойного губернатора Нагеля.

Государь, прочтя эту записку, объявил, быть может, слишком милостиво, что Туманский сошел с ума, — и отрешил его от должности. В проезд мой через Ригу, в июне месяце этого года, я не видел Туманского; он жил, презираемый всеми, в большой бедности, только подаяниями тех же самых жителей, которых он хотел сделать несчастными.

Таким образом, справедливость *хромая* — по выражению Горация, настигла виновного и подвергла его наказанию, без сомнения слишком легкому в сравнении с причиненными им слезами и стонами стольких несчастных.

Госпожа Шевалье и ее муж, столь известные в прошедшее царствование, также испытали на себе, но другим образом, милосердие молодого монарха, ограничившегося только

приказанием, чтобы они выехали из России. Сам Шевалье, игравший такую малодостойную и столь важную роль и пытающийся с некоторого времени посредством газет уверить публику в своей невинности, заслуживает того, чтобы рассмотреть его поступки, не касаясь, впрочем, его частной жизни и домашних дрязг, не интересующих публику. Я укажу только на способ, которым он и жена его влияли на окружающих.

Госпожа Шевалье родилась в Лионе; она была дочь танцмейстера. Отец ее рано умер, оставив в бедности вдову с дочерью. Шевалье познакомился с нею и женился. Он сам был олицетворением дерзости и нахальства и одним из самых худых балетных танцоров, когда-либо существовавших, — хотя он не раз хвастал в Петербурге, что танцевал в Большой опере в Париже вместе с такими знаменитостями как Вестрис, Гардель и другие. Однажды, когда он это рассказывал, один остроумный человек, знавший его еще в Париже статистом, сказал громко:

— Я нахожу, что г. Шевалье очень скромен, рассказывая только о том, как он танцевал с пятью другими; я же видел, как он танцевал вместе с шестнадцатью.

Я не знаю, был ли он действительно статистом; другие говорят, что он был помощником балетмейстера в каком-то итальянском театре; но это все равно. Я могу положительно заявить, что все балеты, им самим сочиненные, были, по моему мнению, жалкие и плохие, какие я когда-либо видел.

Бедность своего воображения он старался прикрыть разными маршами, богатыми костюмами и прекрасными декорациями, поставляемыми известным Гонзаго, единственным в своем роде. Постановка балета стоила огромных денег, и его можно было дать едва два-три раза. Кроме того, он пользовался следующей особенной привилегией: ни одна его декорация, ни один костюм из его гардероба не могли быть взяты для какого-либо другого представления; они служили только для балета. Немецкий театр неоднократно ощущал неудобства подобной привилегии, потому что всякий раз, когда требовался старинный костюм и за ним посылали к инспектору театрального гардероба — в полной уверенности, что таких костюмов у него сотни, можно было знать заранее, что получится ответ: *не можем его дать, потому что он принадлежит г. Шевалье.* Признаюсь, однако, что ненависть, питаемая французским театром к немецкому, не раз пользовалась этим предлогом для отказа. Однажды, например, я был принужден переменить пьесу, которую хотел играть, именно «Октавию», и поставил другую, почти перед самым началом представления, единственно потому, что, несмотря на собственноручную записку Нарышкина, я не мог получить

несколько жалких костюмов римских солдат. Это служит образчиком сотни тысяч неприятностей, испытанных мною при управлении театром.

Возвращаюсь к господину Шевалье. Известно, что он приехал с женою в Петербург из Гамбурга, где она своею красотой (она действительно была очень хороша собой) сумела достичь влиятельных связей. Этим связям муж ее обязан чином коллежского асессора и победой, одержанной им над старым балетмейстером ле-Пик, пользовавшимся большим уважением.

Если бы он удовольствовался этим успехом, если бы он царствовал в своей сфере и выказывал бы только там свое глупое самолюбие, то все ограничились бы тем, что смеялись над ним, — и я не подумал бы упоминать о нем. Но, несмотря на все его уверения в своей честности и невинности, не подлежит сомнению, что он за большие деньги продавал свое действительное или, быть может, мнимое влияние. Я знаю много этому примеров. Я не хочу никого ставить в неловкое положение, но в случае надобности могу доказать сказанное мною. Я счел необходимым сделать это заявление, чтобы не навлечь на себя подозрения в том, что говорю неосновательно и по слухам нападаю на репутацию честного человека.

Шевалье в газете «Парижский Журнал» объявляет ложной и недостойным образом вымышленной одну из самых возмутительных его выходок, известную всему Петербургу. Он кричал о клевете, о несправедливости, ловко воспользовавшись небольшим побочным обстоятельством, не совсем точно им изображенным. Он призывает всех святых в свидетели своей невинности, утверждая, что он не участвовал в деле развода; но речь идет не об этом; тут очевидное плутовство и жестокость — вот почему я считаю необходимым рассказать это дело.

Одна госпожа… N, из самого знатного семейства в империи, оставила по духовному завещанию прекрасному графу Р. имение в тринадцать тысяч душ. Она предварительно сделалась с родными своего мужа, выдала им что следует, а потому располагала только своей вдовьей частью.

Завещание это было утверждено императрицею Екатериною II; тем не менее в царствование Павла I оно было оспорено и особым указом признано недействительным.

Господин N., в Москве, основываясь на этом примере, желал достичь подобного же результата. Он поручил вести это дело какому-то пиемонтцу, — я забыл его фамилию, очень честному человеку, которого и направил к господину Шевалье и его жене. Начались переговоры. Госпоже Шевалье было обещано прекрасное ожерелье, а ее мужу сумма денег до того значительная, что я не

решаюсь ее привести, опасаясь ошибиться. Ожерелье, а равно половина обещанной суммы были выданы вперед, в виде задатка. Государь, которому было доложено все дело, нашел его несправедливым и отказал в ходатайстве. Эту неудачу долгое время скрывали от пиемонтца; наконец он узнал о ней и потребовал возврата подарков. Ему отвечали насмешками и угрозами.

В отчаянии, он обратился к некой госпоже Бонель (de Bonoeil), француженке по происхождению, таинственное пребывание которой в Петербурге было для всех загадкою. Заручившись покровительством весьма влиятельных лиц, она получила от государя разрешение иметь пребывание не только в столице, но даже в Гатчине. Ее считали, не без основания, агентшею Бонапарта.

Эта особа взяла сторону пиемонтца и рассказала все дело графу Ростопчину, который был в это время в ссоре с другом госпожи Шевалье (графом Кутайсовым) и доложил об этом императору. Другие полагают, что государь узнал все из перехваченного письма пиемонтца.

Государь, по природе справедливый, ужасно рассердился на супругов Шевалье и угрожал им жестоким наказанием. Единственным средством спасения для Шевалье было полное отрицание всего случившегося.

— Разве наша вина, говорили они оба, что нам предлагали деньги; достаточно того, что мы их не взяли. Вместе с тем они просили примерно наказать клеветника. По приказанию генерал-прокурора несчастного пиемонтца арестовали; он, считавшийся рьяным роялистом, был представлен ярым якобинцем. Его наказали кнутом, вырезали ноздри и сослали в рудники в Нерчинск. Я слышал этот рассказ от особы, заслуживающей доверия, знавшей все это из первых рук. Наконец, весь Петербург был свидетелем ужасного коварства, с которым самым чудовищным образом обманули строгую справедливость государя.

Быть может, я не совсем точно изложил мелкие подробности этого происшествия, но самое основание этого рассказа достоверно. Пусть г. Шевалье объяснит, если может, каким образом он в состоянии после этого пользоваться хотя часом покойного сна.

Роскошь в квартире Шевалье была просто возмутительная. Убранство его комнат мало в чем уступало убранству комнат Михайловского дворца. Семейство это пользовалось значительным содержанием, доходившим до тринадцати тысяч рублей в год, включая сюда содержание, получаемое Августом,

братом госпожи Шевалье, очень посредственным танцором. Кроме этого, сестра и брат пользовались бенефисами, из которых каждый приносил им до двадцати тысяч рублей и более, так как желавшие снискать расположение всемогущего семейства с жадностью пользовались этим случаем. Я знал вельмож, плативших за ложу *тысячу рублей*; я знал купцов, посылавших двадцать пять рублей за три места, обыкновенно стоившие половину этого, и которым возвращали деньги с дерзким пренебрежением. Все, имевшие значение при дворе, все старавшиеся удержаться при нем, делали в эти дни пожертвования, нередко превосходившие их средства, зная очень хорошо, что кумир, которому они приносили такого рода жертвы, в состоянии был воздать им за это сторицею, и что сумма, не соответствовавшая его ожиданиям, не ускользала от его внимания и мщения.

Госпожа Шевалье даже не должна была предлагать мест в свой бенефис; напротив того, желавшие получить ложи толпились у ее дверей, каждый спешил выразить ей свою привязанность звонкой монетой. Но зато Август был принужден прибегать к способам, не находящимся в распоряжении честного человека.

Он писал записки (или точнее заставлял писать их, потому что по безграмотности был не в состоянии сам это делать; я говорю это как очевидец) всем важным и богатым жителям столицы и предлагал им ложи, как говорится, наступая на горло. Это можно было бы назвать просто нищенством, потому что такой сбор был действительно своего рода прошением милостыни, причем отважившиеся на это имели еще дерзость смеяться над теми, которые подавали им подобную милостыню.

Понятно, что семейство Шевалье, прибегая к этому и тысяче других известных способов, должно было составить себе несметные богатства. Опасаясь обвинения в преувеличении, я не стану приводить здесь цифры, которыми определяли стоимость драгоценностей г-жи Шевалье и громадные суммы, отправляемые самим Шевалье по временам за границу. Банкир Л., который вел его денежные дела, один в состоянии дать точные в этом отношении сведения; весь Петербург ожидал, что он будет принужден это сделать прежде, нежели госпожа Шевалье получит позволение выехать из России. В России существовал тогда строго соблюдаемый закон, по которому всякое частное лицо, покидавшее страну, как бы незначительно было увозимое им с собою состояние, обязано было оставить десятую часть оного в пользу казны. Поэтому весьма основательно предполагали, что закон этот будет строго применен и в данном случае, так как состояние Шевалье очень значительно и притом нажито ими в

этой стране, и что, быть может, на долю казны придется несколько сотен тысяч рублей. Однако великодушие и милосердие юного монарха освободили Шевалье от исполнения этого закона. В очень вежливой форме он приказал графу Палену дать госпоже Шевалье разрешение на выезд. Она не замедлила этим воспользоваться.

Муж ее за несколько недель до смерти императора Павла получил почетное поручение пригласить новых актеров из Парижа. С этой целью ему было выдано деньгами более двадцати тысяч рублей на проезд и столько же, даже более, переводными векселями. В дороге он выказывал самую грубую дерзость и нахальство; рассказы всех станционных смотрителей об этом бесконечны. В газетах печатали: «г. Шевалье, коллежский советник и кавалер Мальтийского ордена, проехал через такой-то город» и т. д. Не знаю, имел ли он дерзость присвоить себе эти титулы или нет, но это очень на него походит. По приказанию свыше сочли необходимым опровергать эти смешные выходки.

Без сомнения, ему была обязана госпожа Шевалье тем, что ее упрекали в скупости, которая, по-видимому, не совмещалась с ее приятным и нежным лицом, но подтверждалась некоторыми фактами. Самым возмутительным из них является обращение ее со старушкою матерью, жившею в Лионе в самой крайней бедности. Эта бедная, покинутая женщина писала ей одно письмо за другим и просила пособия; ответа не было. Наконец приехал в Петербург иностранец, очевидец ее нищеты в Лионе, обещавший ей представить дочери в самом трогательном виде ее положение. Он являлся раз пять к госпоже Шевалье, но его не принимали. Не нуждаясь в ее покровительстве, он вышел из терпения и велел ей сказать, что имеет к ней поручение от ее матери и что если она интересуется узнать, в чем оно состоит, то пусть пришлет к нему кого-нибудь. Она действительно к нему послала, — но лакея. Иностранец, оскорбленный и пораженный таким обхождением, не выказывавшим особенной любви к родителям, отказался вступить в разговоры с лакеем. Тогда явился сам Август, как уполномоченный своей сестры. Иностранец сделал ему самое трогательное описание того положения, в котором находится старушка, и госпожа Шевалье прислала ему *двести рублей, чтобы при случае* передать их матери. Двести рублей! — пятую часть того, что в один день часто доставляла ей одна ложа! Имея сотни тысяч рублей и будучи в состоянии одним своим словом вызвать мать свою в Петербург и окружить ее всем в изобилии, она решилась послать ей всего *двести рублей*! Я желал бы в видах дочерней любви г. Шевалье, чтобы она могла опровергнуть этот рассказ; до тех же пор я не имел ни малейшего основания в нем

сомневаться.

Госпожа Шевалье была красавицей; она очень красива и теперь, несмотря на толщину и на свои тридцать лет. Это певица с большим талантом, превосходная для комических и наивных ролей. Веселый, улыбающийся вид ее, радующий зрителя уже при появлении ее на сцене, много способствовал тому, что публика любила ее как актрису. Но она иногда пускалась в трагические роли и оказывалась, по моему мнению, ниже посредственности. В роли Ифигении, в которой она так пленяла государя, ей ни на минуту не удавалось заставить зрителей забыть, что перед ними госпожа Шевалье, хотя небольшое стихотворение, ходившее тогда по Петербургу, до крайности восхваляло ее в этой роли, заставляя Россини преклонить перед нею колени и представляя всех муз и граций, сравнительно с нею, рыночными торговками.

Насколько превосходит ее во всех отношениях госпожа Вальвилль, первая трагическая актриса петербургского театра! С наружностью, внушающей уважение, она соединяла самое глубокое и искреннее чувство, самую прекрасную декламацию и отличную мимику. Она не только великая актриса, но и скромная, любезная женщина, обладающая тонким, деликатным чувством, делающим еще более достохвальным то величие души, с которым она переносила постоянно наносимые ей унизительные оскорбления. Вместе с тем она самая нежная мать, самая любящая супруга и самый верный друг. Она извинит мне выражение моего к ней расположения, которое одерживает верх над опасением заставить ее покраснеть от излишней скромности.

Госпожа Шевалье, впрочем, была пробуждена не совсем приятным образом от сновидения своего величия. Два офицера проникли ночью в ее квартиру и выразили желание немедленно с ней объясниться. Дерзкая горничная, привыкшая видеть, что с ее госпожою обходились всегда как с богинею и считавшая себя важною особой, хотела выпроводить этих офицеров довольно невежливо; но они, не обращая внимания на ее крики и угрозы, вошли в спальню госпожи Шевалье и очутились возле ее кровати. Она проснулась и стала уверять их, что ее муж в Париже. — «Мы ищем не его», — ответили они. Узнав от них в коротких словах о случившемся, она была принуждена немедленно встать и выслушать не совсем скромные их насмешки.

Не буду касаться самого поручения, данного этим офицерам; посещение их было не продолжительно. Даже не разбудили Августа. Потрясение, испытанное ею в эту ночь и тревожное ожидание будущего, быть может, отомстили ей отчасти за всех, сделанных ею несчастными и невинно погубленных. Впрочем, ей нечего было опасаться. Удивительная доброта молодого

императора великодушно пощадила ее; особые, достойные уважения соображения побудили его даровать ей то, на что она не смела надеяться; ей разрешили беспрепятственно и без всяких хлопот выехать из Петербурга. Я ее видел в Кенигсберге и Берлине более великолепной и более полной, чем когда-либо; я не заметил, чтобы она чувствовала что-нибудь, кроме скуки.

Не сомневаюсь, что господин Шевалье, со свойственным ему нахальством, будет смело отрицать сообщенные мною факты, большая часть которых падает на него. Он постарается заподозрить мое беспристрастие и мою правдивость, но я торжественно заявляю здесь, что не имею никакого повода лично быть недовольным им или его женою и только разделяю общее негодование публики; что я мог бы сообщить вчетверо более рассказанного мною, если бы захотел повторять все слухи и толки, и что я с намерением выбрал только то, что мне было сообщено заслуживающими доверия свидетелями, которых не отстранил бы никакой суд. Как подобает всякому судье, я хладнокровно исполнил свою обязанность, предав все это гласности, которая рано или поздно клеймит позором счастливо избегнувшего наказания преступника. Но довольно об этих лицах.

Смерть государя дала мне снова надежду возвратиться на родину. Я решился, при первой возможности, не отвлекая внимания юного монарха от важных дел империи, обеспокоить его этим незначительным делом и просить моего увольнения. 30 марта я выполнил мое намерение, вручив генерал-адъютанту государя князю Зубову докладную о себе записку. 2 апреля я получил от него лестный ответ, что его величеству угодно сохранить меня на службе. Такая милость, такое внимание поставили меня в крайнее затруднение настаивать о моем увольнении от службы. Исполненный самой живейшей признательности, я объявил, что сочту себя счастливым продолжать службу у государя, столь обожаемого и столь этого достойного, но приняв в соображение настоящее положение немецкого театра, я нахожу не соответственным для себя им управлять. Если же императору благоугодно сделать надлежащие преобразования и обратить его действительно в придворный театр, а не довольствоваться только тем, что он носит это название, и сравнить его во всех отношениях с французским театром, тогда я с удовольствием пожертвую всеми силами, чтобы сделать немецкий театр достойным одобрения двора.

Я получил приказание представить записку с указанием способов для улучшения немецкого театра. Я исполнил это. Проект мой, названный невежественным и зложелательным сотрудником «Гамбургской Газеты» *гигантским,* был составлен с

величайшею бережливостью.

В то время как французский театр расходовал свыше ста тысяч рублей в год на одно только жалованье артистам, я обязывался за шестьдесят тысяч рублей вполне содержать труппу, которая могла бы соперничать с французской. По-видимому, автор этой газетной статьи не немец, или, по крайней мере, не любил немцев, потому что находил гигантской испрашиваемую мною на все содержание немецкого театра сумму, несмотря на то, что она была немного более половины расходуемой на одно жалованье французским актерам.

Император поручил гофмаршалу двора рассмотреть мое предложение; последний его одобрил.

— Сколько же будет стоить по этому проекту содержание немецкого театра? — спросил император.

— Шестьдесят тысяч рублей в год.

— А сколько оно обходилось до настоящего времени?

— Ничего.

Этот ответ, конечно, должен был привести в изумление императора, но в некотором отношении он был справедлив. Усердием, стараниями и прилежанием я довел театральный сбор в зиму до тридцати двух тысяч рублей и покрыл им все расходы. Но гофмаршал упускал из виду, что в продолжение семи недель поста нет никакого сбора, а в летние месяцы — он крайне незначителен, и что здание театра, будучи весьма неудовлетворительно, требовало больших улучшений. Нельзя было ожидать, чтобы сам государь вник в такие подробности, тем более, что о них не упоминалось в записке. Неудивительно поэтому, что исчисленная сумма показалась ему очень значительной.

Я знал очень хорошо, как относился двор к немецкому театру, и потому был достаточно приготовлен к последовавшему отказу на мое представление и не брал назад моего прошения об отставке. В самых лестных выражениях меня уволили от службы с производством в чине коллежского советника.

Я вполне убежден до настоящего дня, что двор не в состоянии содержать немецкий театр даже в том неудовлетворительном виде, в каком он находился, не приплачивая ежегодно тридцати семи тысяч рублей. Если бы государю ответили, что после всех изменений и улучшений содержание этого театра будет стоить 37 000 рублей более против того, что он стоит теперь, то я полагаю, что он дал бы другое в этом отношении приказание, тем более, что молодая императрица любила немецкий театр. Но это слово *ничего* не могло вызвать иного ответа как отказ.

Таковы обстоятельства, сопровождавшие мое увольнение, о

котором автор статьи «Гамбургской Газеты» язвительно заметил: «не совсем ясно, получил ли г. Коцебу отставку или просил ее». В Петербурге это было всем известно. К несчастью, всегда встречаются люди, которых зависть заставляет верить в противное тому, что все знают.

Упоминая о назначенной мне пенсии, тот же автор также язвительно замечает, что я *просил ее,* и желает сделать это отличие для меня менее почетным. Он не знал, что император Павел приказал производить мне эту пенсию из его собственных сумм, что такие пенсии сохранялись обыкновенно при увольнении от службы и что, нисколько не утруждая молодого монарха моими просьбами и ходатайствами, пенсия эта была предоставлена мне *по одной* моей простой просьбе.

Я слишком дорожу этим выражением милости и благосклонности ко мне государя, а также и репутацией человека, умеренного в своих желаниях, а потому и позволил себе по возможности подробнее разъяснить это дело, наскучив, быть может, этим читателю.

29 апреля я выехал из Петербурга со своим семейством, проникнутый признательностью к умершему монарху и к царствующему императору. В Иене мы остановились на несколько недель у почтенного Коха, в кругу его благородного семейства. Сопровождаемые искренними и нежными желаниями, мы отправились далее в Вольмарсгоф, в имение барона Лёвенштерна, который принял нас очень радушно.

Как билось мое сердце, когда я приближался к этому жилищу честности и прямодушия! Наконец-то сбывалось самое пламенное мое желание! Я должен был увидеть женщину, которая в самые жестокие минуты моей жизни оказала мне все пособия, от нее зависевшие! Как сгорал я нетерпением поцеловать ее руки! Я должен был увидеть молодого человека, пролившего обо мне свои слезы и старавшегося с братскою нежностью облегчить мои страдания.

Первым лицом, которое я встретил по выходе из экипажа, был г. Байер. Сколько разнородных чувств стеснилось в моей груди при виде его! После него явилась госпожа Лёвенштерн. Я не в состоянии был ей что-либо сказать, — за меня красноречиво говорили мои слезы. Я искал глазами ее храброго сына; он кинулся в мои объятия, и я дружески прижал его к груди. Как сладко воспоминание прошедших бедствий в кругу сочувствующих друзей!

Здесь я получил некоторые объяснения относительно той части моей истории, в которой участвовали эти достойные лица. Письма, написанные мною в Штокманнсгофе, были все

отправлены Байером к рижскому генерал-губернатору, за исключением письма к Кобенцелю, которое могло мне повредить. Губернатор без всякого колебания отправил их к государю, который, до крайности раздраженный моим бегством, написал ему, чтобы он немедленно потребовал к себе Байера в Ригу и сделал бы ему строгий выговор за то, что он дозволил государственному преступнику писать письма. Этот выговор, заключавший в себе похвалу доброму сердцу Байера, был ему сделан, но можно себе вообразить насколько смягчило этот выговор известное человеколюбие губернатора.

Я узнал, что Щекотихин предъявил Байеру данные ему инструкции, и что поэтому было очень опасно для последнего оказывать мне более живое участие. Байер старался оправдать хладнокровного и осторожного Простениуса. Не моя вина, если мое внутреннее чувство противилось всем его доводам.

Вообще, они считали Щекотихина добрым и чувствительным человеком и ожидали от него много хорошего. Это была ошибка, очень извинительная для этих честных лиц, тем более, что я не встречал человека, соединявшего в себе в такой степени как Щекотихин грубость с притворством. Узнав о моем скором возвращении, не посетил ли он мою жену по приезде своем из Тобольска, с тем, чтобы поздравить ее с моим возвращением и сообщить ей, что мы, будто бы, были хорошие приятели и жили словно родные братья в течение всего путешествия? Узнав, с каким вниманием принял меня государь, он явился ко мне и самым низким образом ухаживал за мною. Вид его был мне ненавистен; он вонзался мне в грудь как кинжал. Щекотихин это, наконец, заметил и прекратил свои посещения.

Проведя приятно несколько дней в Вольмарсгофе, мы поехали в Ригу, где ожидали нас преданные нам друзья. Я не застал там достойного губернатора Рихтера; к несчастью он лежал больной в деревне, но я видел моего доброго друга Эккардта и искусного врача Штофрегена, которым и выразил всю мою признательность. Первый из них свез нас в свое имение Граффенгейд, маленький земной рай, и мы расстались через несколько дней, взаимно осыпая друг друга благословениями и пожеланиями.

Я узнал, между прочим, в Риге, что письмо, написанное моею женою герцогине Веймарской, было отправлено директором почт в Петербург и прочитано государем, который, возвратив немедленно письмо, приказал его вновь тщательно запечатать и отправить по назначению. Мои друзья вывели из этого случая разные благоприятные заключения, что это письмо, с которого я имею копию, могло произвести только благотворное действие на

чувствительное сердце монарха. Я, быть может, отчасти обязан моим освобождением особе, которой всего более желал бы быть этим обязан, — именно моей жене.

Мы не застали в Митаве губернатора Дризена; он был уже сменен. Благородный советник в Полангене Селлин был также уволен, я его не видел, но встретил поручика, сопровождавшего меня из Полангена в Митаву, по фамилии Богуславского (Boguslawski). Он встретил меня как старого приятеля и заставил завтракать у себя. Как живо я вспомнил в этом самом здании сцену моего арестования. Какое для нас благодеяние со стороны природы, что воспоминание прошедших бедствий доставляет нам такое же наслаждение, а быть может еще и больше, как и воспоминания о прошедших удовольствиях! Я справился о честном казаке, сопровождавшем меня на козлах; я хотел сделать ему подарок, но он был в отлучке.

Должен ли я стыдиться, признаваясь, что залился слезами, когда наш экипаж двинулся, и мы проезжали мимо казарм, когда шлагбаумы опустились за нами, а прусский орел издали простирал к нам свои крылья. Моя жена также плакала… и мы крепко обнялись.

Я плакал не потому, чтобы ожидал этой минуты для полного наслаждения моей свободой. Нет! Имя *Александра* для всякого честного человека служит верным ручательством его гражданского существования, но какое-то странное смешение сильных и невыразимых ощущений заставляло меня проливать эти сладкие слезы. Вид места, где постигло меня несчастье, краткое представление всех вынесенных мною испытаний, воспоминание о невольной тоске, год тому назад сопровождавшей меня в этом же переезде, противоположность моих ощущений, благоприятный и неожиданный оборот моей судьбы, признательность Богу, возвратившему мне всех, дорогих моему сердцу, радость, что мой долгий и тяжелый сон заменен приятным пробуждением, все это вместе, стесняя сердце, заставляло меня проливать отрадные слезы, в то время как я приветствовал взглядом счастливые владения Фридриха Вильгельма III. Переступив ногою через границу, мне казалось, что я уже на своей родине!

Я встретил в Кенигсберге графа Кутайсова, любимца и постоянного наперсника императора Павла. Если кто-нибудь в состоянии был разъяснить мне причину моего арестования, то, конечно, это он. Я знал его с давних пор, но ранее было не совсем удобно спрашивать его об этом. Чего я не смел сделать в Петербурге, то мог смело и безбоязненно исполнить здесь. Я намекнул о моем желании узнать о причинах, которые могли

побудить государя поступить со мною столь жестоко.

Граф ответил мне с откровенностью, которую нет ни малейшего основания подозревать, что император не имел никакого *особенного* повода к такому обращению со мною, но что я возбуждал в нем недоверие как писатель.

— Впрочем, — прибавил он, — вы видели, как скоро и с каким удовольствием он исправил свое заблуждение. Он вас любил и давал вам всякий день тому доказательства и еще более и лучше доказал бы вам это со временем.

Да покоится мирно прах монарха, который делаемые ему упреки мог большей частью свалить на терния, которыми была усеяна его молодость, на странные события конца его века и на характер окружавших его лиц. Он часто мог ошибаться в выборе *средств,* к которым прибегал для достижения *блага,* но он постоянно желал лишь блага и справедливости, не обращая внимания на личности. Он рассыпал до бесконечности благодеяния, но видел, как из этого произрастали ядовитые растения, с цветами, приятно блиставшими вокруг него, но издававшими мефитические, удушливые пары, которые омрачили его жизнь.

Я оканчиваю мои записки небольшим стихотворением, которое через несколько дней после кончины государя распространилось по Петербургу. Я не знаю автора его, но картина, им представленная, носит отпечаток истины:

On le connut trop peu, lui ne connut personne;
Actif, toujours pressé, bouillant, impérieux,
Aimable, séduisant, même sans la couronne,
Voulant gouverner seul, tout voir, tout fairemieux;
Il fit beaucoup d’ingrats, et mourut malhe ureux.

Его мало знали, он же не знал никого.
Деятельный, всегда торопившийся, горячий, высокомерный,
Любезный, обольстительный, даже без венца,
Желавший править сам, все видеть, все делать лучше,
Он создал много неблагодарных и умер несчастным.

КОНЕЦ

Содержание

Освобождение автора. — Нежное участие жителей Кургана. —

Церковный праздник. — Прощание с Соколовым. — Отъезд из Кургана. — Князь Сибирский. — Сцена в татарской деревне. — Приезд в Тобольск. — Великодушие императора Павла I. — Курьер Карпов. — Мошенничества Росси. — Отъезд из Тобольска. — Болезнь. — Граница Сибири. — Нетерпение автора; беспечность его курьера. — Василий Сукин. — Сосланный купец. — Опасность в Кунгуре. — Ссыльные и поселенцы. — Казань; пребывание в этом городе. — Грабители на больших дорогах. — Меры, принятые для безопасного движения почт. — Нижний Новгород. — Гостеприимство. — Намерение ограбить автора. — Москва. — Книжная лавка Франсуа Куртенера. — Писатель Карамзин. — Вышний Волочек. — Приезд в Петербург. — Прием. — Первая ночь. — Автор получает известия о своем семействе. — Первая встреча. — Присоединение к семейству. — История госпожи Коцебу. — Поведение курляндского губернатора. — Честный содержатель гостиницы Редер. — Генерал Эссен. — Советник правления Вехтер. — Секретарь Вейтбрехт. — Рига. — Губернатор Рихтер. — Граф Сиверс. — Трогательные вопросы детей госпожи Коцебу. — Отъезд ее в Фриденталь. — Старшина Кох и его семейство. — Получение письма и проистекающие от этого бедствия. — Поездка в Ревель. — Кнорринг и его супруга. — Екатерина Тенгманн. — Хорошее известие. — Письмо графа Палена. — Внимание императора. — Жители Ревеля. — Поездка в Петербург. — Благородная и нежная заботливость г. Грауманна. — Трогательная сцена. — Граф Пален. — Император жалует автору землю в Лифляндии. — Письмо тайного советника Брискорна. — Автор назначен директором придворного немецкого театра. — Бумаги его возвращены ему. — Благородный поступок незнакомца. — Причины освобождения автора. — Строгая цензура театральных пьес. — Французский театр. — Госпожа Шевалье. — Мрачная картина. — Странная мысль императора. — Первый разговор с ним автора и необычайная любезность императора. — «Ненависть и Раскаяние», поставленная на сцене Эрмитажа. — «Сотворение мира» Гайдна в переводе на французский язык. — Круг друзей. — Облегчение для автора трудов по управлению театром. — Император поручает ему составить описание Михайловского дворца. — Автор просит об увольнении от должности; ему назначают в помощь режиссера. — Опровержение одной газетной статьи. — Краткое описание Михайловского дворца. — Последнее свидание автора с императором. — Александр I вступает на престол. — Его милосердие. — Первые его указы. — Трогательная история одного казачьего полковника. — Круглые шляпы. — Возвращение

из Сибири сосланных. — Освобождение Соколова. — История несчастного пастора З. (Зедера). — Господин и госпожа Шевалье. — Госпожа Вальвилль. — Автор просит об увольнении в отставку. — Отъезд из Петербурга. — Иена. — Вольмарсгоф. — Рига. — Поланген. — Кенигсберг. — Заключение.

Август Коцебу. Эскиз к портрету честолюбца

Думая о необычайной судьбе Августа Коцебу (1761–1819), богатой и шумными успехами, и падениями, невольно сопоставляешь ее с участью его современников. 1810-е годы, когда слава Коцебу была в самом зените, — знаменательное время и в гражданской истории Германии с ее калейдоскопической сменой событий, и в истории немецкой литературы. Глухие годы наполеоновской оккупации, подпольного брожения, смелых либеральных реформ Штейна и Гарденберга и наконец открытого взрыва народного негодования и «освободительных войн» 1813–1814 годов против Наполеона (в которых храбро сражались два немецких офицера Арним и Эйхендорф) — все это запечатлелось в сознании современников. Но это и годы позднего творческого взлета Гете (выходит в свет долгожданная первая часть «Фауста», 1808, затем «Избирательное сродство», 1809, и искрометный «Западно-восточный диван», 1819). Годы, когда создают многие из своих шедевров Арним и Брентано (новелла «Повесть о бравом Касперле», 1817), когда мужает творческий дар столь нелюбимого Гете Э. Т. А. Гофмана, когда (именно благодаря Гофману, Шамиссо и другим «Серапионовым братьям») Берлин — впервые со времен Лессинга — становится не только городом образцовых армейских парадов и маршей, но и (теперь уже навсегда) обретает славу одной из литературных столиц Германии.

В эти годы — с промежутком в восемь лет — внезапно уходят из жизни два видных немецких драматурга; ни один из них не умер своей смертью. В хмуром ноябре 1811 года в Ваннзее под Берлином застрелился тридцатичетырехлетний Генрих фон Клейст, надежда молодой немецкой литературы. Он умирает почти нищим и непризнанным, жестоко обманувшись в своих мечтах о великой поэтической славе. Восемь лет спустя, в марте 1819 года, в Мангейме вольнолюбивым студентом Зандом был убит Август Коцебу. Этот явный баловень судьбы, любимец немецкой сцены, в отличие от Клейста никак не мог жаловаться на немилость фортуны. Его драмы составляли весомую часть репертуара Веймарского придворного театра, которым более четверти века руководил сам Гете. В то же время Коцебу имел незавидную гражданскую репутацию. Он считался тайным агентом «Священного Союза» и доверенным лицом (а по некоторым данным и личным осведомителем) самого

российского императора Александра I. Карл Занд вскоре был казнен.

Смерть Клейста прошла мало замеченной; его истинная слава еще не наступила, она была впереди. Смерть Коцебу, имевшего репутацию не только европейски известного драматурга, но и видного публициста, отозвалась далеко за пределами Германии. Пушкин, не жаловавший «венчанного солдата» Александра I, в знаменитой оде «Кинжал» (1821) прославил юного мученика Занда:

О юный праведник, избранник роковой,
О Занд, твой век угас на плахе,
Но добродетели святой
Остался глас в казненном прахе.

Клейсту, по словам его почитателя и переводчика Б. Пастернака (он перевел «Принца Гомбургского» и блистающую ярким, неистощимым юмором комедию Клейста «Разбитый кувшин»), была свойственна «угрюмая нешуточность гения», дерзко опережавшего своих современников и вечно недовольного собой. Его недаром сопоставляют с Достоевским: он столь же мучительно размышлял в своих драмах («Пентезилея», «Принц Гомбургский») о поруганном достоинстве человека. Он ставил современников перед подчас неразрешимыми проблемами — и именно поэтому он «славы не дождался». Август Коцебу, самый удачливый (наряду с Ифландом) драматург своего времени, никого ничем не утруждал, избегал глубоких проблем, проявляя вместе с тем в своих пьесах занимательность и незаурядную живость диалога. Он заполонил немецкую (да и не только немецкую) сцену своими сочинениями — вплоть до появления Бюхнера и Граббе (в 1830-е годы), когда его слава столь же внезапно пресеклась. Кто же он, Август Коцебу?

* * *

Август Коцебу (иногда выступавший под выразительным патриотическим псевдонимом Фридрих Германус) родился 3 мая 1761 года в Веймаре. Одним из его гимназических учителей был выдающийся просветитель Иоганн Карл Август Музеус (1735–1787), друг Виланда, Гердера и Гете, прославившийся как собиратель немецкого фольклора. Его «Народные сказки немцев» (в пяти томах, 1782–1787) ценятся и переиздаются и в наши дни. Свою карьеру Коцебу начал как юрист: с 1777 по 1779 год он

изучал право в соседней Иене с ее знаменитым университетом и в Дуйсбурге. Видимо, он хорошо разбирался в законах и, главное, легко и удачливо завязывал нужные связи. Еще не достигнув двадцати лет, он становится адвокатом в Веймаре. В двадцать лет (в 1781 году) он поступает на русскую службу. Коцебу, уроженец Веймара, несомненно знал о том, как годом раньше успешно начал в России свою карьеру знаменитый «штюрмер» Клингер, друг юности Гете, попавший в окружение цесаревича Павла и его наставника графа Никиты Панина, лелеявшего далеко идущие конституционные планы. Клингер был сразу же возведен в дворянство и принят на русскую службу; впоследствии он стал куратором Дерптского университета и получил чин генерал-лейтенанта. Молодой Август Коцебу становится секретарем петербургского генерал-губернатора. Четыре года спустя он, как ранее Клингер, был возведен в дворянское звание; в 1785 году занял должность президента губернского магистрата в Эстляндии. В 1790 году он оставил службу, путешествовал по Германии и Франции, повидал Париж, а затем на несколько лет обосновался в своем поместье под Ревелем. Выходец из незнатной семьи, Коцебу страстно жаждал признания и славы, причем на всех поприщах сразу. К исходу 1780-х годов уже обозначился ошеломляющий успех его ранней драматургии. Но Коцебу было этого мало: он хотел и высоких должностей (ведь был же Гете веймарским министром, а другой веймарец, да притом вольнодумец Гердер, — высшим церковным чиновником лютеранской церкви в герцогстве Саксен-Веймар). В 1800 году Коцебу становится директором немецкого театра в Петербурге, получает звание коллежского советника. В 1806 году избирается членом Прусской Академии наук в Берлине (где он неутомимо действует как публицист, о чем еще будет сказано далее). Ненавидевший Наполеона словно личного врага, после разгрома прусской армии под Иеной (1806) Коцебу вновь отсиживается в Петербурге, откуда продолжает обстреливать Наполеона злыми памфлетами.

Минуя дальнейшие детали его авантюрной биографии, перейдем прямо к ее важнейшей (и самой загадочной) главе. После битвы под Березиной (1813) явно обозначилось поражение Наполеона; армия Кутузова вступила в пределы Германии, и трусливый прусский король Фридрих Вильгельм III, еще недавно позорно заискивавший перед Наполеоном, сразу переметнулся на сторону победителей. Наступил зенит карьеры Коцебу, выступавшего теперь не только в роли давнего врага грозного корсиканского узурпатора, но и под (неожиданной для него) новой личиной немецкого патриота. В 1813 году он уже в

Берлине, где издает популярный «Русско-германский народный листок». Деля свое время между Берлином и Петербургом, он вскоре оказывается прикомандирован к Главному штабу армии Кутузова. В 1816 году он становится статс-секретарем Министерства иностранных дел в Петербурге.

При невыясненных обстоятельствах пронырливый Коцебу в Петербурге сумел втереться в доверие к самому Александру I. Этот момент психологически крайне интересен. Кажется почти невероятным, что Александр, обладавший (в отличие от своего брата, будущего императора Николая I) обширным кругозором, воспитанник швейцарского просветителя Лагарпа и покровитель Жуковского, лелеявший в юности планы грандиозных либеральных преобразований, мог так приблизить к себе и обласкать сомнительного дворянина, немецкого выскочку и ярого поборника деспотизма. Но победа над Наполеоном круто изменила замыслы русского императора. Еще не забывший ни унижения при Аустерлице, ни трепета после падения Москвы, Александр, теперь «нечаянно пригретый славой», сразу же оказался «державцем полумира», первым монархом Европы. Заветы Лагарпа были давно забыты. Теперь надлежало водворить законный, твердый порядок в Европе, истребить дух вольномыслия, возвести на трон легитимную династию Бурбонов.

Зоркое внимание Александра привлекала и Германия, где Наполеон отменил во многих землях крепостное право и либералы, ободренные и победой в освободительных войнах, и недавними широковещательными конституционными посулами прусского короля, все настойчивее и громче требовали различных свобод. Надо было как-то обуздать их, особенно после шумных либеральных выступлений в Вартбурге (1817). Но сделать это надо было по возможности тактично, ибо Александр все еще дорожил своей репутацией просвещенного монарха. Вот тут-то и пригодился услужливый, ловкий и льстивый Август Коцебу.

В 1817 году Коцебу (после недолгого перерыва) вновь возвращается в Германию, где, искушенный к тому времени в искусстве театральной интриги, начинает ловко и тактично действовать в пользу России. Александр I несомненно наделил его сугубо конфиденциальными полномочиями, характер которых до сих пор не вполне ясен, но суть их мы уже обозначили выше. Утонченный демагог и умелый льстец, Коцебу никогда не совершал таких грубых оплошностей, как прямодушный русский мракобес дипломат Александр Стурдза на Аахенском конгрессе «Священного Союза» (1818), попросту предложивший отдать немецкие университеты, как явный рассадник безбожия, под надзор полиции, что вызвало бурю гнева в Германии. Коцебу был

куда более ловок, и прямых доказательств его шпионства у историков до сих пор нет. Однако вольнолюбивая молодежь вскоре разгадала смысл тонких маневров этого новоявленного патриота, теперь обличавшего либералов в своем новом журнале «Литературный еженедельник» (1818–1819). Эту деятельность Коцебу и пресек кинжал Занда.

* * *

Своей славой Коцебу был всецело обязан своей драматургии. Начиная с 1789 года, когда появилась его самая знаменитая драма «Ненависть к людям и раскаяние», несколько позже, уже в первой четверти XIX века, имевшая громадный успех и в России, началась его известность. В 1790-е годы мы уже видим его в качестве модной знаменитости не только немецкой, но и европейской сцены. Его поверхностные, но эффектные мелодрамы, богатые эмоциональными контрастами и трогательными эпизодами, ставились в Берлине и Мангейме, в Вене и Веймаре, в Лондоне, в Москве и Петербурге. Венский Бургтеатр, Берлинский Королевский театр, а позднее и Малый театр в Москве охотно ставили его пьесы, в которых блистали лучшие актеры того времени.

Коцебу был чудовищно плодовит: он сочинил двести одиннадцать пьес. Уже после его смерти в Лейпциге в 1827–1829 годах выходит собрание его драматических произведений в сорока четырех томах. Последнее многотомное собрание его драм в Германии появилось через пол века после его смерти (Лейпциг, 1867–1868) и заняло десять томов. Коцебу изредка писал и исторические пьесы («Густав Ваза», 1801, «Гуситы в Наумбурге в 1432 году», 1802). Но главными его жанрами, несомненно, были мелодрама и комедия. Надо сказать, что, хотя и редко, среди его исторических драм встречаются произведения, проникнутые гуманной тенденцией, осуждением жестокости и насилия (такова его драма «Испанцы в Перу», которую высоко ценил Шеридан).

Наиболее известные его мелодрамы, помимо уже названных, «Дева солнца» (1790), «Бедность и великодушие» (1794), «Дитя любви» (1794, шла в Петербурге и в Москве под названием «Сын любви»; в этой драме с громадным успехом играл П. С. Мочалов). Переимчивый Коцебу умело щекотал сердца публики наивным дидактизмом и прославлением «добродетели» (чем, увы, грешили многие, даже самые выдающиеся писатели Просвещения, не исключая самого Дидро как автора драм «Побочный сын» и «Отец семейства»). Особой приманкой Коцебу, его «изюминкой» была

чувствительность, игра на чувствах (что, несомненно, давало простор для актерского мастерства). Здесь он явно учитывал опыт столь любимых в то время романов Ричардсона («Памела», «Кларисса Гарлоу»), о которых с непонятным для нас восторгом отзывался Дидро.

Другой излюбленный жанр Коцебу — комедия, и это, несомненно, лучшее из написанного им («Индейцы в Англии», 1789; «Брат Мориц, чудак», 1791; «Олень-самец, или Без вины виноватые», 1816). Особых художественных открытий нет и здесь, но зато взамен банальной сентиментальности ярко проявляется то, в чем действительно был силен Коцебу: бытовая наблюдательность, знание людей, добродушный юмор, подтрунивание над человеческими чудачествами и слабостями. Особое место, по единодушному мнению исследователей, среди комедий Коцебу занимает «Немецкое захолустье» (1803), где сатирически изображены обитатели убогого немецкого городка, который изобретательно и остроумно именуется «Кревинкель» (то есть «вороний угол», что по смыслу соответствует русскому выражению «медвежий угол»). Название «Кревинкель» с тех пор в Германии стало нарицательным и многократно использовалось другими писателями (чаще всего — Гейне, автором блестящей сатиры «Воспоминания о днях террора в Кревинкеле», известной у нас в отличном переводе Ю. Тынянова).

* * *

Особое место в наследии Августа Коцебу занимает его автобиографическое сочинение «Достопамятный год моей жизни». Впервые оно было издано в Германии в 1801 году в двух томах; вскоре потребовалось второе, дополненное издание, которое и вышло в 1803 году. В нашей книге мы воспроизводим русский перевод, выполненный В. Кряжевым (1806), хотя он и не всегда точен. У Коцебу книга называется несколько иначе: «Das merkwürdigste Yahr meines Lebens» («*Самый достопамятный* год моей жизни»).

Действительно, в богатой различными событиями и авантюрами жизни Коцебу самым примечательным событием оказалась четырехмесячная ссылка в Сибирь при Павле I, подробно и красочно описанная в этой книге. О том, как круто и решительно этот вспыльчивый самодержец мог поступить с неугодным подданным, конечно же, помнят все читатели гротескной новеллы Юрия Тынянова «Поручик Киже» (1928), где Павел сослал в Сибирь одного офицера за «лик, уныние

наводящий».

К Коцебу Павел I был не столь суров. Но, благодаря этой монаршей немилости, обычно столь пронырливый счастливчик внезапно увидел жизнь с самой ее непарадной стороны. Он узнал, как переменчиво бывает счастье даже для признанных фаворитов, увидел пустынные и суровые снежные края, был разлучен на неопределенный срок с родными и близкими. Все события в записках Коцебу тщательно отретушированы рукой правоверного монархиста, не позволяющего себе и тени сомнений в том, что екатерининская и павловская Россия была чуть ли не неким подобием нового Эльдорадо. На все события мемуаристом наброшен благостный флер. Характерно, например, что и во втором издании книги (1803) весьма уважительно изображен Граф фон Пален (именно он выступает не только приближенной к царю особой, но и вестником царского милосердия, высочайшего прощения). Однако отлично осведомленный Коцебу в 1803 году *не мог не знать,* какую роль сыграл именно Пален в жестокой расправе с безмерно доверявшим ему императором, когда в роковую ночь на 11 марта 1801 года в Михайловский замок «как звери, вторглись янычары». Как ни в чем не бывало, столь же благостно Коцебу упоминает и сам Михайловский замок как любимую резиденцию императора, словно не зная о том, что эти «страшные стены» (Пушкин) стали немыми свидетелями убийства. И все же, может быть против воли автора, в книге постоянно появляются выразительные знаки той атмосферы «великого страха» (Тынянов), той всеобщей подозрительности, жертвой которой в Российской державе мог стать любой. Так, Екатерина II, недовольная комедией Коцебу «Граф Беньовский», посылает секретный рескрипт ревельскому губернатору (Коцебу жил тогда в своем поместье под Ревелем), желая во что бы то ни стало досконально «разузнать, с каким намерением я (Коцебу. — *Г. Р.)* писал эту комедию». А ведь такое настойчивое любопытство государыни могло плохо кончиться.

Коцебу, несомненно, знал о трагической участи Радищева, за книгу «наполненную самыми вредными умствованиями», а также «оскорбительными изражениями противу сана и власти царской» приговоренного Сенатом в августе 1790 года к смертной казни. Знал Коцебу и о том, как в апреле 1792 года без малейшей вины (после пристрастной проверки выпущенных им печатных изданий) был арестован и приговорен к пятнадцати годам заключения Н. И. Новиков, кстати, тесно связанный в своей деятельности с петербургскими немцами. «Кроткая Екатерина» (как ее саркастически именовал Пушкин) зорко опекала не только живых, но и мертвых. В 1793 году на площади возле Александро-

Невской лавры были сожжены изъятые экземпляры трагедии Княжнина «Вадим Новгородский» (через два года после смерти самого Якова Княжнина).

Все эти факты были известны Августу Коцебу, жившему в Петербурге с 1781 года. Вспомнив о приступах бешеного павловского гнева, уже сосланный в Тобольск по доносу Коцебу не без оснований опасается, что его ушлют гораздо далее, чуть ли не на Камчатку. Вот на какие мысли наводит нас чтение записок Коцебу, как бы тщательно они ни были отретушированы, в каких бы сентиментальных тонах, достойных Эраста Грустилова, автор ни изображал рыцарское великодушие и раскаяние Павла, вернувшего его из ссылки и всячески выказывавшего свое благоволение к нему. «Царствование Павла доказывает одно: что и в просвещенные времена могут родиться Калигулы». Об этом суждении Пушкина непозволительно забывать сегодня, когда новые апологеты самодержавия на наших глазах творят миф о благодетельной «духовной Элладе» (В. Кожинов), которой якобы стала имперская Россия под эгидой мудрой власти.

Для современного читателя немалый интерес представляют те страницы записок Коцебу, где он дает этнографически точные зарисовки сибирского быта, народных обычаев, крестьянских хороводов, диковинных растений. Отмечает он и относительное благосостояние сибирских крестьян («изряднехонькие горницы», чистые лавки, столы, крытые ковром, избы, которые «гораздо чище и удобнее, чем у прочих россиян»). При этом он деликатно умалчивает о причине этого достатка (Сибирь никогда не знала крепостного права). Разумеется, чисто бытовая, подчас мелочная наблюдательность Коцебу нигде не возвышается до того драматического, глубоко выстраданного изображения крестьянских буден и бедствий, которое, за десять лет до того, дал «Радищев, рабства враг» в своей знаменитой книге.

«Достопамятный год», несомненно, лучшая книга Коцебу. В его наследии есть немало других автобиографических и мемуарных сочинений, но они явно уступают этой книге — непреложному свидетельству того, что ненасытный честолюбец Коцебу обладал воистину немалыми литературными способностями.

Г. Ратгауз

notes

Примечания

1

Имеется в виду Санчо Панса. *Примеч. ред.*

2

Моя надежда основывалась на плане бегства из Сибири, который я надеялся осуществить при помощи моей жены. Об этом я скажу впоследствии. *Примеч. автора.*

3

Приводим это письмо в подлиннике с сохранением правописания.

«On apprend de Petersbourg, que l'empereur de Russie voyant que les puissances de l'Europe ne pouvait s'âccorder entre elle et voulant méttre fin à une guerre qui la desoloit depuis onse ans, vouloit proposer un lieu ou il inviterait touts les autres souverains de se rendre et y combattre en champ clos, ayant avec eux pour écuyer, juge de camp et héros d'armes, leurs ministres les plus éclairés et les généraux les plus habiles, tels que M-rs Thugut, Pitt, Bemstorff, lui même se proposant de prendre avec lui les generaux C. de Païen et Kutusof, on ne scait si on doit y ajouter foi, toute fois la chose ne parait pas déstituée de fondement, en portant l'empreinte de cé dont il a souvent été taxé».

4

История пастора Зедера подробно рассказана в «Русской Старине», 1878 г., т. 22. *Примеч. переводчика.*